

60-летию
Великой Победы
посвящается

КОСТРОМА

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ,
ПУБЛИЦИСТИКА,
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



Кострома, 2005 г.

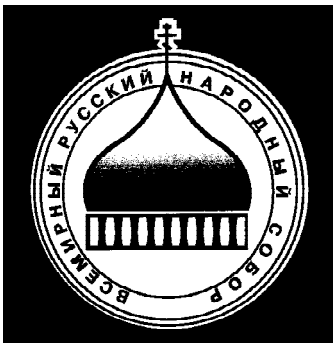


Литературно-художественное издание

Редакционный совет: М.Ф.Базанков, Б.И.Бочкарев,
А.В.Беляев, С.В.Виноградова, О.Н.Гуссаковская,
А.В.Зябликов, Ю.В.Лебедев, В.В.Пашин, П.Р.Румянцев,
В.И.Шапошников

© Составитель М.Ф.Базанков

© Костромская областная писательская организация, 2005



Духовным покровителем Союза писателей России выступает сам Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, он от души благословил главное литературное сообщество страны. Союз писателей стал одним из учредителей Собора, который становится единственным гражданским форумом в стране, выражающим интересы народа. Каждый год работа этого форума — важное событие в истории соборной мысли. Тема девятого Собора, состоявшегося 9-10 марта, была посвящена предстоящему празднованию 60-летия Великой Победы. Члены Правления Союза писателей России были приглашены на обсуждение заглавной темы «Единство народов, сплоченность людей — залог победы над фашизмом и терроризмом». После пленарного заседания работали секции. Председатель Костромской областной писательской организации, член правления Союза писателей России Михаил Базанков участвовал в работе секции «Историческая правда Победы». Один из итоговых документов Собора предлагаем вниманию читателей.

СОБОРНОЕ СЛОВО

IX Всемирного Русского Народного Собора

Мы, участники IX Всемирного Русского Народного Собора — ветераны войны и труда, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители Русской Зарубежной Церкви, старообрядчества, духовные лидеры исламской, иудейской и буддийской общин России, ряда христианских конфессий, органов законодательной и исполнительной власти, военачальники, ученые, писатели, деятели культуры, руководители общественных объединений, журналисты, предприниматели, представители стран СНГ и других государств, в канун 60-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне обращаемся ко всем гражданам России и других государств мира.

Без малого 60 лет прошло с тех пор, когда над поверженным фашистским рейхстагом советским солдатом было водружено знамя Победы, ознаменовавшее окончание самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества... Происходящие в современном мире сложные процессы еще раз заставляют глубоко осмыслить это историческое событие, его уроки, задуматься о будущем мироустройства.

Победа досталась нам ценой огромных потерь и лишений, невероятным физическим и духовным напряжением всех сил народа, отразилась неизгладимой болью разрушенных городов и сел, многомиллионных людских жертв. Она была выстрадана всеми гражданами нашей необъятной страны, независимо от их верований и убеждений. Их жизнь и подвиг явились достойным примером для настоящего и будущих поколений.

Верим, что Победа нашего народа в Великой Отечественной войне, как и все другие великие победы при защите Отечества от иностранных захватчиков, будут жить в веках и никогда не исчезнут из исторической памяти народов мира.

В выступлениях участников пленарного заседаний и секций звучало единодушное признание великой исторической заслуги народов исторической России в победе над фашизмом. Это достойный ответ всем, кто сегодня пытается фальсифицировать историю, внедрить в мировое общественное сознание ложное представление, что наша страна в этой войне играла второстепенную роль. Историческая правда состоит в том, что от коричневой чумы мир был спасен ратным подвигом Советской Армии, героизмом всего нашего народа, положившего на алтарь Победы 27 миллионов своих граждан.

Опыт войны показал, что Победа была достигнута на основе небывалого единства власти, армии, народа, людей всех национальностей, религий, единством оружия духовного и материального. Она ковалась в душах людей и в металле, полководцами и солдатами на полях сражений, героическим трудом в тылу.

Духовная слагаемая Победы — это сила духа народа и армии, основанная на безграничной любви к Родине, на славных традициях, заложенных великими предками, на мужестве, героизме, готовности к самопожертвованию и беззаветной вере в Победу. Десятилетия жестоких гонений на религию не смогли истребить в душах людей духовных идеалов, воспитанных веками. Именно эти идеалы, а не идеология богоборчества, оказались в основе крепости народного духа, обеспечившей Победу.

Мы смогли выстоять в тяжких испытаниях войны, благодаря стойкости и героизму русского народа, всех народов, объединенных историей — героической и трагической. Это наше общее бесценное наследие, которое мы должны беречь и укреплять. Мы обращаемся к молодому поколению с призывом любить свой

народ, свою Родину. Сохраним веру и память предков, будем достойны их!

Память о ратных свершениях нашего народа не должна ограничиваться прошлым веком. Вот почему так важно подвигнуть людей ко всенародному празднованию еще одного Дня Победы — 4 ноября, отныне объявленного государственным праздником — Днем народного единства. Пусть празднование этого дня — момента окончания смуты XVII века — поможет навсегда преодолеть смуту века XX, объединить нас для ответа на вызовы времени и для возрождения России.

Уроки истории священны. Они напоминают нам не только о тяжелых жертвах и страданиях, которыми народы оплатили мир, жизнь и свободу, но и о необходимости быть готовыми к отпору претензиям на исключительную глобальную власть, от кого бы они не исходили и какими бы сладкоречивыми лозунгами не прикрывались. Попытки установить однополярный и одноукладный мир, утвердить «право сильного» при разрешении международных проблем чреваты для большинства народов реальной угрозой уничтожения их духовных и материальных ценностей. Спровоцировать военные конфликты под разными предлогами могут как террористы, так и все те, кто стремится к мировому доминированию. Это обязывает нас постоянно заботиться о дальнейшем укреплении безопасности и обороноспособности нашей Родины.

Ныне Россия переживает не лучшие времена. Во многом оскудела та духовная сила народа, которая позволила достичь Победы, а затем в кратчайшие сроки восстановить разрушенные города, села, предприятия, памятники культуры. Наша страна терпит все больше поражений. В конце XX века был нанесен значительный ущерб национальной экономике и благосостоянию россиян, подточены вековые устои социальной справедливости. Но Россия не раз доказывала свою способность подняться с колен и восстановить державную статью. Основой ее возрождения будет возврат к духовным истокам единения народа. Мы призываем всех наших соотечественников обновить в своих душах веру, нравственный идеал, готовность прожить жизнь не ради денег, удовольствий и развлечений, но ради ближних и ради Отчизны. Только при этом условии Россия навсегда останется великой страной.

Будучи, самими собой, мы должны полноценно и равноправно взаимодействовать со всеми народами Востока и Запада, Севера и Юга. Всем нам, принадлежащим к русской цивилизации, нужно ясно определить наше отношение к мировоззренческим идеям, полагаемым сегодня в основу общественного устройства и миропорядка. Всемирный Русский Народный Собор, имеющий опыт разработки Свода нравственных принципов и правил в хозяйствовании, должен внести свой вклад в формирование общенациональной

позиции по вопросам свободы, прав и достоинства личности, а также места этих ценностей в системе традиционных ценностей, присущих нашей цивилизации. Выработка такой позиции будет вестись с учетом религиозной аксиологии, присущей Православию и другим традиционным религиям России.

Сегодня народы Земли оказались перед лицом новых угроз. Современный мир раздирается конфликтами и противоречиями, содрогается от варварских действий международных террористов. Мы обращаем свой голос ко всем народам. Нам нужно вместе противостоять злу террора и любым попыткам установить мировое господство вопреки воле людей. Солидарность в борьбе за свободный, справедливый и мирный мир должна объединить людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений при сохранении национально-культурной и религиозной самобытности каждого.

IX Всемирный Русский Народный Собор обращается к гражданам нашей Родины, к русским людям по лицу Земли, ко всем ближним и дальним с призывом сообща создавать на нашей планете жизнь благоденственную и мирную «во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2. 2).

*24 мая исполняется 100 лет со дня рождения
Михаила Александровича Шолохова —
выдающегося русского советского писателя,
лауреата Нобелевской премии.*

СОРОК ПЯТЫЙ

**Из статьи М.А.Шолохова
«Победа, какой не знала история»**

Если в мировой истории не было войны столь кровопролитной и разрушительной как война 1941-45 годов, то никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не одерживала побед более блистательных, и ни одна армия, кроме армии-победительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком сиянии славы, могущества и величия.

В Восточной Пруссии после взятия нашими войсками города Эйдткунена на стене вокзала рядом с немецкой надписью «До Берлина 741,7 километра» появилась надпись на русском языке. Размашистым почерком один из бойцов написал: «Все равно дойдем. Черноусов».

Какая великолепная уверенность в этих простых словах русских солдат! И они дошли, да еще как дошли, навсегда похоронив под развалинами разбойничьей столицы бредовые мечтания гитлеровцев о мировом господстве.

Пройдут века, но человечество навсегда будет хранить благодарную память о героической Красной Армии.

ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕНАРОДНОМ ЛИКОВАНИИ ПО ПОВОДУ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ, ОПУБЛИКОВАННАЯ В ГАЗЕТЕ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА»

9 мая 1945 года

Эти минуты не забываются. Пройдут десятилетия, века, но о них всегда будут помнить свободолюбивые народы всего мира.

Как только раздались позывные радиостанции, у репродукторов на: улицах, на городской площади, несмотря на поздний час, собрались сотни жителей Костромы. Все с волнением ожидали новых известий о победах Красной Армии.

В 2 часа 15 минут диктор торжественно объявил:

— Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил...

Каждое слово глубоко запало в сердце. Светлели радостные улыбки на лицах. И когда окончилось радиосообщение о победоносном окончании Великой Отечественной войны, раздались мощные аплодисменты. Люди обнимались и поздравляли друг друга. Сусанинская площадь, по которой до войны проходили тысячи костромичей в праздничные демонстрации, огласилась восклицаниями:

— Слава доблестной Красной Армии!

К утру Кострома украсилась в праздничный наряд. Легкий ветерок колышет красные флаги, кумачовые полотнища.

На предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях состоялись многолюдные митинги. Повсюду они прошли как яркие демонстрации любви и преданности трудящихся великому Сталину, чей светлый гений привел нашу страну и все свободолюбивые народы мира к великому торжеству победы над черными силами фашизма.

Ликует народ. Сбылось то, чего почти четыре года ждало человечество.

День 8 мая, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, войдет в историю как самый великий день торжества справедливости, торжества правого дела.

С праздником победы, товарищи!

Слава великому Сталину!

ГАНИКОФ.Р-3215.ОП.2.Д.714.Л.65, Копия

До Берлина остается 70 км

В январские дни 1945 г. советские Вооруженные Силы вступили в завершающую кампанию Великой Отечественной войны. Началось мощное наступление пяти фронтов от Балтики до Карпат. Цель — разгромить противника в Польше и Восточной Пруссии и выйти на Одер, границу с Германией.

В этих ожесточенных боях участвовали все пять стрелковых дивизий, артиллерийские полки и бригады, которые формировались на костромской земле с 1941-1942 годов.

12-14 января перешли в наступление 1-й и 4-й Украинские фронты, 1-й, 2-й Белорусские фронты, 13 января началась Восточно-Прусская операция. Перед войсками стояла задача преодолеть мощную оборону, семь укрепленных рубежей по берегам рек. Ударами стрелковых дивизий, танковых армий удалось пробить брешь в обороне врага и продвинуться на 100-160 км.

1-й Белорусский фронт под командованием маршала Г.К. Жукова вступил в сражение 14 января, за два дня продвинулся на 25-50 км, нанося удары на Познань, Лодзь. Начальником штаба фронта

был генерал М.С. Малинин, родом из нашего Антроповского района. Г.К. Жуков вспоминает, что «штаб блестяще справился» с задачей, отработал план наступления.

В составе 47-й армии действовала 234-я стрелковая дивизия. Она сформирована в Костроме — Песочном из коммунистов и комсомольцев — добровольцев, в их числе преподаватели и студенты текстильного института, учащиеся индустриального техникума, школ, в нее вступила группа из 30-й школы во главе с комсоргом Сергеем Прытковым. Дивизия называлась Ярославская коммунистическая. Комиссар дивизии

М.П. Смирнов после войны был начальником управления культуры нашей области. 30 декабря 1941 г. матери, жены, дети проводили дивизию для защиты столицы. Она участвовала в контрнаступлении и дошла до Западной Двины, отличилась в боях на смоленской земле и получила почетное название Ломоносовская.

Ветераны дивизии вспоминают о подвигах однополчан. Николай Чечулин в бою подполз к дзоту и забросал его гранатами. Он первым награжден медалью «За отвагу». Подвиг совершил солигаличский комсомолец Сполохов, он телом закрыл пулемет и погиб, его рота двинулась вперед. Комсомолец из Галича Касаткин первый поднялся в атаку с песней, и рота разгромила врага, но жизнь героя оборвалась.

В наступлении 1944 г. наша дивизия отличилась в боях за овладение пригородом Праги, ей присвоено почетное звание Пражская. В наступлении 1945 г. дивизия на 1-м Белорусском фронте в составе 47-й армии и совместно с армией Войска Польского форсировала Вислу, освободила Варшаву. Дивизия повернула на северо-запад и совместно со 2-й гв. ТА преодолела мощные укрепления врага и 29 января, как и весь фронт, вышла к Одеру, захватила плацдарм на западном берегу. Затем участвовала в разгроме врага в Померании. Далее боевой курс лежал на Берлин. Победу она встретила на Эльбе.

В боях от Вислы до Одера наши земляки проявили отвагу и мужество, оставили свои имена в памяти народной. На устах жителей Павина — имя Героя Советского Союза А.В. Ивкова. Полк форсировал Вислу, фашисты пытались сбросить наших воинов. Ивков первым бросился в атаку, за ним поднялась вся рота, ворвалась в траншею, в рукопашном бою нацисты уничтожены, другие бежали. Его имя занесено в Золотую книгу Героев Советского Союза.

В боях от Вислы до Одера отличился уроженец Галича А.Н. Суслов, командир самоходного орудия. Во время контратаки немцев он опередил выстрелом и подбил идущий вражеский «фердинанд». На него пошла другая самоходка, и ту Суслов подбил, а третий «фердинанд» опередил его и тяжело ранил. Наши самоходки смяли контрудар врага, с этого плацдарма дивизия пошла вперед.

В нашей области широко известен Герой Советского Союза Г.И. Гузанов, родом из д. Некрасове Костромского района. Его подвиг при форсировании Одера вызывает чувство гордости за отвагу солдата-костромича. Ему, командиру взвода разведки, было поручено на амфибии переплыть широкий Одер, зацепиться на вражеском берегу и занять плацдарм для переправы дивизии. Гузанов рассказывает, что поплыли, но нацисты расстреляли десант, только командир и боец добрались до своего берега. На вторую ночь на двух лодках разведчики вновь поплыли, но только одна лодка дошла, и три смельчака высадились и стали ракетами координировать огонь наших батарей. Это позволило доставить на плацдарм подкрепление. С этого плацдарма началось наступление на Берлин.

О героизме костромичей мы рассказываем школьникам на уроках мужества. Как приятно видеть, что у ребят светятся глаза — они впитывают истоки патриотизма, ощущают готовность трудиться на благо Родины, защищать ее интересы.

Хотелось бы рассказать о всех костромичах, кто проявил мужество и отвагу в боях нашей дивизии от Вислы до Одера и удостоен звания Героя Советского Союза, кавалера ордена Славы трех степеней.

Назову героев-земляков:

Белоусов Виктор Федорович, командир артдивизиона, родом из д. Панфилово Антроповского района.

Кончин Александр Алексеевич, политрук, родом из г. Буя.

Ляполов Виктор Михайлович, старший сержант артдивизиона, родом из г. Галича.

Лапшин Павел Иванович, командир танковой роты, родом из д. Калинки Судиславского района.

Соловьев Виталий Ефимович, летчик, родом из д. Горева Нейского района.

Семенов Владимир Федорович, летчик-штурмовик, родом из г. Костромы.

Соколов Анатолий Иванович, командир роты, родом из г. Костромы.

Турунов Геннадий Сергеевич, пулеметчик, уроженец с. Костома Галичского района.

В бою никто не заставлял их идти на таран вражеских самолетов, первыми подниматься и врываться в траншеи фашистов, закрывать своим телом пулемет врага. Зовом их души, видимо, была идея: «Жила бы страна родная».

В этих боях отличилась и дивизия с костромской земли — 234-я Ломоносовско-Пражская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия. Она также вышла на Одер и захватила плацдарм на западном берегу. Далее ее путь лежал на Берлин до Эльбы.

В Висло-Одерской наступательной операции войска 1-го

Белорусского фронта за 23 дня взломали все оборонительные рубежи врага, освободили Польшу, вышли на Одер. 29 января советские войска вступили на территорию Германии.

Успешно наступал и 1-й Украинский, 2-й и 3-й Белорусский фронты. Впереди были бои за овладение Берлином.

*В. ТУПИЧЕНКОВ,
председатель совета областной организации ветеранов войны.*

Евгений Старшинов

Вспомним годы...

Вспомним годы непогоды,
Да походы, да бои,
Где с тобой в огонь и в воду
Шли товарищи твои.

Как летели дни, недели
Не у тещи на пиру.
Как шинели леденели,
Аж звенели на ветру.

Словно с братом, с автоматом,
Где ползком, а где броском,
Да с гранатой, да с лопатой,
Да с солдатским котелком

Пыль клубили, грязь месили,
Переплыли море бед.
И сломили вражьей силе
Становой ее хребет.

И под сводами рейхстага
Прозвучали на века
Наши песни про «Варяга»,
Про отвагу Ермака.

«Здравствуй, мама»

(из писем Героя Советского Союза Анатолия Котлова)

Анатолий Георгиевич Котлов родился 12 августа 1922 года в деревне Ложково, Черменинского сельсовета, Кологривского района. Окончив в 1937 году Юровскую семилетнюю школу, Анатолий поступает на фанерный завод учеником токаря. Он быстро овладевает специальностью и начинает успешно соперничать в мастерстве со старыми, опытными токарями. За образцовое выполнение производственных заданий администрация завода несколько раз премировала его денежными премиями, ценными подарками.

Здесь, в дружном рабочем коллективе мантуровских фанерщиков, развивались и крепили лучшие черты его характера: стремление быть впереди, настойчивость в преодолении трудностей, верность своему долгу, чувство коллективизма. В самом начале Великой Отечественной войны 19-летнего Анатолия призывают в армию. С первых дней военной службы он выделяется дисциплинированностью, глубоким пониманием воинского долга, и командование направляет его в бронетанковое училище. Учится он с удивительным упорством, стремясь, как всегда, быть в числе лучших курсантов. Из писем этого периода видно, как день за днем оттачивает он свое воинское мастерство, закаляет волю, готовясь к решительной схватке с врагом.

И вот училище окончено. Котлов становится лейтенантом Советской Армии. Он дорожит этой высокой честью и рвется в бой.

Получив боевую машину, он с группой товарищей в мае 1943 года отправляется на Третий Украинский фронт.

Проследить весь боевой путь Котлова по его письмам невозможно, но из них ясно, что он с боями прошел через всю Украину. Он пал смертью храбрых в одном из боев за освобождение Венгрии. Вот один из боевых эпизодов, взятый из фронтовой газеты того времени, в котором рассказывается, как дрался лейтенант Котлов с врагами нашей Родины:

«Мы встретились с лейтенантом Анатолием Котловым на шоссе, которое соединяет два крупных венгерских города. Оба эти города были у немцев, а вот этим кусочком первоклассной асфальтированной дороги владел сейчас Котлов, совсем еще молодой парень, с пушком на розовых щеках и лихо выбивающимися из-под пилотки светлыми кудрями. Он поправил на плече карабин, с которым не расставался никогда, и слишком серьезно и солидно, так, как способны говорить только очень молодые люди, доложил майору Табакину:

— Днем мы дорогу удержим. И движений на ней не допустим. А вот на ночь нужно бы подкрепление. Немец уж больно беспокоит — мы тут у него занозой сидим. А силенки у меня что? Полтора Ивана...

Так он в шутку называл свой отряд. Действительно, людей в отряде было маловато. Но попробуйте поговорить с Котловым: он не променяет одного своего человека на пятерых.

И вот с этим-то отрядом Котлов по глухим лесным тропам шел в такие места, где меньше всего его ожидал противник. После короткого боя с немцами, расположенными в придорожных деревнях, и с венгерскими пограничниками группа Котлова прочно зацепилась за шоссе. Здесь шло непрерывное движение немецких машин, повозок, пешеходов. Возле двух городов, которые соединяло шоссе, были уже наши войска, и фашисты лихорадочно подвозили боеприпасы и подкрепление, эвакуировали имущество. Маленькая кучка молодых и отважных ребят дерзновенно перерезала эту важнейшую коммуникацию.

Немцы сначала даже не поняли, в чем дело. Они начали трезвонить по телефону на полустанок, где Котлов перерезал дорогу. Трубку снял боец Гончаренко и, весело подмигнув товарищам (не впервые, мол, с немцами по телефону разговаривать), начал «переговоры»:

— Шо? Чого ты там гавкаешь?.. Ну, гут морга, бисова твоя душа, завтра мы с тобою лично поговорим!..

Однако «личный разговор» с немцами состоялся не завтра, а через часок.

...Немцы хотели мелкими группами автоматчиков обойти Котлова. Не вышло! Они пытались еще несколько раз сделать это, но с тем же успехом. А дорога была закрыта. Котлов перерезал последнее шоссе, выходящее из города».

Далее рассказывается, как на занятом группой Котлова «пятатке» сосредоточился мощный кулак наших войск и стремительным ударом немцы были выбиты из города. За этот боевой подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенанту Анатолию Котлову присвоена высшая степень воинского отличия — звание Героя Советского Союза. Однако ему не пришлось дожить до этого дня...

Обратимся теперь к письмам Котлова. Понятно, что опубликовать их все полностью невозможно. Поэтому приведем лишь наиболее характерные из них, а из некоторых — лишь небольшие выдержки. Все они точно датированы, многие написаны на клочках бумаги и от них до сих пор как будто еще пахнет пороховым дымом. Ни в каких комментариях они не нуждаются и красноречиво говорят обо всем, чем жил, дышал, что думал и чувствовал. Котлов.

6 августа 1941 г.

Мама, я вчера, то есть 5 августа, был именинник. Вспомнил об этом только сегодня. И тоже сегодня вспомнил, что день рождения был 1 августа. Мне пошел двадцатый год! Ну, мама, живите, обо мне не тужите. Я через шесть месяцев буду лейтенантом, и одежду мою можете продать. Я больше не токарь, а будущий лейтенант автомобильных войск.

А.Котлов.

17 августа 1941 г.

...Мама! Ты пишешь, что попросись куда-нибудь в мастерскую, так здесь не мастерская, а школа. Да и вообще ты пишешь, чтобы не посылали на фронт, а околачиваться при школе. Так нас не даром же учат! На кой черт учить, если не на фронт? Сейчас люди нужны не здесь, а там, где решается судьба нашего государства и вообще всего народа нашего.

...Мама! Я тебе напишу по секрету, только ты никому не говори, кем я буду. Это писать не велят, но я тебе напишу. Нас учат на лейтенантов автомобильных войск. Раньше здесь учили 2 года, а теперь хотят выпустить за 6 месяцев. Считай сама, как нам приходится заниматься: в четыре раза больше, чем в мирное время. Так я больше уже не токарь и если останусь жив, так буду шофером или останусь лейтенантом в армии. Ну, пока до свидания. Не обижайся, не сердись, что я тебя попенял. Так надо.

А.Котлов

22 октября 1941 г.

...Вот уже сегодня ровно три месяца было в 1 час дня, как я не видел родного дома. Я в этот час сегодня как раз был в поле на занятиях по топографии, получил «хорошо» и вспомнил дом. Остаток жив и здоров.

Ваш сын А. Котлов.

7 августа 1942 г.

...Мама! Ты пишешь, что у меня твой характер. Вот он-то меня иногда и подводит. Где бы нужно построже и потверже быть, а я оказываюсь мягок. Я не могу долго помнить зла. Если сразу все не вылью, то после уже я не могу ничего сделать — ни отругать, ни наказать, хотя это надо сделать обязательно, иначе может ослабнуть воинская дисциплина. Ты, мама, скажешь: «На что это тебе нужно — ругать и наказывать людей?» Мама, люди бывают разные и воспитывать их приходится по-разному. Одни понимают и выполняют все требования точно по уставу с хороших слов, а другие этого никак не могут. Они обязательно вступят в пререкания и тут приходится брать на настойчивость. И вот, мама, это качество приходится в себе воспитывать, как будущему командиру. А что у меня его не хватает, в этом я убедился еще в В., будучи командиром отделения. Ну, а теперь все идет хорошо. Недавно была предварительная про-

верка знаний. Результаты показал неплохие. Если бы такие же были на госэкзаменах, то можно располагать на звание лейтенанта.

Ну, пока до свидания! А. Котлов..

14 октября 1942 г.

Добрый день, мама! Невеселую весть ты мне сообщила о дяде Ване Новоселове и других... Но ничего не поделаешь — война. Может, и нам придется сложить свои головы, как и они, с честью и чистой совестью. Но жить еще крепко хочется!

Ну, пока до свидания! Крепко целую. Твой сын А. Котлов.

18 декабря 1942 г.

Добрый день, мама! Я очень рад за тебя, что ты не падаешь духом, что утешаешь себя мыслью о будущем. Унывать и не нужно, хотя подчас, может, и трудно приходится...

Ну, экзамены я, мама, сдал. Скоро мне присвоят звание лейтенанта. Сейчас нас переводят в резерв. Здесь будем жить, пока не пришлют разнарядку — кого куда. Себя чувствую хорошо. Обо мне не беспокойся, я теперь встал на твердую дорогу, с которой может сбиться только слепой или не верный нашей Родине. А я не из таких! Правда, теперь больше будет забот, но не вечным же быть курсантом, когда-нибудь все равно надо отплатить свой долг Родине! А с нового года нас обмундируют в офицерскую форму с погонями. Пока до свидания! Целую крепко-крепко.

Твой сын А.Котлов

15 мая 1943 г.

Привет с дороги! Здравствуйте, мама, бабушка, Надя и Миля! Пишу с Дона. Едем вдоль по берегу. Вчера и сегодня купался в Дону. Вчера поймал оглушенного сазана килограммов на шесть. Варили уху. Когда ели, вспомнил, что вы все очень любите свежую рыбу.

...Заехали уже на территорию, ранее оккупированную немцами. Что они здесь натворили, ни дна бы им ни покрывки! Да они и так валяются без дна и покрывки, просто не зарытые, все протухли, как падаль...

Здоровье мое хорошее, самочувствие тоже. Думаю, как бы побольше задушить фрицев да поскорее закончить войну...

...Эх, как бы дожить бы

До свадьбы, женитьбы

И обнять Любимую свою...

Ну, пока до свидания! Ваш сын А. Котлов.

1 сентября 1943 г.

Здравствуй, мама! Шлю тебе свой горячий привет! Я, мама, живу хорошо, жив и здоров. Нынче, начиная с 13 апреля, я не больше десятка дней спал в помещении, а то все в лесу. Так привык к лесу, что в деревне как-то дико кажется. А дубы здесь, мама, такие,

что все переломаны снарядами да осколками. Ты бывало ругала нас на сырой земле лежать. А тут под каким дубом ночь застала, под тем и спишь, тут твой и дом. Я мама, хоть не на самой передовой, но с 12 мая все время в непосредственной близости. Раз два ходил на передовую. У нас, мама, не такая часть, чтобы в обороне лежать, в траншеях... А что там творится, так нам все слышно. Часто и сами попадаем под этот гул. Пока до свидания!

Ваш сын А.Котлов.

16 октября 1943 г.

Добрый день! Здравствуйте, дорогая мама, бабушка и Миля! Ваше письмо, которое вы писали 11 сентября, я получил. В это время я был как раз в госпитале: поцарапало немного меня. Ну, а сейчас снова нахожусь в части. Вам еще послал 400 рублей. Здоровье мое хорошее, обо мне не беспокойтесь. Я жить буду, если совсем не добьют. Ну, пока до свидания!

Ваш сын Анатолий.

20 октября 1943 г.

Здравствуй, мама! Ваше письмо получил и был сам не рад, что вам сообщил о своем ранении. Лучше бы в себе носить еще 10 осколков, чем вас расстраивать... Мама! Я же ведь совершенно здоровый, и меня даже нисколько не беспокоит. Я даже позабыл, что был ранен. И пусть твой бок позабудет, что я ношу в себе кусочек металла. Пусть он напоминает мне, что я когда-то был металлистом, сам обрабатывал металл. Это, мама, на пользу: после этого человек делается злее, что очень важно на фронте, чтобы было ему самому лично за что мстить гадам...

Всем привет! Ваш сын А. Котлов.

6 января 1944 г.

Здравствуй, мама! Получил письмо от вас и от Амалии. Ну, конечно, рад, как всегда. Но странным показалось, почему на твоём письме адрес написан ее рукой? А когда прочитал — понял, что «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Вы ее хвалите, а она вас, в общем у вас полный контакт. Выходит, что «без меня меня женили, я на мельнице был». Ну, я не на мельнице, так в мясорубке, которая готова меня поглотить в любую минуту. Но не подумай что мне уж так плохо, но ведь я нахожусь на таком деле, а сейчас — война... Ну, в общем живу хорошо, Новый год встретили, можно сказать, на отлично.

Пока остаюсь жив и здоров, того и вам желаю.

Ваш сын А. Котлов.

20 марта 1944 г.

Здравствуй, мама! Я живу суровой фронтовой жизнью, которая для вас неизвестна. Привет вам от моих боевых товарищей. До свиданья! Писать больше некогда. Сейчас ухожу на задание.

Ваш сын А.Котлов

23 апреля 1944 г.

Здравствуй, мама! Обо мне не беспокойся, я живу по-старому, хорошо, на жизнь не обижаюсь. И вообще я уже совсем отвык от плохой жизни. Мне все кажется хорошим. Пословица говорит: что ни делается — все к лучшему. Вот потому приходится все переживать. Все думаешь, что дальше будет лучше, а во внимание берешь самое плохое, чтобы с хорошими мечтами не попасть впросак. А один патрон в пистолете всегда носишь для себя...

Ну, писать больше нечего. Остаюсь жив и здоров. В случае, если не будет долго писем, — не беспокойся, потому что предстоит интересная операция. Может, и писать будет некогда.

А. Котлов.

8 июня 1944 г.

Здравствуй, мама! Получил от тебя письмо, которое вселило в меня такую уверенность, что полезу хоть к черту на рога и все равно выйду победителем! Спасибо за такое письмо. Буду надеяться, что победа всегда со мною и удача меня никогда не оставит, в любом положении, где бы я ни был. А ты наверное, не представляешь, где я сейчас нахожусь. Я и сам раньше мечтать об этом не смел, что придется побывать за границей. А сейчас пришлось побывать везде, где только проходили фрицы и всего насмотреться — хорошего и плохого. И после этого интересно остаться в живых и вспоминать все пережитое. Ну писать особо больше нечего. Живу, как обычно, хорошо. До свидания!

Ваш сын А. Котлов.

9 ноября 1944 г.

Здравствуйте, мама, бабушка и Миля! Мама! Получил сегодня от вас письмо, из которого узнал, что вы немного успокоились с заботой обо мне. Ну, вас интересует, чем я вас могу порадовать? Так это тем, что меня вторично представили к награде. Первый раз представляли к ордену Ленина, а дали орден Отечественной войны I степени. Но еще не вручили, а только зачитали приказ. Вторично представили на Героя Советского Союза. Ну, обо мне, а также о моих друзьях не беспокойтесь: все живы и здоровы. В следующем письме пришлю фотокарточку, на которой увидите всех четырех Героев нашей части, то есть меня, Ивана, Валентина и вам не знакомого Володьку, нашего ротного с двумя звездочками на груди... На фото я вышел слишком веселый, но я всегда такой, меня все таким знаю. Я никогда не унываю, хоть в бою, хоть на отдыхе.

Мама! Если приеду к тебе — не узнаешь своего сына. За последнее время что-то часто стал во сне видеть свой дом и вас. Как будто вы собираетесь меня женить, но никак подходящей невесты, не найдете, все мне не нравятся... А то приезжаю — тебя дома не застаю, будто ты ко мне уехала. И вот почти каждый день такие сны. Сам не знаю, что такое. Или война скоро кончится, или еще что-

нибудь. Не женит ли меня какая-нибудь шальная? Конечно, обидно на последних днях умирать, но что, видно, на роду написано — никуда не денешься... Ну, да хватит грустные думы наводить! И без того тебе, наверное, невесело. Хотя ты и пишешь, что положение более или менее подходящее, но я что-то не верю. Мне все кажется, что ты скрываешь свою нужду. Она тебя, наверное, уже согнула в бараний рог... Ну, ничего, вот приеду домой — все наладим. Только бы остаться живому... На этом заканчиваю. До свидания!

С крепким поцелуем ваш сын А.Котлов.

Это одно из последних писем Анатолия Котлова к матери. По рассказу Сафонова, который служил вместе с Анатолием, а после демобилизации приехал в поселок Юровский и женился на сестре Котлова — Надежде, Анатолий погиб в ночь с 21 на 22 февраля 1945 года. Весь этот день он выполнял сложное боевое задание, с которого вернулся только к ночи. Но в ночь потребовались смелые, отважные люди для разведывательной вылазки в логово врага. Командиру части сказали, что лучше Котлова с этим делом никто не справится. Несмотря на усталость после задания, Котлов с группой товарищей на мотоциклах ночью поехал в разведку. Заметив их, немцы открыли сильный огонь из минометов. В неравной схватке Котлов был сильно ранен осколком мины в легкое. Друзья доставили его в полевой госпиталь. По дороге он потерял много крови. Когда его положили на операционный стол, в палатке погас свет. А когда наладили свет — Котлова уже не стало. Так кончилась славная, светлая жизнь нашего замечательного земляка Героя Советского Союза Анатолия Котлова.

В Венгрии, у местечка Капалнаш-Ниек, что близ озера Зеленция, есть небольшая, огороженная металлической оградой могила. Посредине ограды возвышается мраморный обелиск, поставленный в память о похороненных, здесь героях, отдавших свои жизни за освобождение нашей Родины и других стран от ненавистного врага. Здесь спит вечным сном и наш дорогой земляк Герой Советского Союза Анатолий Котлов. Светлая память о нем, как и о многих тысячах других известных и неизвестных героев, навечно сохранится в сердце народном, ибо они своей кровью, своей жизнью заплатили за народное счастье.

Небольшая, но яркая и кипучая жизнь Анатолия Котлова являет собой замечательный пример того, как надо жить, бороться, побеждать и умирать за счастье народа, за счастье Родины.

Подготовил Иван.ВОРОНОВ



КОНКУРС «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

НАРОДНАЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ

От составителя

Литературный конкурс, посвященный Победе, объявили областная универсальная научная библиотека имени Н.К.Крупской и Костромская областная писательская организация Союза писателей России. К участию в конкурсе были приглашены профессиональные и самодеятельные авторы прозаических, художественно-публицистических и документальных произведений (рассказы очерки, воспоминания, интервью, зарисовки). Главная цель конкурса — увидеть, услышать живущих рядом участников Великой Отечественной войны, по судьбам людей понять особенность сурового времени, обратить внимание на основы патриотизма, мужества, героизма. Сразу было условлено отдать предпочтение авторам из районов, потому что они имеют возможность рассказать о тех, кого хорошо знают в повседневной жизни, обойденной вниманием не только чиновников, но и писателей, литераторов, журналистов... Иногда нынешние исследователи и художники пытаются донести до читателей «новую настоящую правду о войне». Но она, подлинная правда — в судьбах людей нескольких поколений. Узнать ее, доходчиво оценить вряд ли по силам какому-нибудь одному энтузиасту-субъективисту, запрограммированному на «новое» осмысление всего пути к Победе. Требуются годы неравнодушных поисков, сочувственного понимания нравственных качеств прошедших в достоинстве через военные и тыловые события.

Высшие стратегические замыслы и «окопная правда» каждого человека находятся в кровной взаимосвязи. Вопреки желаниям некоторых западных идеологов по-новому расставить акценты, переписать невозможно судьбы советских людей, ввергнутых в военное лихолетье, свидетельства очевидцев, страдавших на фронте и в тылу, домыслами заменить нельзя.

Личные и семейные трагедии складываются в мозаику общенародных страданий, сокрытых под цифровыми обозначениями общих потерь, разрушений. Материалы конкурса убеждают в необходимости иметь в области специальное ежегодное издание подобных свидетельств — собирательную хронику пережитого. Вчитываясь в биографии, воспоминания, острее чувствуешь особенность сурового времени и горько сожалешь о том, что многие люди фронтового поколения остались незамеченными, обойденными элементарным вниманием и благодарностью.

Учтены огромные, самые большие, потери в той войне, наша страна потеряла около 27 миллионов человек. А сколько раненых, изуродованных, сраженных горем, изнуряющим трудом? Сколько искалечено жизнью в сиротстве и безотцовщине.

Когда мировые специалисты, возвышающие роль стран антигитлеровской⁷ и антияпонской коалиции, сравнивают «западную долю» в победе над фашизмом, им следует учитывать и многолетние последствия войны на всей территории страны-победительницы. И через шестьдесят лет мы эти последствия остро чувствуем. Героиня одного из присланных очерков сказала: «Москву защитили, в Ленинград врага не пустили, Родину отстояли, а в мирное время родные деревни сберечь не смогли...»

Естественно и просто рассказывают люди фронтового поколения о том, что было с бойцами и страной. Среди ужасов и болей они сохранили человеческое достоинство. С первых дней фашистского нашествия верили в Победу. Эта вера проявлялась в удивительных взлетах духа, мужества и героизма. Не все фронтовики при наградах, не все охотно рассказывают о пройденном и пережитом. Многие из них шагнули в войну со школьной скамьи, участвовали в самых узловых моментах сорок первого и сорок второго годов, проявляли повседневный героизм в сумятице отступлений.

Вера в Победу давала надежду на жизнь, на будущее, на счастье и тем, кто не вернулся, неизвестно где похоронен...

За короткий срок на конкурс, объявленный без каких-либо материальных обещаний, поступило более восьмидесяти материалов. Почти половина из них похожи — перечислительно-биографические, но в каждом очерке записана жизнь и судьба, опаленная войной. По условиям конкурса отдаем предпочтение «находкам» литературного свойства, особенностям фактуры, подачи событий, оригинальности стиля. Не оставишь без учета сочинения, соответствующие редакторскому замыслу выстроить композицию по годам и территории новыми, неизвестными свидетельствами. Полезная получается коллективная работа. В зарисовках, очерках видны и сами авторы — неравнодушные интересные современники, чьи творческие работы пригодятся собирательным хроникам пережитого, если они появятся в Костроме. А этот сборник составлен в основном по материалам «пробного» конкурса, дающего определенные ориентиры для будущих. Не все из отобранных для публикации произведения вписались в композицию по материалам конкурса. Несколько очерков и зарисовок могут быть использованы в следующих изданиях. Участники конкурса в своих работах показали как зарождалась ненависть к врагу, какой ценой была завоевана Победа, подтвердили неугасающее подчтение и благодарность защитникам Отечества. Сердечное спасибо всем участникам.

Михаил БАЗАНКОВ

Алексей Базанков

«ПОДНЯЛАСЬ И МОЯ КОСТРОМА...»

Да минуют беды и печали
каждый колосок родной земли,
лишь бы в счастье мы не растеряли
то, что в горьком горе обрели.¹

Владимир Костров

Трагедийный путь к Победе читается не только по учебникам, созданным на основе научных исследований. Архивные фонды, музейные экспонаты, кинодокументы, подшивки старых газет и журналов, художественные и документальные произведения, дневники и воспоминания фронтовиков, рассказы родных и сослуживцев, сохранившиеся солдатские письма расширяют подлинное знание о Великой Отечественной войне. В нашей области тоже изданы Книги Памяти, сборники документов, печатаются очерки о тех, кто уже не придет никогда, интересные материалы из глубины спецхранов «доходят» к потомкам. Особая документальная летопись складывается по письмам с фронта и на фронт, эти эпистолярные «субъективные» свидетельства представляют особую ценность для новых исследований, они убеждают, что еще не все сказано о патриотизме и высоких гражданских достоинствах защитников Родины.

Шестьдесят лет прошло. Выросли внуки, которые не знают дедовских наставлений. И мне не суждено было видеть деда Михаила, но по рассказам бабушки Зинаиды Ивановны, по письмам, которые она сохранила, знаю каким он был, где воевал. Михаил Арсентьевич Зайцев до войны работал на Меже в райкомхозе, затем вернулся в родную деревню, начал строить свой дом, вскоре избрали председателем. А тут — война, его сразу призвали защищать рубежи на дорогах московского направления. Фронтовая должность была определена — политрук роты автоматчиков.

«Здравствуйте дорогие мои... Спешу сообщить, что жив и здоров. Прибыли на новое место, проехали благополучно, были только две бомбежки. Готовимся честно выполнить свой долг — не допустить вражескую орду к нашей столице... Фашистские налеты на Москву зенитная артиллерия и авиация отбивают... Верьте, враг будет остановлен».

Перед седьмым ноября он писал: «Дорогая моя семья, вот приходит наш главный праздник. В трудных условиях будем отмечать

его... Не опускайте голову. Зина, живи ровней, не расстраивайся и других отвлекай своим примером, чтобы не паниковали зря. Береги детей... Посылаю фотокарточку. Со мной рядом товарищ, который работает по нашему взводу писарем. Это он расписался. Малов... Очень жалею ребятишек, они у нас еще малы. Наверно, по утрам спрашивают, где папа... Детей по пустякам не надо наказывать, не срывайся на них, а лучше, если ослушаются или натворят чего, уговаривай ласковыми словами, особенно старшего, он с характером (старшему тогда семь лет было — А.Б.). Надо бы купить Боре лыжи, Коле санки, а Кате куклу. Перед отправкой я на это деньги приготовил... Посылку с теплыми вещами мне не посылайте, нас должны одеть хорошо — получим новое обмундирование».

В таких кратких посланиях и проявлялась отцовская забота. Были весточки из-под Москвы, а потом с других «полей». Когда перебрасывали «на новое место», фронтовик давал советы по родному колхозному и домашнему хозяйствам. «Стоим рядом с деревней. Место очень красивое. Только под снегом жито неубранное...» Сообщил: для перехода рота освоила лыжи.

«1942 года января 3-го дня... И на фронте мы отметили Новый год по-особому, конечно. Ставила ли, Зина, елочку для детей? Им нужна радость. Ох, как я по ним скучаю! Часто вижу во сне, будто я пашу поле, а они бегут босые по пашне ко мне и добежать не могут — сон всегда обрывается...»²

Наш дед был тогда молод, верил в светлое будущее для детей и внуков. Гордился своей ротой: «все ребята надежные, крепкие деревенские парни, если патронов не хватит, и в рукопашную пойдут». Под Старой Руссой он повел автоматчиков на прорыв... Вместе с ними остался навсегда в тех полях и «пророс травой». А жена Зинаида Ивановна всю жизнь его ждала, была солдаткой, вырастила троих детей...

Эмоциональное состояние, особенности характера каждого участника войны можно «вычитать» в письмах. Удивляют заметные совпадения надежд, мыслей, чувств и предвидений. Вот цитата из письма в Мантуровский район Героя Советского Союза Анатолия Котлова: «Мама! Если приеду к тебе — не узнаешь своего сына... За последнее время что-то часто стал видеть свой дом и вас. Как будто вы собираетесь меня женить, но никак подходящей невесты не найдете, все мне не нравятся... А то приезжаю — тебя дома не застаю, будто ты ко мне уехала. И вот почти каждый день такие сны. Сам не знаю, что такое. Или война скоро кончится, или еще что-нибудь. Не женит ли меня какая-нибудь шальная? Конечно, обидно на последних днях умирать, но что, видно, на роду написано — никуда не денешься... Ну, хватит грустные думы наводить! И без того тебе, наверное, невесело... Ничего, вот приеду домой — все наладим. Только бы остаться живому...»³

В ночь с 21 на 22 февраля 1945 года (по свидетельству очевидца Сафонова) Анатолий Котлов возглавил разведывательную группу, рискнувшую на мотоциклах прорваться в расположение врага на территории Венгрии, в бою был тяжело ранен, потерял много крови... Скончался в полевом госпитале.

Уверенность в победе и трагические предчувствия — бывало такое сочетание в настроении тех, кто ценой своей жизни защищал Родину. Предвиденье свойственно особо одаренным людям. Это наблюдение подтверждается и другими судьбами. Буйский талантливый школьник Юрий Баранов в дневниках, письмах и стихотворениях предсказывал суровые перемены: «Жизнь, которой мы так гордились, / Не лежит на нашем пути. / Видно, мы не затем родились, / Чтобы счастье свое найти». Этот быстро взрослеющий юноша за шесть недель до начала войны признавался: «Но — прекрасно все понимая, / Но — готовый идти на рать, / В этот солнечный вечер мая / Я совсем не хочу умирать. / Вот поэтому я печален, / Вот поэтому молчалив». Мобилизованный из института, став курсантом военного училища, Юрий писал 12 ноября 1941 года своей девушке — милой Лоре: «Я очень, очень тебе благодарен, что ты совсем не забыла обо мне. Я тебя никогда не забуду, хотя тоже реже стал тебе писать. Обстановка заставляет это делать. В новой моей роте такие строгие порядки...». Курсантом он участвовал в боях под Тулой. Тогда и прорвались еще раз нарастающие ноты, «потому что здесь пули свищут / И какая-нибудь из них, / Может, сердце мое отыщет / И убьет неоконченный стих».⁴

В июне сорок второго двадцатилетний лейтенант Баранов погиб в боях под Новгородом...

Первый год войны был для молодых воинов особенно трагичен: оборонялись, отступали, а зарифмованные лозунги и «заклинающие» строки призывали героически встречать «наглую свору», «стоять до конца, и ни шагу назад!». О том говорят и стихи, опубликованные после разгрома немцев под Москвой с пометкой «Действующая армия». «С Новым годом, дорогой товарищ! / С Новой силой на врага вперед!» (Часовников А. «В эту ночь» // СП. 1942. 1 янв.; Рыкалин А. «Москва отомстит» // СП. 1942. 14 февр.; «Ни шагу назад» // СП. 23 сент.). В течение всех военных лет присылали фронтовые сочинения костромичи: М. Кулапин, А. Часовников, А. Никитин (псевдоним Ал. Волин), А. Гусев, Н. Скопец, Е. Осетров, А. Гусев, И. Беликов и другие фронтовики.

Менялась обстановка на фронтах и менялось поэтическое настроение. Появлялись посвящения родному городу. Был даже «костромской вариант» неувяного характера: М. Кулапин написал балладу «Родом с Волги» — попытка создать своего «Теркина». В новом пополнении прибыл на передовую парень с Волги, из Костромы. Бывалые воины встретили его с интересом, потому что зна-

ли наш город — «лечили там раны, ходили там в сад» и особенно ценили заботу врача Державца... Приглянулся парень. «С тех пор костромич был в особом почете, / Понравился всем простотою лица, / Стрелял он отлично, и не было в роте, / И даже в полку — веселее бойца». (СП. 1943. 14 авг.)

Встречаются в публикациях «именные» стихи, посвященные землякам, боевой дружбе и собственному «везению»... По батарею идет слух о том, что артиллерист дядя Коля Киреев, друг пехоты, был когда-то в Костроме часовщиком (автор стиха Н. Скопец).

Во время войны стихи А. Часовникова печатались в дивизионных и других газетах. Были написаны песни на его слова для армейского ансамбля. Поэт с гордостью рассказывал о волгарях и написал поэтическое «Письмо в Россию из Берлина. 30 апреля 1945 года», а позднее — поэму «Юрий Смирнов». Е. Осетров посвящал стихи фронтовому братству, боевым друзьям, начинал осмысливать русскую историю, устанавливая патриотическую связь времен («У стен Ипатьевского монастыря» // СП. 1944. 5 июля), верил в «неистребимость» жизни по собственному оптимистическому ощущению: «Мне кажется, что заколдован я, / Что пули не берут меня литые, / Что я — само кипенье бытия, / Что я бессмертен, как моя Россия». Это стихотворение «Я — русский человек» было опубликовано в первом послевоенном выпуске «Костромского альманаха» в 1946 году.

Наш земляк военный летчик Виктор Волков, награжденный за оборону Москвы и Сталинграда, рассказал стихами о том, чем запомнилась ему осень сорок первого: «Враг разбил все взлетные дорожки. / День за днем девяткой боевой / Мы, взлетая дружно под бомбежкой, / Защищали небо над Москвой». Двухлетние курсанты военно-авиационного училища «показали выучку и знания, / Преданность отчизне до конца». Воин и поэт после второго ранения на подступах к Днепру навсегда ослеп. Но поэзия его выручала в самые трагические периоды военного и послевоенного времени.⁵

Теперь по многим свидетельствам мы знаем: на войне, как и в мирной жизни, разные были судьбы. Но на всех была одна Победа. О том и песня много лет звучала с трагической строкой: «Мы за ценой не постоим».

Смотрю на ветеранов и думаю: какими были мои деды, которых видеть не привелось — война отняла их у меня. Хочу знать, как работали, воевали они. Листаю подшивки газет — особую летопись. И растет познавательный интерес к тому, что помогало костромичам исполнить гражданский долг.

Высокое чувство любви к Отечеству, «правое дело» в значительной мере определяли движение к Великой Победе на фронте и в тылу. Газетные публикации говорят о том, что мобилизация духа и самосознания народа формировались не только призывами, пропагандой и агитацией, историческим напоминанием о роли и

традициях российской провинции в борьбе с внешними врагами, но и усилиями творческих работников. Искусство, литература, народное самостоятельное творчество создавали духовную атмосферу тыловой жизни, общественное настроение.

Литераторы Костромы в предвоенные годы уже писали «оборонные», патриотические стихи и рассказы. Один из них — молодой поэт А. Рыкалин, считавший себя представителем «поколения радостных людей», сочинил несколько песен («Походная красноармейская», «Песня о Котовском», «Песня о Чапаеве», «Песня о Тимошенко»). При костромском Доме Красной Армии поэты сформировали литгруппу. 1 июня 1941 года вышла последняя «мирная» литстраница «Северной правды», в ней опубликованы стихи Н. Соколова, Н. Орлова, Е. Осетрова, В. Пастухова, В. Пилюги и рассказ А. Часовникова «Голубая косынка». А 22 июня должен был состояться лермонтовский вечер..

Указ о введении военного положения и мобилизации изменил жизненные порядки. Поэты, журналисты, писатели тоже пошли на фронт. Но и оттуда, из действующей армии, они присылали произведения для публикации в газете, которая сразу стала работать на далекую победу. Примечательно, что литературная жизнь в Костроме активизировалась и была заметно поддержана, как и деятельность всех других творческих коллективов, редактором «Северной правды» Н. Казариным. О творческой жизни костромской интеллигенции постоянно рассказывали газеты «Северная правда» и «Северный рабочий», на газетных полосах «встречались» литераторы-фронтовики, работники тыла из Костромы и Ярославля (по заметкам Б. Козлова).⁶

Публикации, вечера, отчеты писателей, обсуждение пьесы В. Лебедева «Максим Горький», юбилейные торжества, посвященные Грибоедову, Тургеневу, Крылову, отзывы читателей на произведения земляков-фронтовиков — все свидетельствует о работе художественного слова. В городе и по области читают рассказ А. Толстого «Русский характер». 12 февраля 1942 года в библиотеке им. Крупской проведено открытое заседание кафедры языка и литературы учительского института. А. В. Чичерин выступил с докладом «Оборона Родины и литература». Была развернута выставка произведений. Горком партии проводит общегородские собрания творческих работников. На одном из таких в 1942 году отмечалось: художники дали 50 рисунков для окон ТАСС, литераторы выступают в печати и по радио, артисты поставили 8 шефских спектаклей, дали 61 концерт!..

Появляются значительные публикации Е. Осетрова, А. Никитина, Н. Орлова, А. Жарова. Прозаик В. Лебедев в октябре 1943 года на собраниях литгруппы читал свой роман «Млечный путь», чем и подтвердил свою творческую активность во время войны.

Последовательно, активно работает театр. Режиссер театра

имени Островского Минаев, заботясь о повышении творческой культуры, определяет главные цели коллектива: «Театр должен вдохновлять на подвиги, на самоотверженный труд, показывать средствами театрального воздействия примеры и величие героизма; в образной форме говорить с подмостков о том, что преданность родине, подвиги во имя родины являются единственной вдохновляющей целью каждого. Подмостки театра должны стать источником оптимизма».⁺⁶ Спектакли «Батальон идет на запад», «Надежда Дурова», «Мстислав Удалой», комедия Б.Ромашева «С каждым может случиться», «Снегурочка» Островского — часть репертуара во второй год войны.

Был творчески воспринят ориентир, высказанный т. Щербаковым на торжественном заседании, посвященном годовщине смерти Ленина: «Тыл питает фронт бойцами, настроениями, идеями». Работники духовной сферы понимали: деятельность науки, литературы, искусства в военное время нужна больше, чем в мирное. Роль костромского театра на протяжении войны была особенно значительной. Спектакли, поднимающие дух, выступления бригад перед фронтовиками, концерты в театре по произведениям местных авторов, сбор от которых поступает на постройку эскадрильи противотанковых самолетов, шефство над госпиталями, детскими домами, выезды в колхозы. Заслуженной известностью и любовью среди выздоравливающих бойцов и командиров, находящихся на лечении, пользовались артисты городского театра П.В. Брянский, Г.В. Соловьева, В.М. Ярчевский, А.М. Талисман, Е. В. Аделева и другие. «Рядовой и офицерский состав госпиталя, где начальником т. Айзенберг, по возвращении на фронт обязуется, в ответ на заботу о них, с новой силой обрушиться на врага». (А. Андреева. СП. 1943. — 5 декабря). Были подведены итоги такой работы в госпиталях: 1100 шефских спектаклей, 1000 художественных чтот в палатах тяжело раненым бойцам. Приказом начальника Костромского гарнизона от 23 февраля 1944 г. объявлено 300 благодарностей артистам драмтеатра им. Островского за обслуживание спектаклями и концертами воинов гарнизона и госпиталей.

Осенью 1943 года открылся цирк. Библиотеки получают премии за массовую работу. Рабочие заводов и фабрик собирают одежду для жителей освобожденных районов, посылают книги, подписываются на заем и участвуют в художественной самодеятельности. Музыканты выступают с концертами. Художники устраивают выставки. К 26-й годовщине Красной Армии Назаров, Яблоков, Рябиков, Колесов пишут портреты военачальников, пейзажи, сюжетные картины. Начальник областного управления искусств Ларин проводит собеседование с художниками о подготовке работ на московскую выставку. Яблоков, избранный секретарем городского Союза художников, начал писать картину «Козьма Минин», Назаров пишет «Ивана Сусанина», Беляев — картину «Партизаны». Дей-

ствует филиал Союза художников. Возвращаясь в сорок второй год, нельзя обойти даже названия эскизов на конкурс: «Прошли немцы» Колесова, «Жертва фашизма» Беляева, «Отъезд сына на фронт» Рябикова, «Организация партизанского отряда» Назарова. Живопись, графика, плакат имели особую тематику и направленность.

Николай Шлеин организует выставки молодых живописцев, на базе своей студии создает художественное училище. Работы костромичей экспонируются на выставках в Ярославле, Иванове, Москве. Запланированы творческие отчеты молодых. Появляются костромские сатирические плакаты в «Окнах ТАСС». В 1943 году для всесоюзной выставки «Фронт и тыл» ярославское жюри отобрало 17 картин, созданных костромичами.

ПЕРЕЛОМНЫЙ сорок третий... Газеты постоянно сообщают о работе учреждений культуры, писателей, музыкантов, живописцев, учителей, ученых. Возьмем для примера такие сообщения. «Сегодня в помещении клуба на улице Луначарского впервые за время войны открывается большая художественная выставка, на ней представлено около ста работ местных художников». (14 ноября). А 17 октября газета «Северная правда» сообщала: «Недавно Вере Михайловне Шпажниковой присвоено звание заслуженного учителя...». И еще несколько примечательных фактов по газетным публикациям: концерт в музыкальной школе посвящен П.И. Чайковскому; спектакль «Инженер Сергеев» рассказывает о поведении человека в решительную минуту; учительский институт отмечает 125-летие со дня рождения И.С. Тургенева; в четверг 21 октября в 20 часов на собрании литературной группы писатель В.А. Лебедев читает свой роман «Млечный путь»; концерт фронтовой бригады гортеатра им. Островского на фронте; русский хор на фабрике; доцент учительского института проводит литературные понедельники в клубе им. Коминтерна; объявлены концерты ансамбля Эстонской ССР; опубликовано стихотворение Александра Жарова «Слава молодому поколению»; концерты учащихся в госпиталях; открыта заочная средняя школа; в цирке большое представление... И в тех же номерах газеты постоянные напоминания о светомаскировке, стихи с фронта. 17 октября 1943 года напечатана «Песня о Костроме» Николая Орлова. «Всколыхнула война, громохая, / Наши улицы, наши дома. / На защиту родимого края / поднялась и моя Кострома»... Конечно, были трудности, горе, лишения. Но литература, театр, музыка, искусство подкрепляли дух. Проводились фестивали исторических фильмов — они имели особое воспитательное значение. Немало нестареющих кинолент поступало в кинопрокат: «Александр Невский», «Минин и Пожарский», «Петр Первый», «Суворов», «Чапаев», «Как закалялась сталь»...

По рассказам родных, по воспоминаниям фронтовиков и труженников тыла, по произведениям художественной литературы те-

перь мы знаем о том, что особую роль сыграло устное народное творчество, через фольклор люди выражали свое настроение. Приходится только сожалеть, что в те годы, да и позднее, в печати не уделялось внимания свежим байкам и частушкам. В подшивках «Северной правды» за четыре года удалось найти единственную обширную публикацию под рубрикой «Поет колхозная деревня». 12 декабря сорок третьего года К. Сорочинский опубликовал подборку записанных в деревнях частушек. В газете не раз отмечалось: исполнительских сил много, но нет музыкальных инструментов, грамотных руководителей. И все же постоянно проводились смотры художественной самодеятельности. Немаловажны были и стихийные спевки: в поле, на току и на ферме, в цехе и дома, на торфоболоте и на лесозаготовке. Пел народ...Объединение композиторов и музыкантов было сформировано в 1942 году. Хоровое пение, литературно-музыкальные концерты, музыкальные школы, затем — музыкальное училище, различные кружки на предприятиях, в избах-читальнях и красных уголках — все сложилось в разветвленное музыкальное влияние, которое поддерживало коллективный настрой.

Библиотеки, клубы, новые учреждения культуры имели тесную связь с работниками литературы и искусства, проводили совместные вечера, концерты, юбилейные торжества. Удивляет обилие литературных публикаций, вечеров и писательских отчетов. Читательские конференции, громкие читки, сценические постановки по рассказам, песни. Не оставлено без внимания творчество земляков. Оно свидетельствует об активной работе художественного слова. Очевидно, учительский институт, театр и редакция газеты «Северная правда» имели отчетливую патриотическую позицию.

Художественное слово было в цене. На базе опыта, приобретенного в годы войны, в первые послевоенные месяцы все было сделано для открытия Костромского книжного издательства, начавшего выпускать большими тиражами художественную литературу и документальные очерки о земляках. Перед нами добрые и мужественные примеры, поучительные и необходимые в новых условиях через шестьдесят лет после войны. Наши деды, навсегда оставшиеся на полях сражений, и живущие рядом с нами ветераны войны достойны благодарной памяти, подтверждаемой конкретными делами во благо народа и Отечества.

-
- 1.См: Костров В. Солнце во дворе. - М. МГ, 1978. - С.95
 2. Базанков М. Русское поле. - М Современник, 1990. - С.24
 - 3.Кострома. Литературный сборник №9. - Кострома, 1957. - С.144
 - 4.Баранов Ю. Голубой разлив. - Ярославль В.-В.,1988. - С. 10,39,158
 - 5.Волков В. Поэты-фронтовики. -Ярославль. В.-В.,1969. - С.45
 6. Козлов Б. «Версты, дали...»-Кострома.Госуниверситет, 2003.-С.84-85.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Эшелон тащился медленно, словно ленивая, буро-зеленая гусеница. Аркадий нервно курил, до боли в глазах вглядываясь в горизонт, навстречу которому едва ползло сверкающее железнодорожное полотно.

Город приближался, не торопясь, как будто испытывая терпение человека. И в то же время Аркадий знал: чем медленнее будет идти эшелон, тем больше у него шансов увидеть Варю. Только бы ей сообщили!

Вот показались первые дома. Аркадию хорошо видно, как через поле, запинаясь за кочки, бежит женщина. Она часто взмахивает руками, то и дело падает... Но это не Варя — Варя выше и стройнее. И у Вари длинные волосы...

Станция. Толпы народа. Аркадий решает, что сверху он быстрее увидит жену. Но в первые же минуты не выдерживает и соскакивает с платформы.

Глазов высок. Ему хорошо видно людей в толпе. Но это еще больше угнетает его, потому что Вари нигде нет. Появляется мысль: «Не сказали. Надо домой. К четвертому эшелону успею». Вдруг кто-то сзади потянул Аркадия за ремень. Торопливый женский голос произнес:

— Аркадий Матвеич! Варенька в роддоме. Тебе дочку родила!

Он даже не успел разглядеть эту женщину...

Наспех накинув на плечи халат, Аркадий вбежал на второй этаж. Нянечка только и успела крикнуть:

— Направо, Аркадий Матвеич!

Глазов не знал, что все это время, пока эшелон шел до станции, на него из окна, не отрываясь, смотрела Варя. А, запинаясь за болотные кочки, к железной дороге бежала медсестра Мария Степановна — сообщить о том, что Вари нет дома.

Теперь Варя лежала на койке и, оцепенев от происходящего, наблюдала такую картину:

Глазов, зажатый в кольцо невесть откуда взявшихся женщин, рассеянно отвечал на их вопросы, глядя через их головы на Варю. Наконец, он сообразил, что так просто к жене пробиться не удастся. Громко, перекрывая голоса женщин, он сказал:

— Да что вы так волнуетесь! Лежите спокойно, рожайте, через две недели это все кончится.

Женщины разом замолчали, и Аркадий подошел к Варе.

— А я не знал, что ты здесь, на вокзале искал.

— А я тебя из, окна видела. Это ведь ты ехал стоя? Глазов, не отрываясь, смотрел на жену. Словно сквозь сон доносился до него голос медсестры. Он очнулся, когда Варя спросила:

— Как назвать дочку, Аркаша?
— Любой. Любашей назови...
Было это 23 июня 1941 года.

Надежда ВЛАСОВА

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

Нет у нас более пронзительной и точной мелодии — ни по звучанию, ни по названию, исторически и человечески понятному. Жизнью проверенному. Почему этот марш вспомнился? Так потому, что война — это прощание. Надолго или навсегда. Было в семье пять сыновей. Домой вернулся один...

И еще потому вспомнился, что как раз он играл в духовом оркестре — до войны и после. И хороший, видно, был оркестр в крохотном поселке Якшанга, раз перед войной на областном смотре завоевал второе место по Горьковской области.

— А чего играли-то?

— Да все! Вальсы, фокстроты, танго, марши. «Украинское по-пурри» было — на темы украинских песен. Аж пятнадцать минут звучало. И еще — вроде бы, «Кавказская сказка»... Такая интересная мелодия.

— А «Прощание славянки»?

— Он ведь до войны запрещен был. Но уж очень красивый марш — так, потихоньку наигрывали.

22 июня, оркестр в полном составе играл на поселковом стадионе, заранее создавая хорошее настроение людям: «массовое гулянье» — так назывались тогдашние мероприятия. И он, конечно, вдохновенно выводил на своем баритоне что положено. День был солнечный. Теплый ветер ерошил буйные кудри, за которые и наградили его прозвищем Кудряш, вдобавок к имени собственному — Борис Варгаузин. Вот в эту светлую идиллию и бухнула где-то в полдень весть о войне.

— Прибежал домой — родители плачут... «Ребята, всех вас эта война заберет». Пять братьев у нас было. Старший — Николай. Он в то время работал в военном институте под Ленинградом. Василий и Александр проходили службу в действующей армии. Сашу мы считали родным братом, и рос он в нашей семье. Дело в том, что мать родила двойню — Василия и Александра. Александр умер. И почти в тот же момент остался сиротой другой Саша: умерла родами сестра отца. Вот так и «вернулся» в нашу семью Александр. Я — четвертый. А пятый — Анатолий — в ту пору был еще школьником. Сестра Соня всю войну работала в госпиталях — их в Якшанге было два.

— Знаете, Борис Васильевич, очень символично получается. «Украинское попури» — таким эхом откликнулось. Вы же всю Украину прошли. Да и «Кавказская сказка» стала «горно-стрелковой былью»...

— Насчет Украины: не прошел, а прополз и в ту, и в другую сторону. Уже 27 июня эшелон, где была и команда шарьинских новобранцев, попал под бомбежку. Сопровождающий то ли погиб, то ли пропал. И вот мы идем пешком на запад, к месту назначения. Встречаем какую-то маршевую роту. «Ребята, вы куда?» — «В артиллерийское училище, в Тернополь». — Да вы что, там уже все полыхает». Так и прибились мы к воинской части. Первое оружие, которое я получил, — винтовка выпуска 1891 года.

Места расположения части все время менялись. И на каждом — строим оборонительные сооружения. На одном участке сильно донимал нас немецкий пулеметчик. Как позавтракает — так и начинает «охоту» с нейтральной полосы. Есть раненые, убитые. Поговорил с командиром, и ночью мы с дружкой отправились туда, вырыли окопчик в зарослях подсолнуха, лежим, ждем. Рассвело. Немец, видно, позавтракал — и взялся за дело. Точно засечь его в этих зарослях трудно, но на наше счастье очередь прошла близко, через стебли — они разлетелись, так что понятно, где он находится. В общем, «заглушили». В обычных разговорах с ветеранами не остается места тому, что, собственно, и составляет ткань войны. На второй план всегда отступают холод, голод, вши, непролазная грязь... Чем ценны безыскусные записки Бориса Васильевича, которые, к сожалению, невозможно опубликовать полностью: там все написано с хронологической и бытовой точностью.

«Освободили деревню Кировка, что правее хутора Черниковы дворы. Возле дома догорала солома, под ней — крышка от ямы. Подняли — женщина и трое детей. Задохнулись в дыму. Вошли в дом: тихий, писклявый плач откуда-то. Открыли, наконец, сундук — в тряпках девочка-малютка. Завернули получше, отнесли медсестре. Она с нашей частью ушла из Сумской области, учительница. Эту Кировку мне век не забыть. Только заняли, поступил приказ: «Отойти на заданные позиции». Отошли. На следующий день приказ: атаковать. Атаковали, опять взяли, только сопротивление более жесткое. Снова команда — отойти. Следующий приказ — Черниковы дворы. Немцев на хуторе не было. Но население начало уходить. Поздно сообразили, что — к немцам. Расположились, начали сушить портянки, поставили чугунок на огонь. Бежит дозорный — немцы! Строчил я из пулемета, лежа на куче сухого навоза — перебегающие в кукурузе немцы хорошо видны были. После боя пошел собирать документы убитых. Стащил с одного сапоги, сложил туда все, что было у них в карманах. Запечатанный пакет отправил командиру роты. Раненому немцу, которого наш солдат приволок, орущего, за

ногу (в мякоть он и был ранен) — дал бинт перевязаться. На печи дочь хозяина — тоже ревет, как корова. «Чего реवेशь?» — «В ногу ранило». — «Показывай, где». Жмется, стыдится. Прикрикнул на нее, попросил бойца помочь. Тот держал, я перевязывал.

Закипела вода в чугунке. Поесть опять не удалось. Та же история: дозорный с криком: «Немцы!». Комроты посмотрел: «Много. Не одолеть и огнем не удержать». Я говорю: «Со своим отделением задержу, сколько смогу». В общем, отступали мы последними — по оврагам, подсолнухам, буеракам. Ночь, но светло, как днем. Осталось у меня всего полдиска — и тут справа показалась чья-то колонна. Наши? Немцы? Эти две минуты, пока не понял, были самыми длинными в моей жизни. Наши! Комроты нас не бросил.

... Зашли в какой-то сарай — оказалось, птичник. Отрезал гусю голову, ободрал кой-как. Ребята натопили снегу. Мясо покипело минут 15. Команда: «Стройся!» Разодрал гуся руками, раздал бойцам, бульон разлили по котелкам. И этому рады — больше двух суток голодные! Но самое интересное, присмотрелись — мы опять вышли в балку под Кировку. На рассвете команда: «В атаку!» Снова заняли и снова приказ — отойти. Тут уже мы не выдержали. Спрашиваем у комроты: «В чем дело? Что происходит?!» — «Не знаю!» — «Может, опять на эту деревню прикажут? Пока не покормят, не пойдем». Часа через два подошла походная кухня. Ничего, кажется, вкуснее не едал я, как та пшенная каша с мясом.

Конечно, неразберихи в первые месяцы было много. На войне смерть — и так за тобой по пятам ходит.

— А что все-таки спасает — опыт, какой-никакой, везение, случай?

— Все есть. Как в той же Кировке: бежим с солдатом вокруг дома, он с одной стороны, я с другой. Дверь распахивается, немец с автоматом. Спасло меня то, что он был левша, и то, что у хаты двери низкие. Пока он разворачивался в мою сторону, мой солдат долбану его прикладом по каске, которая над дверью возвышалась. Жизнь мне спас. Что это? Случай или опыт? В горячке боя не успеваешь, как правило, испугаться. А в другие моменты разное бывает состояние. Как-то командир рядом со мной в траншею поставил новичка: «Пусть возле тебя осваивается». Мина шарахнула в бруствер — ему полчерепа снесло. На мне ни царапины. А на рассвете, гляжу — дружок мой, который по другую сторону от него был — белый как снег, седой. Так вот, про «горячку боя».

Опять пошли мы в атаку на Кировку. Товарищ кричит: «У меня пулемет заклинило». Тут я вскочил во весь рост, ремень от своего пулемета на шею накинуд — и ну строчить. Пули вокруг свистят, а я — много ли соображения — машинально от них рукой отмахиваюсь! Не отмахнулся. Ударил в плечо, вышла через лопатку. Упал, ползу, кажется, в одном направлении, а оказалось — на месте кручусь.

Спасла медсестра, утащила в балку. Чистые портянки в вещмешке были, ими рану перетянула. Погрузили на подводу и отправили вместе с тяжело раненым бойцом. Пять километров ехали, а кажется — долго-долго. В селе увидели санчасть, подъехали. Фельдшерица: «Вы не наши, мы вас не примем». — «У нас тяжело раненый». — «Все равно».

Взял у ездового карабин, вдвоем загнали патрон в патронник (рука не двигается), зашел в хату, а там пирушка. Заорали. Выстрелил вверх... Побежали с носилками, унесли раненого. Оставили его здесь, а сами нашли санчасть нашего полка. Руку загипсовали, ноги обработали: Не так страдал я от раны, как от обморожения. Морозы в первую зиму стояли лютые.

А мы — в ботинках, в пилютках и без рукавиц. Схватишься за раскаленный ствол — пар идет! Хорошо еще, что фланелевое нижнее белье выдали... Хотя увезли меня на санпоезде в «теплые страны», в Фергану, в Узбекистан.

— А вернулись вы опять на Украину?

— Не сразу. Но в начале марта были уже в Изюмо-Барвенковском мешке. Там попал под трибунал.

— За что?

— В моем отделении — один татарин, остальные узбеки. Разговариваешь с ними — все прекрасно понимают по-русски. Как начнешь требовать, командовать — «моя белымес не понимает». Мыло дашь — мыло съедят. Соль дашь — соль съедят, от еды отказываются, морят себя голодом, только чтоб на передовую не идти. Как-то выстроили всех возле школы, вынесли стол, за который сели члены военного трибунала. Объявили: «Слушается дело по обвинению в членовредительстве бойца такого-то». Привели солдата из моего отделения, недавно отправленного в санчасть. Оказалось, он проколол мякоть левой руки, и грязную нитку оставил там. Рука распухла, в полковой части определили, что к чему. Вину свою он признал. Тут же его и расстреляли. А «мой» случай... Знаю, что один из них восемь месяцев служил действительную. Говорю — покажи, как заряжается винтовка. Он берет обойму и пулями тычет в магазинную коробку! Не сдержался я, врезал ему по зубам. Посадили меня в подвал, воды по колено. Недельку, пока шло следствие, сидел на деревянном ящике и отбивался палкой от крыс, иначе бы они меня растерзали. Руки все были обгрызены. Наконец, на последней очной ставке боец-татарин и один из узбеков подтвердили, как было дело. Комиссар говорит: «Закрывайте дело, а бойца отправьте в санчасть». В конце концов, мечта моя сбылась.

Забрал меня с собой «продавец» — так мы называли тех, кто приходил отбирать бойцов: кому повар нужен, кому плотник. Я просился в разведку. «Звание?» — «Сержант». — «Сержанты не нужны». Но через несколько дней все же пришли и за мной. Так я опять попал на передовую, а то ж хотел сам туда бежать.

13 мая послали меня в штаб 38-й армии, на краткосрочные сборы снайперов. Сборы закончились, приказали идти в свои части. На шоссе на Красный Лиман чувствуется какое-то напряжение, что-то неладное. Машины идут на большой скорости, не реагируя на сигналы остановиться... Как оказалось, в этот день, 17 мая, немецкие танки срезали горловину Изюмо-Барвенковского выступа, где остались в окружении две наши армии... Тут мы и сами увидели воочию: из ложины, заросшей ивняком, выползают четыре танка. Бросились в лесок — там артиллеристы разбрасывают маскировку. Кинулись к командиру: «Танки!» — «Сколько?» — «Четыре». — «Попадут под прицел — разделаем!»

«Дайте нам оружие!» — просим. — «Некогда нам с вами возиться». Вытащил карту, указал направление: «Бегите к Северному Донцу!»

Подошли к берегу, и оказалось, что из четверых плавать умею только я.

Нашли дерево, привязали к нему одежду и, толкая его, я переправил одного за другим своих товарищей, не умеющих плавать. Вода холодная, и после каждого «рейса» они меня растирали. Прибился к нам еще шофер автомашины, переплыл сам. Сидим в лесочке, видим, под самым обрывом, у воды, едет всадник. Лошадь вошла в зыбун и начала тонуть. Как она кричала, бедная. Он успел выпрыгнуть на берег и даже срезать седло. Начал прилаживать его к какой-то коряге, чтобы переправиться. Оно сваливается, тот ничего сделать не может, плавать, видно, тоже не умеет. Переправил и его — оказалось, военврач нашего полка. Поесть бы не худо — ни у кого ничего. Тут шофер вспомнил: «в кузове мешок с продуктами!» Поплыл за мешком. Только залез в кузов — автоматные очереди: немцы. Кубарем, без мешка скатился, кинулся под обрыв, за поворот реки. Переплыл, пришел на место «стоянки» — нет никого. По первым следам вышел на грунтовую дорогу, там неподалеку зенитная батарея. Девчонки как меня увидели... Визгу-то было! На мне же, кроме пилотки с документами, ничего нет! Вышел лейтенант: «В чем дело?» Указал направление, куда ушли наши. Иду по лесу, мошара заедает, комары... Был у меня свой «позывной»: кукушкой куковал, просто так орать в таких местах опасно. Охрип аж, до того до-куковался. Откликнулись, нашлись. С кулаками на них, до того рассердился.

В конце концов встретились и с теми немногими из наших, кто сумел выйти из окружения. В общей сложности тринадцать человек нас осталось. Вот эту группу и направили на оборону стекольного завода в Изюме. Линия окопов проходит по краю балки — примерно на километр. Тринадцать человек с винтовками... Немцы начинают спускаться по другому краю балки. Настроение паршивое. И вдруг какой-то странный шум, никогда раньше такого не слышал.

Столбы огня, дыма, пыли. Когда все рассеялось, немцев как корова языком слизнула. Так мы впервые узнали, что такое «Катюши».

Вот оно, солдатское счастье. Миг пережил, выжил... Помог кто-то, выручил — из этих мгновений оно и складывается. Одни переправы чего стоят... В сохранившихся истертых обрывках бумаг названия станиц, сел, городов — их не уточнить, Владимировка, Федоровка, Пермановка... И совсем неразборчиво — видимо, переправы через Дон: Константиновская, Мелеховская, Багаев-ская... После долгого отступления подошли к Константиновской. Протиснулись к парому через сотни, тысячи людей. По просьбе офицера погрузили его машину. Паромчик маленький, нас не пустили. Но одежду в плащ-палатке командир разрешил оставить в машине: на том берегу заберу. Сам опять поплыл в одной пилотке. Плыть трудно. В одном из недавних боев осколками царапнуло спину и переломило правую руку. В медсанбате перетянули бинтом с двумя дощечками, гипса не было. И главврач сказал: «Кто на ногах, может сам уйти — уходите немедленно. Немцы прорвали оборону. Транспорта у нас нет». Что стало с этим госпиталем — страшно подумать. Все же понятно... Так вот, с трудом переплыл, упал на берег. Рвет меня водой, тошнит. И тут начали бомбить переправу. Ни парома, ни командира, ни машины. А я опять в одной пилотке. Две донские казачки, что были рядом, дали мне одна галифе, другая нательную рубашку. Едет мимо старшина, из брочки торчит винтовка, на ней ботинки болтаются. «Дай ботинки» — «Не дам». Проследил за ним. Как только он вошел в хату, стащил и ботинки, и винтовку, и каску. Быстро ушел с этого места. Теперь я почти солдат! А кладовщик из колхозного склада понял меня, отдал свою, видно, старую гимнастерку («сам воевал, нога вот на деревяшке»). Отрезал полкаравая хлеба, в каску налил меду... Разные люди попадают на войну, по-разному проявляют себя.

— Давайте вспомним еще Кавказ. — Вот вам простой вопрос, что труднее: подниматься в горы или спускаться?

— Наверное, подниматься.

— Нет, как раз наоборот. А всего тяжелей по горам лазить на общевоинском пайке — не хватает воздуха, калорий не хватает. Стали взвод делить пополам, чтобы бойцы как следует отдохнули (мы, в основном, прикрывали перевалы). Там я едва не погиб, но не от пули: заболел тифом, причем во время очень серьезного рейда. Держался сколько мог, не хотел отставать, но все же отстал, потерял сознание, свалился в ложину. Там меня и нашли, привезли в санчасть на тележке с хворостом. Признаков жизни вовсе не подавал, и две медсестры вынесли меня в коридор, на топчан, закинули простынькой. Доктор пришел. «Там, — говорят, — боец умер от тифа». Откинул простыню, взял за руку — рука мягкая. Пощупал пульс — еле-еле, но теплится. «Несите обратно!» Выходили меня в этом ма-

леньком госпитале. А еще трое моих заболевших товарищей, которых отправили в Кутаиси, умерли.

Слышали, наверное, историю, как наши альпинисты сбросили с Эльбруса немецкие штандарты и водрузили красное знамя?

— Конечно.

— Я был в группе прикрытия. Их было двенадцать человек, среди них — одна женщина. Готовились они на базе 900 горно-стрелкового полка. Снаряжение у нас было такое: у меня — снайперская винтовка, гранаты «ф-1» (у кого-то противотанковые, те 2 кг весом), 2 шашки тола, патронов брали побольше, по очереди несли два пулемета, 3 коробки — это 9 заряженных дисков, в них по 71 патрону. И еще продукты. Ботинки с шипами, очки — без них в солнечные дни нельзя, воспалятся глаза. Наша задача была — прикрыть левый фланг группы восхождения. Операция прошла без потерь.

Еще было задание — перегнать скот. Как-то из-за перевала, от немцев, пришли два свана. Сообщили, что немцы отобрали у местного населения всех овец, коз, коров и загнали в две большие кошары. Охрана рядом в здании, собак нет. Взвод разведки, и я в том числе, благополучно ушли в тыл к немцам, бесшумно ликвидировали охрану, животных перегнали через перевал более 500 голов (пересчитали, когда перегоняли по узкому мостику через трещину льда). 15 овец оставили нашему взводу, остальных забрали тылы армии.

Немцы начали отход с Кавказа, и последнее задание в горах — отрезать отход дивизии «Эдельвейс». Но припоздали: основные силы уже ушли. И все же засада наша была удачной: наткнувшись на нас, получили сполна. Более ста человек они потеряли, остальные ушли другими тропами. У нас — трое убитых и семь раненых. Вернулись через Бичевский перевал на базу.

— «В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни тропа»...

— Абсолютно так. Поэтому мы были так благодарны нашим проводникам-горцам. Они действительно знают не только все тропы, но и все камни.

— Ну, а дальше, видимо, была «вторая Украина».

— Сначала Новороссийск — пошли пешком в этом направлении. Началась долгая окопная жизнь. Часто ходили в ночные дозоры на нейтральную полосу, чтобы предотвратить вылазки на нашу передовую. В одном из них заметили движение в развороченной скирде соломы — близко к немецким траншеям. Решили взять языка. Бесшумно взяли двоих — один молодой, другой постарше. Они оказались туркменами. При обыске у молодого нашли обычный термометр, оружия не было. Тот стал умолять вернуть его. Вернули. Он тут же сунул его в рот, раскусил — и упал замертво. Старший во время допросов признался, что готовили их в тыл, как перебежчиков. От обычного градусника вряд ли сразу помрешь — очевидно, там был яд. От командования нам здорово досталось за допущенную халатность.

А однажды взяли на нейтральной полосе пленного. Поскольку я уже не раз отводил «языков» на КП, послали меня и дали еще очкарика из дивизии. Всю дорогу «язык» пел песни: он, оказывается, сам хотел сдаться в плен. Сдали его, пошли обратно. Тут останавливают нас. Подъехал полковник на машине и еще две — с охраной. Начал расспрашивать, кто, откуда, давно ли воюем. Очкарик сказал, что он с Украины. «Скоро вернемся», — заметил тот. У очкарика очки все в трещинах, проволокой закручены. Он говорит — нельзя ли, мол, поспособствовать. Тот записал просьбу. Через какое-то время, оказавшись в штабе дивизии, увидел его. Очкарик кинулся ко мне, радостный: не забыл полковник, передал очки! А звали его Леонид Ильич Брежнев — он был комиссаром 18-й армии.

— Можно ли привыкнуть к опасности на войне?

— Такого, чтоб уж совсем ничего не бояться, конечно, нет. Привыкаешь действовать хладнокровно и расчетливо и к тому же понимаешь, что все равно случиться может всякое. Как-то в разведке тяжело ранило нашего товарища. Нам четверым было приказано на носилках отнести его в санчасть. Дожди шли страшные, идем по колено в грязи. Речушка маленькая превратилась в бурлящий поток. Ночью саперы спилили два осокоря — это переправа. Пройти по ней может только канатоходец. Но идти надо. Место простреливается снайпером. Двоих наших товарищей он положил, одного за другим. Ползком, толкая носилки, все же перелезли. Дальше — шоссе. Еще того хуже — пулеметом простреливается. В общем, еле-еле преодолели мы это пространство. Когда попали, наконец, в мертвую зону, не сговариваясь, сели, и у обоих слезы хлынули из глаз — от душевного напряжения, от того, что живы остались, от того, что ребята погибли. А опасность — она ведь не только в пулях да минах. К примеру, чуть не объявили меня дезертиром...

— Как?!

— Был ранен уже в третий раз, попал в госпиталь в Геленджике. Осмотрели руку — «ампутация» — «Умру, — говорю, — но с рукой!» По счастью, женщина-военврач вспомнила меня по госпиталю в Фергане. «Ладно, будем лечить». Как только рука поджила, я сбежал: не хотел потерять своих. Старшина, который и подал мне эту идею (он собирался догонять свою часть), достал мне обмундирование. Я не знал, что за это время наша 242 горно-стрелковая дивизия вошла в 3-й горно-стрелковый корпус. Потому я и не смог ее найти. За бои на Кубани ей было присвоено звание Таманской Краснознаменной ордена Кутузова. На каждом КПП меня, конечно, задерживали. Все объяснял и шел дальше. В конце концов, один капитан сказал: «Гоните его в Новороссийск, в выздоравливающий батальон». Там определили меня на курсы младших лейтенантов. Недели через две вызывает начальник курсов. Вместе со мной — и командиров взвода, батальона. Расспросил, давно ли воюю, где вое-

вал, какие ранения, кто из родных на фронте. Рассказал, что ушли из семьи пять братьев, двое погибли, об остальных не знаю. Достал он бумагу из стола — «вот, читай, ты объявлен дезертиром. Раз убежал из госпиталя — значит, дезертир» — «Так я же, — говорю, — не в тыл убежал, а на передовую, чтобы свою часть найти!» Спрашивает у командиров: «Как его успехи?» — «По артиллерийскому и минометному делу неважно» — «Почему?» — «Так они до меня все прошли! Да и писать мне не на чем и нечем». Достал толстую тетрадь, три карандаша: «Учись. Если будем отчислять, пойдешь в штрафбат». Курсы я окончил. Повседневные погоны и парадный ремень мне и еще одному младшему лейтенанту вручал опять-таки Брежнев.

Ну, а дальше пошло наступление — действительно, «вторая Украина». Сохранилось мое письмо сестре: «Пишу из только что освобожденной станицы, по улицам которой мы проходили раньше. Тогда это был цветущий сад, а теперь здесь не только коровы или курицы — кошки не увидишь. Здесь немец все живое выжег. На одной из улиц стоит старик, белый весь от пережитого ужаса, плачет, как ребенок. «Спасибо вам, — говорит, — солдатушки, что не забыли, освободили». Ничего и почти никого не осталось в станице. Молодых фашисты угнали в Германию, сады вырубили, общественные здания и большинство домов спалили. В общем, всего, сестренка, не опишешь. Прочти это письмо в классе. Привет преподавателям. 4 мая 1943 года».

— А где был последний бой?

— Возле села Уланово, в 1944 году. С церкви бил немецкий пулемет. Приказал подать мне снайперскую винтовку — я же в горно-стрелковой дивизии во взводе разведки был снайпером. Через оптический прицел нашел орудие, взял на мушку одного — снял. Подскочил солдат — и его снял. А вот третьего поймал на мушку, но успел или нет нажать на спусковой крючок — не знаю. Рядом прогремел взрыв, и я потерял сознание. Очнулся в госпитале, в Киеве — тяжелая контузия. Долго еще ничего не слышал и не говорил. Из Киева увезли в Кисловодск. И оттуда, после лечения, в сопровождении медсестры — домой, в Якшангу.

— Борис Васильевич, ваши братья...

— Василий, командир батареи 45-миллиметровых пушек, участвовал в обороне Москвы, а погиб под Воронежем. Приказал своим отходить в балку, у него осталась одна граната. Он заскочил в землянку, за ним — немцы. Взрыв — и все. Саша воевал в 70-й стрелковой дивизии, был политруком роты. Они попали в окружение на станции Дно Псковской области. Анатолий — танкист, командир орудия. Мост через низину заминирован, пошли прямо. Первый танк засел, вышли из своего — тут их накрыло снарядами. Село Бортники, Ивано-Франковской области. Там они все и похоро-

нены, под этим обелиском. Был я там — место высокое, каменистое. Николай погиб последним — служил в отдельной саперной роте по строительству мостов. «Рама», немецкий самолет — точно в костер, у которого они сидели, сбросил бомбу. От 12 человек — одни лохмотья. Станция Всеволожская Ленинградская область. Там я, конечно, тоже был.

Как родители пережили — не знаю. Отец ослеп совсем. У матери слезы до конца жизни не высохали. Четырех сыновей потерять — такое вот прощание славянки.

— Борис Васильевич, что вы чувствуете, когда слышите сейчас этот марш?

Все в нем: и горечь, и радость победы. И разлука вечная с теми, кто погиб.

Ирина СЕМЕНОВА.

ОХРАНЯЛА НЕБО НАД МОСКВОЙ

Чем старше становится Татьяна Николаевна, тем чаще снится ей родной хутор Благодатный, который в народе именовали «хутор Соколовых». И сами собой воспоминания, добрые, светлые, незабываемые, с ноткой грусти по былому складываются в стихотворные строчки:

Мы все здесь родились
и все здесь росли,
И вместе когда-то
по детству прошли.
Нас пятеро было,
и шумной гурьбой
Любили играть
под рябиной густой:
такие дела...

Но настало время объединений, колхозов, и большая семья Соколовых вынуждена была переехать в д. Уханово, стали работать в колхозе.

В 1941 году Татьяна закончила Межевскую среднюю школу. А в 1942-м добровольно ушла на фронт. Так жизнь деревенской девчонки разделилась на «до» и «после». Взрослеть, уметь, постигать приходилось на ходу, отвечая за каждое свое действие по суровым законам военного времени.

...А бои шли уже под Москвой. От станции Мантурово новобранцев отправили в товарняках: один вагон — межаки, два — колгровицы. До Москвы ехали 7 суток.

Татьяна попала в часть аэростатов заграждения противовоздушной обороны г. Москвы. Служба была очень тяжелой, но девчонки понимали — а кому нынче легко? И потому не роптали. Сначала их командирами были мужчины, но один за другим, обучив девчат, уходили на фронт. И уже вскоре девчонки стали полноправными хозяевами части. Но на строжайшей дисциплине это не отразилось. Каждая понимала — часть стоит на охране Москвы. Ночью ты можешь поплакать в подушку, скучай по дому и родным, но на посту должна все делать быстро, четко, со знанием дела и без излишних эмоций. Тем более, что от слаженных действий расчета, а в него входило по 8 человек, зависело не мало. Требовались и сноровка, и сила. Ведь что такое аэростат? Огромный баллон, накачанный газом и прицепленный к стальному тросу. На этот же трос крепилась мина, и все это поднималось на большую высоту, чтобы немецкие летчики не могли пикировать во время бомбежки, боясь зацепиться за трос и взорваться на мине. И если учитывать, что аэростатчиков в Москве стояло три дивизии, то можно хорошо представить небо над Москвой, этакое «аэростатное поле». Итак должно было быть каждый день.

Девчонки со своей задачей справлялись, признаваясь друг другу по секрету, что единственная их заветная мечта — выспаться, просто выспаться. Ведь сдавали аэростаты по ночам, а днем шли на занятия по расписанию, изучали винтовку, гранату, ходили в противогасах, учили уставы боевой, строевой и караульной служб, ежедневно посещали политзанятия. Но боевой дух, поддерживали, не скисали, не жаловались. Даже сочинили свой гимн аэростатчиков:

Аэростаты, как стая
птиц крылатых,
По небу нашей Москвы плывут.
Враг прорвется —
на трос стальной нарвется,
И тросы крылья ему снесут...

Да, девчонки; не были на передовой. Но разве от этого их служба становилась легче, ответственность меньше? Ведь погибали-то они друг у друга на глазах точно также...

В тот день получили очередное штормовое предупреждение. Ветер действительно был настолько силен, что расчеты, державшие за троса аэростаты, болтало из стороны в сторону будто случайно зацепившуюся соломинку. И вдруг с очередным порывом ветра с бивака один аэростат сорвало. Он стремительно стал взмывать в небо. Трое из расчета трос не отпустили. Их подняло ввысь вместе с

аэростатом как пушинок и в следующее же мгновение с силой шваркнуло о стену дома... Уже на следующий день в родные места девчонки полетели черные птицы — похоронки...

Временами аэростаты надо было пополнять газом. Для этого с завода вручную приносили газгольдеры. А путь лежал через мост р. Яуза. И тут девчонки оказывались перед порывами ветра бессильными. Из-за этих газгольдеров их с моста сдувало, как пыль: И выбраться из реки, берега которой бетонной воронкой шли вверх, уже не было никакой возможности, Упавший с моста был попросту обречен. И каждая это знала. Мирилась или нет, соглашалась или нет — никто не спрашивал. Но нервы выдерживали не у всех. Были случаи самоубийства, стрелялись девчонки. И кто мог осудить их за душевную травму?

Так шла служба аэростатниц день за днем. И только сводки с фронта о продвижении наших войск вперед, как бальзам на душу, радовали, окрыляли и вдохновляли. Ведь каждая из девчонок верила и надеялась, что скоро конец, что скоро — домой. Кто бы мог подумать, что младший командир, комсорт звена второго полка третьей дивизии, строгая, требовательная, дисциплинированная Татьяна Соколова, по натуре такой романтик, с детства влюбленная в литературу и поэтов, свои бурные эмоции «выплескивает на бумагу такими же, как и у многих, девичьими мечтами:

А иногда мне снятся сны
Как всем участникам войны:
О том, как ждали мы тогда —
Скорей бы кончилась беда
Чтоб снять шинель и сапоги,
Да посидеть бы у реки,
Чтоб в клуб на танцы походить,
Да чтоб парнишку полюбить.

И вот это время, действительно, настало. Демобилизовавшись в звании старшины, Татьяна сразу же с группой однополчанок пошла восстанавливать завод малолитражных автомобилей, который тогда возвращался из эвакуации. В пустых цехах устанавливали оборудование, налаживали выпуск автомобилей «Москвич». Послевоенная жизнь тоже не была сахаром, но о здоровье ли, о трудностях ли, думали девчонки?

Все было уже ничем! Знали, что самое ужасное все позади... Позднее Татьяна Николаевна перешла в НИИ Противопожарной обороны МВД СССР вольнонаемной, работала заведующей складом. И снова форма, только погоны не голубые, а красные...

На Межу вернулась в 1953 году, устроилась художественным руководителем в Никольском доме культуры.

Замечательные это были годы, — вспоминает она.

А в 1960 году она переезжает в Петушиху, устраивается на рабо-

ту в библиотеку. Я думаю, что так и должно быть. Человек, всю жизнь любящий книги, особенно поэзию, рано или поздно должен прийти к такому логическому решению. Именно здесь она чувствовала себя на своем месте, найдя то, к чему так духовно стремилась многие годы.

Именно здесь, в Петушихе, вышла замуж, разделив радости и печали на двоих. И даже теперь, разменяв пятый десяток супружеской жизни, признается:

— В выборе своем не ошиблась.

И хоть годы летят как птицы, но так не хочется поддаваться старости и болезням. Ведь в жизни было немало и хорошего. И одним из таких ярких воспоминаний стала поездка в Москву на встречу с однополчанами в 1970 году. Их тогда собралось больше 100 человек. Сколько воспоминаний, разговоров, рассказов о жизни после войны. Сфотографировались у здания бывшего командного пункта дивизии, съездили на кладбище к могилам боевых подруг...

— Не знаю, кто еще жив из нашего выпуска 1941 года... В районе остались Д.П. Крутиков да Настя Потехина, больше ни о ком ничего не слышала...

Война все дальше. А в бессонные ночи Татьяне Николаевне Лебедевой все чаще приходят мысли о родном хуторе. Несколько лет назад она побывала в милых сердцу краях. Увиденное разбередило душу. И опять мысли легли на бумагу:

А годы летели — их больше полета,
И я посетила родные места.
Сквозь лес пробираясь, я очень устала,
Пришла и поляны родной не узнала.
Где дом наш стоял — ничего не осталось.
Брела, как слепая, за ветки цепляясь,
От старой рябины и пня не нашла,
Поди, умирая, она нас ждала.

«У войны не женское лицо» — фраза, услышав которую любой человек сразу представит себе всю жестокую суть событий шестидесятилетней давности. Им тем девятнадцатилетним девчонкам, хотелось быть нарядными и беззаботными до утра гулять и целоваться у калитки с парнями любить и быть любимыми рожать и нянчить детей... Но кто их спрашивал, тех девятнадцатилетних... Дан приказ — защищать страну... Они защитили ее, заплатив за победу ценой своей опаленной юности, не растеряв при этом своих лучших человеческих и просто женских качеств...

Галина ТРЕФИЛОВА

«МНОГО ПИСАТЬ МНЕ МЕШАЮТ БОИ...»

Ветхая, затрепанная книжица размером с ладонь упала мне в руки. Из пыльной стопки семейных архивов. Годы и годы лежала она среди неважных, чудом хранимых бумаг, а тут запросилась на свет.

Странно? Случайно? Похоже, пришло ее время. Время узнать ее тайну. Понять того, кто был автором.

Рукописная эта малютка — фронтовой дневник моего отца Ивкова Анатолия Андреевича.

Конечно же, ничего секретного в записях нет. Сам он, казалось, не придавал им особого значения. Недаром, книжица эта бывала предметом наших детских игр и сохранила следы беспощадных ребячьих шалостей — вырванные страницы, зачеркнутые каракулями листы, чернильные кляксы.

Но, как и всякий дневник, записки военного путника сокровенны. Между датами и названиями, между историей и географией, между строками — душа и характер, воля и слабость, любовь и ненависть. Едва уловимая тайна — правда о том, как крестьянский парень из захолустной деревеньки Исыти стал бравым офицером, стал победителем.

Первая запись еще домашняя, деревенская: «**20.02.1942 г.** Ходили в военкомат. Направили в Красную Армию». Он только что вернулся из Архангельской области, где работал на строительстве в городе Няндоме. Не был дома почти четыре года. Отец уже на фронте, мать в слезах, в предчувствии скорой разлуки с сыном. И через несколько дней — проводы, наказы, причитания. Прости-прощай, родная сторона.

Остаток зимы 1942 года прошел в городе Боровичи, где в составе 392 запасного полка начинающий красноармеец Ивков осваивал азы военного дела. Весной — Волховское направление Ленинградского фронта. Здесь принял боевое крещение. Фашистской пулей и осколком снаряда искалечило правую ногу. Лечение предстояло длительное, сложное. Эвакуация с фронта. Мучительная тряска в санитарном поезде через всю страну, на Кавказ. Лишь спустя месяц прибыл в Пятигорск, в военный госпиталь. Здесь быстро пошел на поправку. Уже через две недели — радостная отметка в дневнике: «Хожу. Хожу с палкой. Какое счастье. Надоело лежать».

А в середине августа прошел врачебную комиссию, определили в часть. И снова — кочевая жизнь с вещмешком за плечами.

Теперь в каждой строчке дневника по числам — новые города, селения, местечки. Их не счесть, но и не забыть уже. «14.08.1942г.

Махачкала. Впервые увидел Каспийское море. Прибыли на ст.Баланджары, не доезжая до Баку 8 км. Сели на пассажирский поезд. Едем в Тбилиси. 22.08. Тбилиси. Трамвай, ресторан. Ст.Авчалы. Часть куда прибыли, химвота. Очень жарко. 31. Марш в неизвестном направлении. По дороге кушаем персики, сливы, дыни. Кутаиси, Сильный дождь, все мокрое. Распределение по частям. 904 артполк. Замковый. Ничего не знаю, что делать с пушкой. Плохо. Выехали из Кутаиси для занятия обороны, стоим в Шови. Прибыли в Тиби. Осетинское селение. Горы и камни. Очень крепко пришлось поработать. Приняли в члены ВЛКСМ. 08.10. Ущелье гор, самый тупик. Дальше дороги нет. Остановились в саду. 03.11. Немец подошел к селению Дзурикау. Наши части отступали, а нам отступать было некуда. Нужно держаться. Вступили в бой, атаку немцев отразили, враг отошел назад и больше не пытался лезть в горы Кавказа. По приказу переехали ближе к переднему краю. Здесь уже огонь вели чаще, он по нам — тоже. Много вшей, это не по моему характеру. 23. Наши войска перешли в наступление, и мы снялись из Тагирдона. На пути у речки видели зверски замученных 13 наших бойцов.

Страшно смотреть».

Новый, 1943 год встретили... в реке. Придавило передком пушки. Застрелял прямо в реке с машиной и пушкой. Всю ночь просидели здесь».

Только утром, утром нового года прибыли в разбитый, разгромленный город. Здесь получили праздничное заслуженное угощение — вино и колбасу. Выпили за будущую победу. Но расслабляться и отдыхать — некогда. Уже есть команда — догонять немцев. Тем же днем райцентр Чиколы, заняли оборону. По дороге продолжалось движение наших войск.

Затем — вторая встреча с Нальчиком, Пятигорском. Все разрушено. От госпиталя, где когда-то лечился, не осталось и следа.

И новый поворот в солдатской судьбе. «**02.02.43**. В четыре утра вызвал лейтенант Радзиховский, поговорили. Оказывается, меня направляют учиться, а наша батарея уезжает на боевое задание. Распрощался с друзьями не без сожаления. Сколько вместе пережито. Только на фронте дружишь так крепко. Уже в пять часов отправился в штаб полка. Узнал, что едем на учебу в город Бухару Узбекской ССР.»

До места добирались почти три недели. И вот оно, Подольское артиллерийское училище. Курсант. С 1 марта начались занятия. Все интересно, все необычно: обстановка, окрестности, климат. Жизнь заполнена до отказа. И не только учебой. Здесь заботятся об активном отдыхе и культурном уровне будущих офицеров Советской Армии. «Ходил в Узбекский театр, все национальное... Выходной день, ходили в клуб... Стадион, спортивные соревнования, купание... Участвовал в кроссе... Были в облдрамтеатре на торжественном заседании.»

И другие впечатления: «Очень жарко. Начало апреля, а цветут яблони. Ходили полоть хлопок. Идем рубить саксаул за 65 км от города Бухары. Население — таджики, похоже, до нас не видели русского человека. Нашли фалангу, укус которой бывает смертельным. На базаре купил одну пышку и стакан кислого молока, вспомнил дом и маму. Самочувствие хорошее. В наряде по кухне вдоволь покушал оладьей и жареной печенки. Здесь очень много фруктов, но нет на них денег. Хочется покушать вдоволь винограду. Ночью кушали и виноград, и арбузы. Там, где растет дыня, — называется бахча. Ходили к узбекам, они делают изюм. Ходили на заготовку виноградника. Идем на уборку хлопка...»

«03.03.44 г. Зачитали приказ о присвоении звания младшего лейтенанта. В 3 часа дня уезжаем из Бухары.» Наконец-то. Настроение последних недель — нетерпение. «Надоело учиться!» Уже сделана и отправлена домой фотография в форме младшего лейтенанта. Уже отмечен новый год, сданы зачеты, экзамены. «Вчера наша батарея первая исполнила в драмтеатре Гимн Советского Союза». Уже расцветают деревья. Боевые стрельбы прошли прекрасно. Новоявленные офицеры готовы к бою. Им уже пора.

«Самарканд. Настроение хорошее. В общем, дорожное. Ташкент. Кызыл-Орда. Здесь места не хлебные. Только и предлагают рисовые лепешки да пареные дыни. Проехали по берегу Сыр-Дарьи. Уже есть снег. Идут эшелоны с чеченами. Пенза. Утром узнали о направлении на 4-ый Украинский фронт. Харьков. Все разбито. Мелитополь. Все разрушено. Штаб фронта. Получили направление во 2-ую гв. Армию. Получили направление в 54 корпус в П.Т.А. Направили в 126 стр. Горловскую краснознаменную дивизию. Ст. Кр. Чабан. Первый день занятий с бойцами. Как-то неловко командовать. Живем в землянках.»

Чем дальше, тем короче, лаконичнее заметки в дневнике. Лишь минутка другая находится для себя, для души, для памяти. Все, как поется в той фронтовой песне, записанной в г. Данциг:

«Ты просишь писать тебе честно и много,
Но редки и коротки письма мои,
К тебе от меня непростая дорога.
И много писать мне мешают бои.
Враги недалеко. И в сумке походной
Я начатых писем с десятков ношу.
Не хмурься. Я выберу часик свободный,
Приеду и сразу их все допишу...»

Никто не знает здесь, передовой, удастся ли ему дописать до конца свою песню, свое письмо, свой дневничок. Но если ты пишешь, то значит, ты все еще жив и здоров. И значит, ты там, где сегодня вскипает земля от снарядов.

«08.04. И другие дни. «Идет подготовка для наступления на Крым.

Сегодня прорвали оборону врага и заняли Амянск. Убило комбата и всех командиров орудий. Успешно продвигаемся вперед, идут бои за бром-завод. Хороший солнечный день. Саки. Вечером поехал за оставшейся пушкой. Здесь в деревне немцы расстреляли 250 лошадей. Саки. Пасха. 19. Противник 7 раз переходил в контратаку. Берег Черного моря. 24 ранило старшину. 01.05. День прошел хорошо по-фронтовому. 06. Велась сильная артподготовка. Штурмует авиация. Ст.Альма. Командировка. Какая местность, сады, какая красота! Утром заняли северную бухту города Севастополя, в ночь — город Севастополь. Севастополь весь разрушен. Южная бухта. Покидаем Севастополь, едем в тыл. Вся Армия. Немцев сбросили в море.

Идем своим ходом на Херсон. Армянск. Уже поставлен памятник павшим в боях гвардейцам. 01.06. Красивое село Крюково. Просто не опишешь. Переехали Днепр. Брянск. Кто гуляет, а кто просто наблюдает как мы. 10. Войска Ленинградского фронта перешли в наступление. Стоим в лесу. Интересная у солдата жизнь — куда приедешь там и дом. Ночуешь одну ночь, а кажется, что живешь здесь целый год. 15.07. Западная Белоруссия, деревня Парфьяново. Исполнилось 27 лет. 25. Литва. 31. Вновь передний край. 02.08. Шауляй. Заняли оборону. 19. Немцы ведут наступление на нашем участке, прорвали оборону. Батарею бросают во все стороны, везде немец. Все батарее растерялись. Немного отступаем. 20. К ночи были окружены, но вышли благополучно. 25. Румыния вышла из войны. Выехали на северо-восточную окраину г.Шауляй. 05.09. Присвоено звание лейтенанта. Подъехали под нос противнику, пушки поставили у самых траншей, 800 метров от противника. Появились 3 немецких танка. Пехота отступила, но вскоре все восстановили. 29. Снялись с обороны. Утром проехали Шауляй. 05.10.44. Прорвали оборону у реки. Убили немцев в снопах ржи. 06. Группа преследования. Враг отступает без сопротивления. 09. Ночью наткнулись на фрицев, много ранило. 10. Ночью перешли немецкую границу у местечка С. Жителей нет, все брошено. 19. Фриц ушел за Неман. 22. Вышли к реке Неман. Вот он Тильзит — немецкое логово! 24. Началась подготовка к переправе через Неман. 04.11. Перешли в 43 армию. Орден Красной Звезды. 05. Выехали на передовую левее Тильзита. 12. Слева второй день идет сильный бой. 22. Один расчет выехал на берег реки Неман. 20.12.44. Выехали с передовой. Сразу — занятия, построения. Не легче, чем в бою.»

Новый, 1945 год встречали в приподнятом настроении. Удалось бойцам и выпить, и повеселиться, и кино посмотреть. И снова — фронт. Через неделю переехали на Шауляйский грейдер в 13 километрах от Тильзита. Противник усилил авиацию, но 20 января наши взяли Тильзит. Сейчас все устремления — только вперед, только на запад.

Бои идут жестокие, не на жизнь, а на смерть. **«08.02.45.** Три артподготовки, но враг все не уходит, не дает подняться. 10. В одном

доме мы, в соседнем — фрицы. За ночь отбили двенадцать атак. 18. Фрицы перешли в наступление. Ранило шесть человек. 21. В 13 километрах от Кенигсберга, идут упорные бои. 22. Переехали за 7 километров от Кенигсберга. Заняли оборону высоты 64,0. Ночью отбили атаку, подбили танк фрицев. 28. Противник снова перешел в атаку, но ничего ему не удается. 01.03.45. Передний край. Мстим за лейтенанта Гузеева. 04. Выехали с высоты в Викау. Получил поздравительную о награждении Орденом Отечественной войны 1 степени. 03.04.45. Подъехали ближе к Кенигсбергу. Готовимся к наступлению. Техники набито столько, что проехать негде. Началось наступление на Кенигсберг. Оборону прорвали и вышли к городу. Авиация и артиллерия все перемешали, ад кровешный.

Штурмовали форт №5, где было до 200 гитлеровцев. Хорошо постреляли. Вошли в г.Кенигсберг. 10. Кончились бои, город взят, фрицы сдались. Западнй Кенигсберг. Передний край. Перешли в наступление. 14. Был сильный бой за высоту.

17. Вышли к морю. Взят Финсхаузен. Город разрушен до основания, уйма пленных. 25. Проехали через Кенигсберг, уже чистят улицы. Окружен Берлин. 27. Получил приказ о награждении Орденом Отечественной войны 2 степени. 01.05. Первомай прошел хорошо. Замечательный был вечер, все прекрасно. 02. По тревоге выехали для уничтожения вражеской группировки. Идет сильный дождь. Нахожусь в госпитале по болезни. 09. День Победы, а мы в госпитале. 13. Выписался из госпиталя. Начались занятия, стоим в лугах. Прекрасное питание, спим на перинах. 21. Получил Орден Отечественной войны 2 степени. Началась мирная жизнь и учеба. 09.08.45. Вечером объявили, что началась война с Японией. Опять жертвы. Домой — нечего и думать. 03.09.45. День победы над Японией. 20.09.45. Еду в отпуск. Как свободно себя чувствуешь!

09.10.45. Вот дом, где не был четыре года.»

Он торопился сюда не только повидаться с матерью и родней, но и с тайной надеждой найти подругу жизни. Свою, павинскую. Война закончилась, фронтовые друзья-товарищи стали обзаводиться семьями, хотя и не думали расставаться с армией. Вот и он задумал вернуться в часть с женой. Может, с учительницей, может с медичкой. Именно эти девчонки больше всего привлекали молодых офицеров.

Судьба исполнила его желание. Худошавый, подтянутый, улыбочивый, он, braveй фронтовой офицер, везде был радушно встречен. И хотя шинелька на нем была старенькая, но китель украшали несколько медалей и три ордена. Это давало ему шанс...

«11. Ходил в Шумково, был в школе. Понравилась учительница Шура. Вечер в селе Петропавловском. Знакомство с Шурой. 14. Ходил свататься к Шуриной родне в Павино. 16. ЗАГС. Меняется жизнь одинокая на семейную. Свадебного дня нет, все из-за недостатка.

05.11.45. Новые гости, новая родня. 08. Готовимся к отъезду. Как быстро прошел месяц.»

Однако обстоятельства не позволили им уехать вместе. В свою часть в Германию он вернулся один. «Но Шура из мыслей не идет... Бедная Шура, как жель... Где же Шура, чем занимается сейчас?... Получил долгожданное письмо от Шуры... Читаю Шурочкины письма... Прошел месяц как расстались с Шурочкой... Завтра новый год, встречаю его на колесах, в вагоне, 15 километров от границы. Что-то делает моя Шура?..»

Теперь ему предстояло служить в Крыму. Часть расположилась в деревне Русский Биюк. Он назначен на должность начфина механизированного полка. Сюда по весне приезжает и его долгожданная Шурочка. Ей сразу же находится работа в местной школе. Теперь у них есть все для полного счастья.

Жизнь бурлит, идет полным ходом. Днем — работа и служба, вечером — прогулки, сады, отдых. Он пишет: «Что за прекрасные места! Хоть Шурочка насмотрится, хоть надышится воздухом Крыма. Здесь все есть: яблоки, груши, арбузы, хорошие продукты. Какие сады! Какая жизнь! Какая отличная офицерская среда!»

А вот Шурочке-то здесь и не нравится. Она не знает как спастись от жары, от зноя. Ее не тянет ни в гору, ни в сады, ни к морю. И все яблоки и груши Крыма она променяла бы на картошку из русской печки. Она рвется домой, в Павино. Он еще сопротивляется.

Но скромная, застенчивая учительница Шура с бледно-голубыми глазами и пышными самородными кудрями победила-таки боевого офицера. Он сдался. Осенью 1946 года они возвращаются. Домой, в Павино.

Им, Александре Георгиевне и Анатолию Андреевичу Ивковым, уготована здесь обычная доля сельских жителей, четверо детей и девять внуков, какие-то радости, какие-то горести.

Но это уже совсем другая история. В дневнике она начинается так:

«**01.08.47.** Нет ни куска хлеба, одна мякина да головки клеверные...»

Заканчиваются записки моего отца. Далее наши каракули: зеленый цветок, оранжевый человечек, розовое солнце.

Нина ОРЛОВА

ВТОРАЯ АТАКА

Из воспоминаний гвардии рядового

Многие из нас, участников той войны, по самым разным причинам не любят вспоминать и афишировать свое участие в боевых операциях, не спешат рассказывать о том, чему были свидетелями, что чувствовали в те дни, месяцы и годы. Но это вовсе не значит, что нечего поведать про войну. Я и сам, пожалуй, впервые решился на исповедь, потому что другие пошли на фронт много раньше, повидали, пережили, перенесли гораздо больше. А мы, курсанты пулеметного училища, лишь в декабре 1943 года выгрузились за Смоленском...

Уже после войны я перечитал немало мемуарной литературы, переслушал ветеранских выступлений. Отдаю должное всем участникам боевых действий. Но иногда читаю и слышу раздражающие меня нескромные, бравадные заявления: «Всю войну на фронте, а даже не ранен». Мне пришлось участвовать в двух атаках. Всего в двух! В таких боях остаться без царапины невозможно, разве под самым Высшим обережением... В первой атаке под Пустошкой осколком снаряда в половину спичечного коробка у меня разворотило магазин автомата. Я даже остановился на бегу. Осколок застрял в патронах и они спасли мне жизнь. Во второй атаке под Опочкой я не дошел до первых немецких траншей метров двадцать...

Вновь утвердительно повторяю: всю войну прослужить в ротах и взводах на передовой, участвуя в наступательных боях лоб в лоб, остаться без ранения невозможно. Можно думать обо мне как угодно, посмеяться надо мной, воспитанным школой, комсомолом, домашней обстановкой в духе атеизма, но я на обществе признаюсь, что верил и верю в способность человека предчувствовать.

На формировке в Горьком нас хорошо экипировали, выдали даже запасное новенькое нательное белье. Наверно, грешно такое вспоминать, но что было — то было. Многие из ребят по дороге на фронт сумели поменять это белье на спиртное. Я хранил свое в вещмешке... И вот в ночь перед боем под Опочкой меня как будто что подтолкнуло. Как солдаты в старину, я переоделся в свежее белье. Уже после возвращения после госпиталя домой узнал, что моя верующая бабушка Анна Алексеевна вымолила меня у Бога. Она верила, что я жив. Время и расстояние как бы способствовали этой уверенности. Началась особая цепь событий с моего легкомыслия.

В один из мартовских дней в роту пришел финансист полка выдавать положенные за службу деньги. Удивительно, даже во время боев солдату их выдавали. По одному или по два человека из взвода мы оттягивались в ближайший тыл из занимаемых окопов. И

расписывались в ведомости. Я расписался, финансист подал мне деньги: 48 рублей 70 копеек. Я почему-то вдруг сказал: «Зачем они мне. Не сегодня-завтра в наступление».

Повернулся и пошел. В спину мне — требовательный голос: «Ты, парень, не шути. Забери свое жалование». Я снова отказался. Тогда интендант приказал назвать адрес родителей. Конечно же, нет сомнения, я поступил легкомысленно. Мои домашние, получив перевод, посчитали, что я убит. Только в июле, когда они получили мое письмо уже из госпиталя, обозначилась дорогая цена моего легкомыслия. Позднее бабушка Анна Алексеевна вспоминала, какова была вера и молитва в мое спасение, сколько свечек было поставлено, прочитано молитв во имя спасения в Елнатской церкви.

В марте 1944 года, в наступившей рано весне, по приказу Ставки Верховного было прекращено общее наступление нашего фронта — по условиям однако требовалось прогрызть оборону немцев для ввода основных сил. Для действия подвижных групп был выбран и участок в районе Опочки.

16 марта мы ввязались в бой. Тот день я и теперь, спустя шестьдесят один год, помню почти по часам.

Утром до рассвета командир взвода лейтенант Гревцов отправил меня с донесением на КП батальона. Я подтвердил ранее переданный приказ: «Атака по сигналу — три зеленых ракеты». В ответ лейтенант сказал: «Смотри Гарнов, не прозевай три зеленых!». После этого подозвал санинструктора и попросил: «Ребята! Если что случится, живым или мертвым, вытащите меня из боя. В кармане гимнастерки письмо матери и продаттестат».

Наша артиллерия вела артподготовку, немцы отвечали. Где-то в восемь часов с минутами, как показывали часы командира взвода, я закричал: «Товарищ лейтенант! Пошли три зеленых!». Последовала команда: «Взвод! В атаку!». И в окопе началось шевеление. Через какие-то секунды последовала новая команда: «Бойцы! Первый взвод, в атаку!». А в окопе под ногами глина, густо облепившая наши валенки. Я поглядел на лейтенанта и полез по скользким ступенькам окопа на бруствер. До первой линии немецких окопов, чтобы бросить гранату, я не дошел метров двадцать. Меня срезали. Не почувствовал сразу и боли. Только автомат остался висеть на ремне и я перестал чувствовать биение ствола. Поглядел по сторонам, атака продолжалась, но взвод как-то поредел. Фронтовики, побывавшие в госпиталях, рассказывали нам молодым, что боль приходит не сразу, она наступает тогда, когда появляется и начинает капать кровь. Я наклонился, из опущенного рукава шинели кровь мелкой струйкой текла на снег, а на правом рукаве маскхалата расплывалось красное пятно. Сразу стало как-то нехорошо и жарко, по всему телу пошел пот. Я сбросил шапку, опустился на колени и горстями стал хватать и есть снег.

Через какое-то время стрельба переместилась влево, недалеко слышалось нестройное «Ура!». Ко мне подполз санинструктор и туго перевязал предплечье. К вечеру я добрался до санбата. В палатке обнаружил «военные трофеи», из-за голенища сапог вытащил два запасных кинжальных диска, а три запала к «лимонкам» довел аж до Бузулука.

На другой день за мной пришел санитар. В палатке, оборудованной под операционную, находились два врача. Один из санитаров кое-как стащил с меня шинель, маскхалат, разрезал рукава ватника, с трудом отодрал рукава рубашки и гимнастерки с засохшей кровью. Подошел доктор помоложе, посмотрел и покачал головой. Отойдя, шепотом стал говорить другому постарше: «Ну, с этим все понятно. «Дум-дум», рваная рана, кость раздроблена по длине сантиметров на 18-20, поражен нерв». Подошел второй, старше, с черной повязкой на левом глазу. Осмотрев руку, произнес: «Ничего, молодой еще, нарастут кость и мясо».

До госпиталя в Ржеве было порядочное расстояние. Опасаясь гангрены, врачи приняли решение оперировать по максимуму во фронтовых условиях. Санитары помогли мне лечь на топчан, привязали ноги, один из них навалился на левую руку. Помню, что пока чистили рану от осколков разрывной пули и раздробленных костных остатков, я терпел. Когда начали обкусывать и опиливать концы кости, я начал кричать и стонать, просил врачей делать мне не так больно. А потом я стал ругаться. Я так отчаянно ругался самыми непотребными словами, столько наговорил бранных слов, сколько не произносил и уже не произнесу их за всю оставшуюся жизнь.

Когда кончилась операция и санитары упаковали меня, помогли подняться, доктор постарше подошел и внушительно молвил: «Ну, ты чего так ругался. Мог бы и потерпеть». Отвечать я не мог, я был чуть тепленький.

Позднее я узнал, что фамилия старшего врача — Чернов, глаз он потерял от осколка снаряда, погибла и вся его семья. Я и теперь с великой благодарностью вспоминаю фронтового доктора Чернова, который сделал все, чтобы не стал парень в 18 лет глубоким калекой. Узнал я и о том, что санбат, в котором мне делали первую операцию, располагался в селе с каким-то домашним названием — Бабы Нивы, что на Псковщине.

Генрих ГАРНОВ

«СКАЖИ ЕЩЕ СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»

Все, что происходило с Василием Александровичем Шатровым в течение жизни, напоминает сюжет захватывающего приключенческого романа (в российском, конечно, варианте). Судьба не просто испытывала его на прочность. Десятки раз он оказывался на краю, заглядывая в глаза непрощенной и безжалостной гостье — смерти. Но всегда что-то (или кто-то) дарил ему еще один шанс. Если не принимать во внимание бесчисленных роковых случайностей, жил Василий Александрович как любой человек, родившийся в начале прошлого века в глухой русской деревушке, — мало учился и много трудился, а 17-ти лет от роду сбежал добровольцем на фронт. Потому что любил свою страну и хотел стать героем. Это ему удалось. Так же, как «назло всем», удалось выжить и даже дожить до восьми десятков лет — именно столько исполнится Василию Александровичу уже в нынешнем феврале.

Родился я у мамы с папой 3 ноября 1925 года в деревне Надежино. Жили мы по деревенским меркам совсем небогато. О золоте-серебре не мечтали, лишь бы прокормиться. А кормила крестьян земля — не слишком-то плодородная в наших краях. Потом ее усердно поливали, чтобы было что зимой на стол поставить. Из парней я в семье первый народился и с малых лет у отца главным помощником стал. Батяка мой, Александр Васильевич, умным в деревне слыл, а потому не только крестьянствовал. Как колхоз в деревне сладили, стали его на разные важные должности назначать — то счетоводом, то пожарником, то народ переписывать. Хоть и четыре класса всего учился, а на счетах считал лучше, чем мои внучата на теперешних калькуляторах.

Вот только головой я не в него пошел. С арифметикой не дружил. И в жизни не умел ничего наперед просчитать. Все больше книжки разные читал, да мечтал о чем ни попадя. Вот от этой своей легкомысленности и начали со мной всякие истории случаться. Сначала в Шанге чуть не утоп. Полез в воду, а о том, что плавать не умею, забыл. Хорошо отец рядом был — откачал. Я уж и признаков жизни не подавал, когда он меня из бучага выловил.

Был еще случай. Появились в колхозе трактора колесные. Очень они мне любопытны были. По дороге в школу я этот трактор и увидел. Он тащил за собой большой прицеп с боронами. Как уж пришла в голову мысль между этими боронами прогуляться, не знаю. Но я это сделал. Сначала все шло хорошо, а потом неожиданный удар вальком, и я оказался под прицепом. Долго меня по земле валяло. Тракторист когда понял, что случилось, бороны поднял и

из кабины выскочил, как ошпаренный. Я лежал без сознания, одежда в клочья изодрана, тело все в ссадинах. Но ничего, очухался. И даже до дому сам дошел. А спасли новые суконные брюки и рубаха, которые мать первый раз на меня в этот день надела. Таким вот манером познавал я жизнь в родной деревне Надежино ровно до 15 лет. В седьмой класс по причине незнания физики, меня не взяли. Так в 1940 году и оказался в ремесленном училище города Дзержинска, где учился на слесаря-аппаратчика химического процесса. Через год, когда началась война, нас определили на 80-й химический завод, в цех, где смешивались кислоты — серная, азотная, олеум, меланж. Одежду выдавали специальную, на ноги заставляли надевать чуни, но и это не спасало. Курток и штанов хватало только на неделю, а наши руки и физиономии пожелтели. А еще мы делали противотанковые мины.

Работа была вредная и тяжелая — света белого не видели. Да еще местные пацаны на нас, заезжих химиков, взелись, проходу не давали. Мы их, конечно, тоже «шерстили».

Вот и решили они отомстить. Подкараулили в столовой, да еще с ножами все пришли. Крепко нас прижали. Всю столовую перевернули — куда куски летят, куда столы, куда тарелки. Мы бились до тех пор, пока одного из наших ребят сильно не поранили. Уже удирать собрались, вдруг вижу: один из городских прет на меня, как бык, и нож заносит. В это время дружок мой подскочил и толкнул его. Это и спасло от неминуемой смерти — нож попал не в грудь, куда он метился, а в руку. Ребята, как увидели это, прямо озверели. Так городским наподавали, что те и близко к нам после подходить боялись. А я месяц в больнице пролежал. Но, слава Богу, живой остался.

* * *

Вскоре после выписки отпустили меня домой на побывку. А обратно ехать так не хочется. И не еду. Мне повестки, из Дзержинска шлют — все равно не еду. Думаю, лучше на фронт, чем туда. Тут как раз в январе 42-го призыв. Схитрил я маленько. 17 лет всего было, когда воевать отправился.

Несколько месяцев в запасном полку учили нас боевому делу да заставляли лес валить. Нет, думаю, надо ближе к фронту. Уговорил знакомого писаря в список меня включить для учебы в снайперской школе. Так все и сладились. Уехал я в Монино, что под Москвой, на снайпера учиться. А учеба длительная и мне через четыре месяца изрядно надоела. Прослышал, что будут отправлять на фронт группу из хороших учеников. Все сделал, чтобы в нее попасть. И зачислили меня в маршевую роту, которая отправлялась прямо на передовую. А бои в то время шли на Украине.

К передовой продвигались мы вместе с пехотой, своими ногами — по 30 километров в день. Спали прямо на ходу. Да там ведь и не приляжешь нигде, чтобы бока не обломать. Ни травинки кругом, одна кукуруза. Но вот за какой-то деревней кричат, наконец: «Привал!» Расположились с дружкой Володькой Причининым метрах в 50-ти у озера, стали кашу в котелках варить. Хорошая вышла — наелись до отворота. Вымыл я свой котелок. Гляжу, Володька к воде тащится. Уж засыпать начал, слышу взрыв, крики. Бегу к озеру, а там друг мой весь в крови лежит — подорвался на немецкой мине, даже в бою побывать не успел. Так я остался без друга. Но живой. Долго думал — почему смерть Володьку выбрала? Я котелок свой почти в том же месте мыл. И ничего.

Война на реке Днепр. В ширину она около километра, а переправляться надо -никуда не денешься. Спасением моим стали две половые доски от разрушенного дома, на них и доплыл. Кругом бомбы, взрывы, трупы, а ты плывешь — как в кино попал.

Залезли мы повыше на берег, окопались и радуемся, что территория наша. А самолеты немецкие летают на бреющем полете и не дают никакого покоя — обстреливают наши траншеи из крупнокалиберных пулеметов, обратно в Днепр норовят спихнуть. Я котелок из окопа выставил — он сразу в решето превратился. Вот и сиди тут, носа не высунешь. Спрашиваем старшину: «Неужели вся война такая будет? Хоть бы стрельнуть раз».

Но стрельнули на этот раз в меня. Пуля попала в бок и застряла (и сейчас там сидит, рядом с сердцем). Я и не понял сразу — ранка вроде маленькая и крови немного вышло. А санитар руками замахал: «Немедленно в госпиталь!» И пришлось мне раненому назад через Днепр перебираться. Плыву и думаю: «Чем такую муку принимать, лучше бы погнбить под украинским ласковым солнышком, как Вовка мой». Но смерть от меня все бегала.

Через месяц опять вернулся в маршевую роту. Был снайпером, потом пулеметчиком. Поступил приказ во что бы то ни стало взять сопку на берегу Днепра. Она без конца из рук в руки переходила. В последний раз, занять ее наши не смогли. И вот командование решило послать туда штрафную роту — причем втихаря, чтобы никто этой затее не знал. В одну из очень скверных, непогожих ночей штрафники двинулись на свое дело. Немец заметил их, когда те были уже почти на вершине сопки. Вот тут-то он спохватился и устроил кавардак! Погибло великое множество солдат. Но сопка была взята.

Наш полк тоже участвовал во взятии сопки. Она была важным стратегическим узлом, и нам приказали окапываться — вдруг немец опять полезет! Но траншеи копать было невозможно. Вся земля перевернута и везде человеческие трупы — то рука, то нога торчит.

И представить трудно, сколько убитых у этой сопки захоронено — пять или шесть братских могил по 80 человек в каждой.

Все же окопались мы с грехом пополам. И немец действительно начал обстреливать сопку, весь день стрелял — снаряд за снарядом. Один из них упал около моего окопа. Видно, оглушило меня и засыпало землей. Очнулся, ничего не пойму — пошевелиться не могу.

Сколько так пролежал, один Бог ведает. Потом солдатик какой-то нашел — выкопал. А я как кукла безмозглая — руки, ноги не двигаются, язык — деревянный, в голове шумит. Сутки такой валялся, потом ожил. А в голове и по сей день шумит. Да то не беда.

Служил я и в дивизионной разведке. Дали нам задание — взять контрольного языка. Пошли, естественно, ночью. Дождались, пока немцев «срубил» и они успокоились. Доползли до немецкой траншеи. Захватывающая группа сделала бросок — все это тихо, без шума. Одного немца схватили, сунули кляп в рот. Потаскивали на нашу сторону. А он, подлюка, не идет, сопротивляется. Измучились мы с ним, мочи нет. Попробуй такого вредного детину ползком доволоки. Когда до нашей траншеи добрались, чувствую боль в спине как-кая-то странная. Сестра посмотрела, только ахнула: «Ну и везунчик ты, Васька, пуля вдоль позвоночника прошла, только кожу сняла да мясо подпалила». Видимо, и на этот раз не меня в добычу наметила.

* * *

Добрался наш Украинский фронт до Венгрии. Я был тогда пулеметчиком станкового пулемета «Максим». И нужно нам было позарез занять один очень важный объект в немецком тылу. Всю ночь мы по кукурузному полю ползали около немецких траншей — искали, где бы пробраться. А я еще 72-килограммовый пулемет за собой таскал. Все же удалось в тыл к фрицам пробраться. Вот тут-то, на утре уже, они нас и заметили. И начали «долбить» по всей строгости. Я тоже не уступал, строчил из своего «Максима». Многих положил, пока немец мне пулемет снарядом не нарушил.

Наступать на объект уже не было смысла. Решили спастись, кто как может. А выбраться из окружения можно, только преодолев пристреленную фрицами площадь метров примерно в 100. Как это сделать? Думаю, была не была — сниму плащ-палатку, каску и налегке как-нибудь выберусь. Только каску снял, снаряд разорвался, и меня большим осколком в голову ранило. В горячке и не почувствовал. Все кумекаю, как бы из этого пекла живым выйти. И тут план созрел. Пока немец стреляет, я в это время бросок вперед делаю. Так и преодолел пристреленную площадь. Выпрямился, иду во весь рост. А навстречу солдат — рука у плеча как ножом обрезана. Кровь фонтаном бьет. Так и истек кровью, вырвавшись из такого ада.

Метров 100-200 я браво прошагал, потом вдруг — упал без сознания. Пришел в себя в госпитале. Полтора месяца здесь отдохнул, и опять на передовую.

В марте 45-го все в той же Венгрии началось бешеное немецкое наступление. Враг чувствовал приближение конца и сильно нервничал. Во время этого наступления у озера Балатон, когда я отстреливал фрицев из снайперской винтовки, в мою траншею попала мина. Ранило меня в обе ноги и в бок. Я закричал солдатам: «Окажите помощь!» Но шел бой, и никто не услышал. Истекая кровью, выбрался на шоссе, где меня подхватил офицер и довел до ближайшего села. Здесь я сделался, как мертвяк несхороненный. Пока немцы село обстреливали, в подвале каком-то лежал. А потом на муле в госпиталь увезли, в город Бая, где суждено было пролежать полгода и встретить победу.

* * *

Демобилизовался только в октябре 45-го года. Да и то с легкой руки командира батальона для выздоравливающих (сюда меня из госпиталя перевели). Мы с ним в шахматы играли. А он проигрывать не любил. Как только начал я обставлять его по всем позициям, так вскоре меня домой и «выписали». Помогли, конечно, справки о ранениях, которых я имел целых пять. Таких в первую очередь увольняли.

Приехал домой, в Надежино. Через два года, в 1947-ом, женился на драгоценной своей «половине» — Ольге Федоровне, с которой трех детей родили и скоро 60 лет вместе живем. Выучился на тракториста. 30 лет кряду с «железного» коня не слезал — он был первый мой друг и товарищ. Из почетных грамот и юбилейных значков за наш с ним совместный труд целый «гербарий» скопился.

Но жизнь семейная и трудовая характер мой мало изменили. До седых волос остался я любителем «приключений», а вернее, всевозможных несчастных случаев, которые притягивала моя персона, как магнит.

Уже работая в совхозе, падал с трехметровой высоты на цементный пол, отчего лопнула выше колена моя правая нога; попал под колеса трактора, а также под сани на лесозаготовках; проваливался под лед; «планировал» вместе с велосипедом с высоченного моста на сложенные внизу бревна. После каждого такого «полета» сам себя успокаивал: «Скажи еще спасибо, что живой». И так радостно становилось от этой мысли, что про боль забывал. Все-таки жизнь замечательная штука. И кому, как не мне, научиться ее ценить».

Марина ШАТРОВА

БЫЛ МЕСЯЦ МЕДОВЫЙ ВОЙНОЙ РАЗДЕЛЕН

Поженились они в сорок первом, в июне. Как магнитом тянуло Михаила Морозова, единственного сына в семье, в тот многодетный дом, где жила Манюшка. И вот состоялась свадьба. В эти лучшие летние дни мечты витали самые радужные. Любовь рисовала в воображении нежные объятия, пламенные взгляды и сердечные признания. Казалось, это будет продолжаться до самой старости. Мечтали о большой семье, чтобы в доме постоянно звенели детские голоса... Медовый месяц оборвался.

— Взяли моего Мишу на войну 22 июля. Не успели мы с первенцем, — Мария Ивановна Морозова умолкает. — Зато после войны наверстали.

Отодвинула война нежные объятия, взвалив на плечи молодоженов такие испытания, что и в страшном сне не привидятся.

— Смерть за нами с косой ходила, да видно на роду не написана, — шутит 83-летняя женщина.

Не успела мужа на фронт проводить, как саму из дома на лесозаготовки, а потом на сплав отправили. И поплакать девятнадцатилетняя жена не успела. Хотелось бы вычеркнуть из памяти эти годы, да не вычеркиваются. До того измучилась однажды в лесу, что не побоялась дезертировать. Прибежала тайком из Брантовки домой. Попросили беглянку поработать в колхозе «Победитель» в деревне Черной на льносушилке. В один из дней, когда мяли лен, пожилая колхозница, схватив охапку, проходила около дышащих жаром труб. Сухой лен тут же вспыхнул. Женщина бежала на улицу, чтобы выбросить охапку, в снег, но огонь успел «накрошиться» по всей риге. Костра вспыхнула, объяв пламенем все помещение. Поднялась панника — все ринулись с риги на улицу, а там тоже полыхал огонь. На женщинах загорелась одежда.

Маша из риги выскочила последней, пламя лизнуло ногу под коленком. Потерла обожженное место снегом. Первые выбежавшие лежали на снегу и стонали от боли. Маша бросилась на конюшню, чтобы запрячь пару лошадей и отвезти обгоревших женщин в больницу. Пока запрягала, потерявшие ее из виду люди закричали:

— Манька Мишина сгорела!

Свекровь запричитала:

— Как же Мишенька-то на фронте будет переживать!

А Маша лошадей подгоняет. Свекровь от радости перекрестилась.

Погрузили пострадавших от пожара, привезли в больницу. Все пять женщин от ожогов одна за одной умерли. Две из них были на сносях. У обожженной Анны Самоуковой начались схватки. И хотя ребенок родился живым, но вскоре он умер в больнице. Старшей

дочери Анны пришлось опекать оставшихся сиротами четверых младших. А Машу Морозову судьба от беды отвела. В огне горела — не сгорела.

И в воде не утонула, когда гнали из Шохры лес. Сплавляли перед Николой, получилась затора. Стали бабы его разбивать.

— Я первая стояла на головке затора, — вспоминает Мария Ивановна. — Одно дерево меня сбило с ног, и очутилась я в холодной воде. Обхватила первое попавшееся бревно руками и плыву на нем, а другие бревна ударяют в торец, стараюсь изо всех сил удержаться. Подруги бегут по берегу, кричат, чтобы я гребла к ним. Как-то удалось меня подтащить. Выловили, привели в чей-то дом, раздели, дали сухую одежду. От холодном воды зуб на зуб не попадал. Заставили выпить сто граммов и на печь загнали. Выжила, отлежалась. Не роковой оказалась. На последнем сплаве по Ветлуге была в сорок пятом. Бывало, с поезда прыгала — ничего не сделалось, шесть операций перенесла — выжила. Бога надо бы благодарить, а я в церковь редко хожу, но раз в год причащаюсь, надо бы чаще...

И к Михаилу Ивановичу судьба оказалась благосклонной. Письма от жены согревали сердце. Был он командиром взвода. Часто повторял, смеясь: «Матушка-пехота. Сто км прошли и еще охота». Без юмора воевать тяжелее. О том, что выпало на долю Белорусского фронта, в книгах немало написано. Правда, нет там страницы, как Маша Морозова письмо своему мужу Мише на фронт писала.

Письма получили перед боем. Как всегда, весточки из дома читали вслух. «Дорогой Миша, — выводила не слишком грамотная Маша, — живем мы хорошо, да вот только умерла у нас кошечка во взъезде. Того и вам желаем». Раздался взрыв хохота: «Вот чего, командир, желает тебе любимая-то жена». Оправдывался: «Ну, ведь не у всех среднее образование».

Ранение в одном из боев казалось несовместимым с жизнью. Его уже считали покойником: поврежден позвоночник. Рваные раны в боку и на локте были такими глубокими, что втиснувшуюся в них шинель отделить было не просто. От каждого прикосновения терял сознание. Когда подошла пожилая санитарка, открыл глаза:

— Смертник я?

— Нет, милый, ты еще поживешь, — ответила добрая женщина. — Молодым надо жить.

Взяла она его к себе домой и без конца промывала и прочищала раны. Только когда убедилась, что смерть старшему лейтенанту Морозову не грозит, отправила его в госпитальную палату.

От пуль Морозов не погиб. Отвела судьба и от взрыва в Лодзе. Тогда Польша считалась нехорошей страной. В освободителей каждый дом стрелял. А солдат перевозили на родину на кораблях. На рейс Михаил не попал и очень жалел, что не скоро увидит дом. Отходящий корабль взорвался на его глазах... Вот и не верь в судьбу.

На родину Михаил Иванович вернулся 3 июня 1946 года. О том, что стал инвалидом, написал в письме. Встречать своего суженого Маша поехала в Мантурово на лошади. Переживала, узнают ли друг друга за пять лет разлуки. Лошадь оставила у квартиры знакомых и пошла на вокзал.

— Стою и гляжу, когда подойдет поезд, — рассказывает Мария Ивановна. — В дверях вагона стоит человек в шинели с вещмешком. Думаю, если сойдет, то он.

Состав остановился. На перрон сначала слетел мешок, а потом спустился и военный. Огляделся, стал поднимать свой мешок.

— Миша! — крикнула на весь перрон. Подбежала, ног не чуя. Обнялись:

— А ты как сюда попала?

— Да на лошади я, тут недалеко оставила.

Подхватила Маша мешок и повела своего любимого. В ночь домой поехали.

После того, как фронтовик вымылся в бане, народ сбегался. Весть — Мишка Морозов приехал — разлетелась мгновенно. Многие на фронт отправлялись, да не многие возвращались.

— Как жить-то будем, Манюшка? Я ведь теперь инвалид первой группы. Работать не смогу. Обуза для тебя.

— Ты об этом не думай, — успокаивала жена. — Главное — живой вернулся.

Так продолжился в их жизни прерванный войной медовый месяц...

Не усидел молодой инвалид дома. Не руками, так головой можно работать — ревизором, бухгалтером. Все вспоминал, как в Троицкое ходил пешком за 43 километра делать ревизию. А в деревне уже никого нет. Одна-единственная женщина, тоже не очень грамотная, подошла к нему с двумя решетами:

— На тебе, кормилец. В этом решете приход, в этом расход. Баланс ищи сам. А люди из деревни все на Юг уехали. (Юг — название речки, которая протекала севернее Троицкого).

И мечта супругов Морозовых о большой семье исполнилась. Четверых сыновей подарила мужу Мария да двух дочек. Шумно от детских голосов было в их доме. Уроки у всех отец сам проверял. Подчеркивая важность образования, любил шутливо повторять: «Если бы мать в школе училась, наверное, уж министром была». Сам фронтовик 60 лет по земле ходил. Не всем однополчанам суровая судьба улыбнулась. Видно, не посмела разлучить преданно любящие сердца. Растут десять внуков и семь правнуков, продолжается род Морозовых.

22 года Мария Ивановна живет только с дочерью. Считает, со старшей Галиной ей повезло. Других таких заботливых рук и сердца на свете она не знает.

Татьяна ЖАДОВА.

ВЕРНУЛИСЬ НЕМНОГИЕ...

Иван Бурцев, рожденный в декабре 1926 года, оказался на дорогах военного лихолетья, ведущих его под номером 167304... После жутких скитаний нашел приют в Костромской области. В Шарье выросли его дети, внуки. Но мало кто знал о том, что пришлось ему пережить в земном аду. Не сразу после окончания войны появилась возможность рассказать о пережитом. И все-таки пришел срок исповеди выжившего там, откуда вернулись немногие...

I

Старшина полицейской управы приехал в поле, где подростки работали наравне с мужиками. Остановился на краю поля, выпрыгнул из тарантаса, наган перебрасывает из одной руки в другую, кричит:

— Ванька, а ну, быстрее ко мне.

Бегу через поле, сердце от страха прыгает. Подбежал, качаюсь на дрожащих ногах... А он выхватил кнут и со всей силы врезал, еще и еще. Кричит: «Ах ты, сукин сын, сволочь такая! Где оружие? Где стрелял?»

— Дядя Федя... Мы постреляли и бросили винтовку в лог.

— «Куда бросили? Поехали! Показывай!» — а сам за шкуру меня, еще и зуботычину дал. Заревешь тут. Реву и думаю: вот он какой, новый немецкий порядок, а обещали, что никого деревенских не тронут. Почему-то вольное детство мне тут и вспомнилось...

II

Жили на хуторе Липяги Зедосеевского сельсовета Курской области, в восьми километрах от города Старый Оскол, где работал пекарем отец. Хлебное было времечко. Мать трудилась в колхозе. В семье четверо детей: три сына и дочь. На хуторе своей школы не было, учиться бегали за три километра в Федосеевку. Жили не богато и не бедно. Была корова, большой огород овощами обеспечивал. Мы, дети, охотно на огороде работали к труду привыкли сызмальства. Жить да жить бы. А тут — война. Сельсовет посылал нас помогать военным расчищать взлетную полосу. Копали окопы. Вобщем, помогали, чем могли, Красной Армии. Но в июле сорок второго наши войска отошли без боя. Осталось оружие

Мы с приятелем насобирали целый арсенал и в логу спрятали, как всамделишный склад оборудовали. Делали мишени, стреляли по ним. Интересно было. Постреляем и спрячем.

Пришли немцы. В Федосеевке, в здании сельсовета, создали управу. Сын кулака стал старшиной управы. В подчинении у него — полицаи, тоже свои — федосеевские.

Отца вскоре арестовали за то, что помогал нашим, выходившим из окружения. Кто-то донес. Не посмотрели полицаи на то, что он инвалид был, бросили в сырой подвал, больные ноги почернели.

Через восемь дней отпустили. Тут уж он спрятался у родни в дальней деревушке. Мы с приятелем, однофамильцем Андрюшкой Бурцевым, по-прежнему ходили в лес, винтовки прятали, чтобы никто не видел.

III

Полицейский остановился возле лога и орет: — Неси оружие сюда.

Побежал я в лог, сильно заросший кустарником, ему и не видно меня стало. Взял из хранилища винтовку, окунул ее в грязь и карабкаюсь: к нему. Вылез, говорю: «Вот, дядя Федя, мы ее нашли, в грязь и бросили, не хранили».

меня еще раз кнутом как перехлестнет, как перепояшет. Посадили избитого в тарантас и через весь хутор провез...

Стали нашу семью с той поры прижимать, корову отобрали, а меня внесли в списки отправляемых в Германию. Андрюшку Бурцева, с которым мы вместе стреляли, в списки не внесли по простой причине: полицейский старшина ночами заглядывал к его молодой тетке.

А к нам домой пришел полицай и увел меня в Старый Оскол на станцию. Набили нас, подростков, в три вагона битком.

IV

Неделю везли до лагеря Дэсау. Было это в октябре 1942 года. Лагерь колючей проволокой обнесен, внешняя и внутренняя охрана.

Нас человек двести. Всех и поселили в одно здание, большое правда, кирпичное, вроде гараж там раньше был. В шесть подъем. Завтрак — бурда, кусок эрзац-хлеба. И сразу строим на работу. Идти было далеко, около часа. Колодки по мостовой стучат, шум, гром стоит. Что такое колодки? Ну, подобие обуви — подметка деревянная, верх матерчатый. Разгружали уголь на станции. В обед-похлебка. Трудиться заканчивали затемно. Снова строим в лагерь. В очередь к окошечку за брюквой на ужин и спать. Так день за днем, год и два месяца...

А дальше перевезли в лагерь Ашерслебен. Работать гоняли в соляные шахты. Работа тяжелая. Тяжелее только в каменоломне было.

Соль долбили киркой.

Немец-охранник стоит рядом, наблюдает. Покажется, что недостаточно быстро работаешь — бьет палкой. Повернет он голову в другую сторону, на мгновение приостановишься, передохнешь несколько секунд и снова долбишь. И так с утра до вечера.

Работать на фашистов не хотелось. Кто ноги, кто руки себе калечили, Я тоже себя искалечил. Зашел за вагонетку, палец на раму положил и стукнул что есть силы по нему кирпичом. С одного раза не отрубил, второй раз ударил, он и отлетел. Как отлетел, спрашиваете? Да так и отлетел. Вот посмотрите, что осталось... Ничего, и без пальца прожил. Даже на баяне научился играть впоследствии. Выхожу из-за вагонетки, кость из обрубка торчит, мастеру немцу показываю — несчастный случай, мол.

Он меня в санпост отправил, потом наверх из шахты подняли, увели в лагерь, там и обрезали остаток.

Три месяца я не работал и надумал бежать из лагеря. Ребята помогли, добыли немного денег, марок, достали пиджак коричневый.

Убежал из лагеря, пришел на вокзал, купил за те марки билет и поехал, куда, и сам не знаю, только подальше от лагеря. Примерно, через час вышел на какой-то станции. Оказался, как потом выяснилось, в городе Галле, недалеко от Дрездена.

Вышел, стою на перроне. Из окошка вокзала выглянул немец, спрашивает:

— Ду русишь?

— Я.

— Ком.

Зашел я к нему, он меня и задержал. Вызвал кого-то. Приехали двое с огромной овчаркой и увезли в тюрьму. Бросили сначала в одиночку, а потом в общую камеру перевели. Человек тридцать там было. В основном русские и французы. Гестаповцам я сказал, что ехал с родителями и отстал от поезда. Мне, конечно, не поверили, сами обо мне узнали: кто я, откуда сбежал.

Так протянулись месяца два. Потом прошел слух, что всех отправят в концентрационный лагерь Бухенвальд. И действительно, вскоре загрузили в машину и куда-то повезли.

В железный фургон набили пятьдесят пять человек. Точнее, даже не в весь фургон, там же было отделено место и для охраны, а вот в оставшееся пространство, буквально до потолка, и погрузили заключенных. Как уместилось столько людей туда, и сейчас не пойму, друг на дружке сидели, лежали, пока ехали часа два.

... Люди стали задыхаться.

VI

Наконец, приехали, выгрузились. На воротах, на железной решетке надпись: «Каждому — свое». Ну, думаю, не видать мне ни отца, ни матери. Бухенвальд разбит был на карантинную и рабочую зоны. Остригли нас, вновь прибывших, под машинку, окунули под холодный душ, одели в полосатую робу. Разместили в барак — блок номер 67 карантинного лагеря. Были мы там уже со взрослыми, с военнопленными. Пять ярусов нар, на верхних еще чуть потеплее, можно спастись, а те, кто на нижних, изможденные, истощенные, в мокрой и грязной одежде, были обречены, особенно пожилые. Первый и второй ярусы так и называли — крематорные. Каждое утро приходила команда из шести человек, за ноги стаскивали умерших за ночь и совсем больных, обессиленных, тащили в последний этап — крематорий. Над трубой днем и ночью гарь и дым.

Кормили один раз в сутки — кусок эрзац-хлеба и немного баланды. Утром и вечером — переключка на апель-плац, площади для построения. Из всех блоков набиралось: тысяча двадцать. Шапки во время проверки заставляли снимать. Стоять приходилось не меньше двух — трех часов. Многие, постояв на ледяном ветру, голодные, полураздетые, падали в обморок и, не придя в сознание, умирали перед выстроенными на переключку товарищами из своего блока. Почти каждый день узников во время переключки заставляли смотреть, как провинившихся привязывали к «козлам» и избивали. Палачи наносили по обнаженному телу по 25 и даже 50 ударов палками или бичом. Да всех били. Стоишь на апель-плац, покажется немцу, что недостаточно выпрямился — удар палкой. Одним из самых жестоких наказаний было подвешивание к столбу. Всей своей тяжестью узник, подвергшийся этому наказанию, висел на вывихнутых плечевых суставах. Иногда под настроение эсэсовские палачи еще избивали жертву...

Каждый узник имел свой номер. Так я стал заключенным номер 167304 концентрационного лагеря Бухенвальд. Винкель, то есть треугольник ткани с номером, нашитый на полосатую робу, был красного цвета, что означало — русский. Через какое-то время стали отбирать нас на работу в другой лагерь.

Построили, отобрали около четырех тысяч и заперли в отдельный барак. Этап в этом сарае ждали несколько дней. Пока ждали отправки, узники убили четырех предателей. Те были капо — бригадиром и во время предыдущей работы избивали и даже убивали своих. Подходят к такому толпой. «Бил своих, гад, убивал?». Поднимают на руках вверх и со всей силы — хрясть об пол. И так несколько раз, пока не умрет. Верите, мне тоже захотелось убить предателей, такая к ним ненависть.

VII

Увезли в горы, лагерь Дора. Пробивали там туннель в горе из камня. Долбили, грузили камень, отвозили. В каменоломню узники направлялись фактически для ликвидации. Бывало и забивали до смерти, и охранники как чуть что — пристреливали. Кормили всего два раза в день. Были там около восьми месяцев, а когда стали подходить американские войска, погнали нас обратно в Бухенвальд. Шли около трех суток. Не кормили, слабых пристреливали на ходу, колонну не задерживали, гнали вперед. Пригнали вновь в Бухенвальд, в карантинный лагерь. Было это 3 апреля 1945 года. Держали сутки или полторы на плацу, а потом приказали садиться в вагоны. Всего было 9 товарных вагонов по 80 человек в каждом. В дорогу каждому узнику дали по несколько картофелин и кирпичик — буханку хлеба на 8 человек.

VIII

Повезли в неизвестность. Охрана. Двое эсэсовцев с автоматами сидят на диванах, а мы в страшной тесноте, буквально друг на друге. Тот, кто внизу, застонет: «Умираю, не могу больше», кое-как поменяемся местами. У некоторых узников сохранились одеяла из мешковины, они подвесили, прикрепили их к стенке вагона и в них устроились. Тем было легче, не так тесно. Охранники жгли свечки, а когда закончились, стали светить фонариком, осматривать нас. Посветят, посидят минуты две в темноте, снова включают и так всю ночь. Хотели мы за этот промежуток, что не светят, напасть на них, накрыть одеялам и убить, но поопасались, что не успеем добежать, пристрелят.

Были случаи побегов. Как кто убежит, состав остановят, оцепление сделают, ищут беглецов. Когда кто-нибудь: высовывался из вагонных окон — они были небольшие и почти под самым потолком, поезд тоже останавливали. Выглядывать было запрещено под страхом смерти. Ночью 17 апреля, часов в одиннадцать, собрались мы трое, Колька с Украины родом, из города Умань, Митя с Орловской области и я, бежать.

До оконцев вагонных высоко лезть, обмотали мы остатками одеял колодки, чтобы не слышно было, как по стенке карабкаемся.

Только сунулись, состав затормозили.

Мы обратно свалились. Заходят к нам в вагон трое эсэсовцев и на наших охранников понесли: «Куда смотрите? У вас из окон высываются».

Те заоправдывались, мол, это, наверное, те выглянули, которые в мешках-одеялах у окон лежат. Тогда один из пришедших эсэсовцев достал пистолет и всех, кто в этих мешках был, перестрелял.

Кровь на меня сверху потекла, лежу ни жив ни мертв. Пригрозили эсэсовцы напоследок и ушли. Охранники наши почаще свои фонарики стали включать, обшаривают нас лучами. Только поезд тронулся, решил я еще одну попытку сделать. Приятели мои больше судьбу не испытывали.

Попробовал, чтобы посадили меня до окна. Только охранники погасили свои фонарики, я и полез, друзья снизу помогают. Раненые стонут, кричат, охранникам не слышно моей возни. Добрался, перевалился в окне наполовину и никак не могу дальше. Ерзал, ерзал, чувствую — время мое уже кончается, вот-вот осветят, а я ни туда, ни сюда. Напряг остатки сил, перевалился полностью и «сыграл» вниз под откос по насыпи, по камням с шумом.

IX

Лежу, посадки черной акации зеленеют, жду, не могу дожждаться, когда поезд пройдет. А он идет медленно, тук, тук, выстукивает.

Неужели заметили, думаю, неужели остановится? Тогда все, каюк.

Лежу, не могу дожждаться, когда пройдет. Наконец-то. Пошевелил я ногами, руками, голова кружится, шумит, но жив и двигаться могу, это главное.

Встал на колени, постоял, нет, думаю, надо идти. Поднялся, вышел на линию, огляделся, вижу в обратной стороне, откуда мы ехали, на рельсах человек сидит. Решил идти к нему. Понадеялся, что не немец, знал, что мы Германию проехали, где-то в другой стране уже были. Почему знал, что не в Германии? А когда поезд в последние дни остановки делал, то какие-то люди бросали нам хлеб, сыр через окна в вагоны. Охранники кричат, ругаются, а эти люди все равно бросают и между собой перекликаются, разговаривают не по-немецки, на каком-то другом языке.

Сидит, значит, тот человек на линии, я подхожу, вижу — пожилой. Он спрашивает:

— Ты кто?

— Я русский.

— А я чех. Из Моравии, чех-моровак.

Хоть и на разных языках говорим, но: друг друга понимаем. Оказывается, он тоже из нашего поезда, с другого вагона сбежал, чуть раньше меня выпрыгнул. Сказал, что в Чехословакии находимся.

— Не бойся, — говорит, — не пропадем, будем ко мне в Моравию пробираться.

В стороне видим огонек, пошли туда. Деревня.

Наказывает мне:

— Ты жди тут. Один в хату зайду.

Я ждал, ждал, испугался, на другое место перешел, в кусты.

Наконец выходит, кричит:

— Ивано!

Выхожу к нему:

— Здесь я.

— Идем.

Дали ему, оказывается, в той хате хлеба, сала, яиц и сказали направление, как в Моравию идти.

А мне все равно куда шлепать, только бы от немцев подальше. Двинулись в путь. Днем он снова в одну деревню зашел, еще еды ему дали. Зашли в лес, расположились, перекусили. Хлеб хороший, сто лет такой не едал. Солнышко палит, жарко. Разделись вшей поистребляли, потом он обушку свою чинить стал, а я разомлел от свободы, еды, солнышка и уснул.

Проснулся, чеха нет. Сразу вспомнил, он говорил, что в деревне, куда заходил, ему сказали: «Тебе с русским на родину не пройти».

Х

В общем, остался я один. Испугался. Продукты он тоже забрал, у меня ни крошки нет. Перешел лесок, впереди деревня. Думаю, будь что будет, зайду в крайний дом.

Подхожу, а в сторонке по дороге какой-то чех идет, интеллигентного вида, в шляпе, с портфелем. Вижу, заметил и он меня, я шмыг в кусты.

Он остановился, спрашивает: «Кто такой? Иди сюда. Ты с концентраку?»

По моей полосатой робе он сразу определил, что я с концентрационного лагеря.

Снова зовет:

— Ходь сюда.

Я вышел.

— Не бойся, не бойся, — говорит чех. — Что требуется тебе?

И сам за меня отвечает, перечисляет:

— Исподнее, обувь.

— Не уходи никуда, — наказывает, — я к тебе приду.

Ночь я в кустах скоротал, а на второй день принес он еды и пиджак.

Свой узелок со съестным у меня появился, повеселее стало. Под вечер ливень, промок я до нитки, замерз. Думаю, будь что будет, пойду напрапалую. Дома в деревне хорошие, под черепицей. Подхожу к крайнему дому, гляжу, дверь в хлев открыта. А там молодой чех копается, чего-то делает. Меня увидел, спрашивает:

— Ты кто? Кто? Русский? С концентраку?

— Да.

— Ходь сюда.

Захожу, он командует:

— Снимай с себя все. Ты весь мокрый.

Позвал жену. Жена тоже молодая, красивая.

Командует дальше:

— Бери с чердака белье и неси сюда.

Принес. Говорит мне:

— Передевайся.

— Стыдно.

— Давай, давай.

Зашел я за перегородку, переоделся.

Тепло стало, чувствую, и им на душе теплее, что я не в робе заключенного, а в гражданской одежде. Безопаснее им так меня прятать.

— Ты будешь здесь жить, — говорят. — Немцам скоро капут.

Отвели мне место в хозяйственном сарае. Там у них сеялка, веялка, сено, солома.

Жили молодые со стариками, с родителями. Дед неизменно трубку покуривал. Ходит попыхивает. А старушка сгорбленная, невысокая, худенькая, но шустренькая, все по хозяйству что-нибудь делает.

Старушка и носила еду в сарай в мое прибежище. Несет в лукошке, вроде как курицам понесла. Кормили пять раз в день, да лекарства давали, я и покреп у них с девятнадцатого апреля по восьмое мая. Никому они обо мне не рассказывали, так как в деревне еще оставались предатели, те, которые прежде немцам помогали. А 8 мая вышел уже свободно.

Дня через два американцы в соседней деревне объявили сбор бывших узников, которых прятали местные жители. Набралось нас таких со всей округи четыре машины.

Хозяева мои, то ли в шутку, то ли всерьез, напоследок меня спрашивали: — Ты домой хочешь? — И предлагали: — А то оставайся у нас, женим тебя. — Нет, — говорю, — спасибо, у меня дома отец, мать.

XI

Американцы погрузили нас всех в грузовые машины и увезли в Прагу, передали нашим. Там сформировали несколько составов и привезли ближе к Одеру, город Заган, в лагерь для перемещенных лиц. Проверяли каждого. Были мы там до конца августа. После проверки стали нам доверять. Даже военной подготовке обучали, строевой с нами занимались. Потом из тех, кто был в концентрационных лагерях и умел разборчиво писать, отобрали восемь человек, меня в том числе, назначили писарями. Доверяли даже самостоятельно опрашивать вновь прибывающих. Капитан проинструктировал, что спрашивать, вопросник выдал.

Через меня много бывших бухенвальдцев прошло. У них и узнал, как восстали 11 апреля узники Бухенвальда, как действовал подпольный комитет, как громили немецкие казармы. Там, в лагере, услышал также, что всех, кого везли в том составе, из которого я убежал, немцы расстреляли. Вот так...

ХII

Отпустили нас и поехали мы на родину. Приехал. Иду от станции домой, догоняет меня на лошади односельчанин, узнал, пригласил в телегу. Через поле едем, в сторонке женщины работают. Он и говорит, а ведь твоя мать тоже здесь должна быть.

Остановил лошадку, кричит:

— Ефимия Ивановна, иди сюда!

Машет ей, зовет:

— Беги, беги быстрее.

Подбежала она, смотрит на нас.

— Да неужели не узнаешь, это же твоего сына везу.

Бросились мы с матерью друг к другу, обнялись, заплакали. Односельчанин командует ей:

— Давай, Ивановна, бросай всю работу, садитесь оба, поехали домой.

Так начиналась моя новая жизнь.

Виктор МОРОЗОВ.

СОЛДАТКА

Сначала в деревне считали пришлую странной. Оно и понятно. Во всем ее облике, манере поведения было много необычного, Она мало показывалась на людях, ни к кому не ходила в избу, ее никогда не видели на беседах, где собирались деревенские бабы в свободное время. Даже работая в коллективе, Зинка держалась втихую, вперед не высывалась. В разговоры особо не вступала, отделялась общими фразами. «Да. Нет. Не знаю. Не хочу.» По всему этому было много разных толков. И беглянка она, от властей скрывается, приткнулась у такого же нелюдимого старика. Отчуждение Зинки нечаянно разъяснилось. Зинку была падучая. Однажды в овине женщины ставили на просушку снопы льна. Внезапно Зинка упала на земляной пол, тело ее выгнулось, затряслось, голова запрокинулась, в уголках рта показалась пена. Женщины в ужасе окаменели...

Зинка появилась в деревне неожиданно. Высокая, с темными глазами на бледном лице, она еще светилась отблесками той красоты, какую, вероятно, когда-то имела. Сейчас она увядала. Глубокие морщины пролегли от крыльев носа к уголкам рта, а синеватые обводы вокруг ввалившихся глаз говорили о каком-то перенесенном тяжком страдании. Печальную эту картину дополнял, косой багровый шрам, тянувшийся у нее по левой щеке до виска, и скрывающийся под седеющими волосами. Поселилась Зинка в доме лесника Прокопия Лукича, одинокого дремучего мужика, звероподобный вид которого вполне соответствовал занимаемой должности. Впрочем должность эту он оставил еще лет за пять до войны, по причине старости. Но по привычке все так и звали его лесником. В Деревне ведь как? Уж если что пристало к человеку — не оторвешь.

Зинку тоже прозвали солдаткой. Хотя тогда всех баб-одиночек, мужья которых воевали на фронте, можно было солдатками величать. Зинке прилепили это прозвище за другое. Она всегда ходила в военной гимнастерке, юбке и сапогах. А насчет ее мужа, тут никто ничего не знал, как не знали и о самой Зинке. Кто она, откуда взялась, и почему живет у Прокопия Лукича? Но народ деревенский дотошный. Вдруг вспомнил кто-то: «А ведь сын, кажись, был у Прокопия Лукича-то». «И точно был, Юркой звали», — подтвердил другой. — «Года за три до войны, он даже погостить приезжал в деревню.» А потом вспомнили и то, что этот самый Юрка или Юрий Прокопович, если угодно, жил в большом городе Ленинграде, и занимал там немалый пост.

Сам Прокопий Лукич был стар. За девяносто перевалило. По характеру хмур и нелюдим. Может прежняя должность его таким сделала. Всю жизнь пролазил по лесам, да распадкам — сам зверем стал. С деревенскими мужиками и раньше дружбы водил мало, а теперь и подавно.

Да и не было никого в деревне, кто бы подходил ему сейчас по возрасту. Вымерли все. Только он и остался. Может смолистый аромат сосновых боров пропитал его, может дым костров прокоптил, чтобы сохранить, кто знает. Только жил пока Прокопий Лукич, жил и не гнулся. Лишь трое деревенских стариков Семен Иванович, Иван Федорович да Петр Титович заходили иногда к Прокопию Лукичу на беседки. И хотя были они лет на двадцать его моложе, но их он принимал охотно. С ними мог еще и чарочку пропустить — у трех дружков-старичков это дело никогда не ржавело. Вот от них-то и узнали в деревне всю доподлинную историю этой Зинки. А рассказал ее старикам за рюмкой водки, сам Прокопий Лукич.

Зинка оказалась женой его сына Юрки. Поженились они незадолго до войны, но приехать в деревню как-то не собрались. А тут грянула, война, и вскоре Юрку, как партийного работника, мобилизовали на фронт. Зинка осталась одна в Ленинграде. Она работала в секретариате обкома. Родных у нее никого не было — детдомовская. Когда немцы стали угрожать городу окружением, многие предприятия и учреждения стали эвакуировать. Зинку тоже вывезли. Время настало тяжелое, смутное. Сердце Зинки разрывалось от горя. Вестей от мужа, никаких не было. Враг подходил к Москве. И Зинка пошла в военкомат. Как владеющую немецким языком, ее взяли в армию, и по ее же просьбе направили на ленинградское направление, в штаб переводчицей. Осенью кольцо блокады сомкнулось. Вот тогда и явился к Зинке один седой майор из органов и предложил серьезное и очень опасное дело. Он давал время подумать, но Зинка все поняла и сразу же согласилась. После месячной подготовки она, с небольшой группой, была заброшена за линию фронта. Эта первая вылазка прошла удачно. Они выполнили задание и вернулись к своим.

После этого Зинка еще не раз ходила за линию фронта и все складывалось удачно. Но вот немцы заняли Тихвин и обстановка осложнилась. Однажды, возвращаясь с задания, Зинка с напарником попали под обстрел артиллерии. Близким разрывом снаряда убило наповал напарника, а Зинку тяжело ранило и контузило. Бесчувственную, едва живую ее вынесли саперы, и сразу же отправили в госпиталь. Жизнь в ней чуть теплилась. Долго врачи боролись за ее спасение, долго Зинка лежала в госпитале, но поправилась. Однако врачи опасались, что со временем у нее могут начаться припадки. Ей ничего не сказали, но Зинка узнала об этом от медсестры, с которой успела подружиться. К дальнейшей службе комиссия признала ее непригодной. Зинку демобилизовали из армии.

Но за то время, пока она валялась в госпитале, произошло много событий. Тихвин был вновь отбит у немцев и освобождали его те части в одном из полков которых служил ее Юрка. В этих боях он был тяжело ранен и попал в госпиталь, где была его Зинка. Вот там

они и встретились, уже выздоровевшая и готовая к выписке Зинка, и больной, едва двигающийся майор замполит Юрка. В слезах вымолила Зинка у старого полковника, начальника госпиталя, разрешение остаться ей с мужем пока тот не выздоровеет. И полковник сдался. На свой страх и риск оставил Зинку санитаркой.

Больше полугода работала Зинка при госпитале. Стирала, убирала, помогала раненым. Но вот Юрка поправился и его выписали с направлением на фронт. В последний вечер он уговорил жену ехать в деревню, к отцу, и ждать его там. Войне скоро конец, говорил он. Юрка написал отцу, письмо и вместе со свадебной фотографией вложил Зинке в карман гимнастерки. Утром он устроил Зинку в санитарный эшелон, идущий на Москву. А потом Зинка добиралась уже как могла. На паровозах, на машинах, а чаще пешком.

Так и добралась она до деревни к весне сорок четвертого. Стала жить с Пркопием Лукичем, который принял ее как дочь. Зинке тоже было хорошо с ним, она уже начала забывать о чем говорила ей медсестра. Да болезнь напомнила о себе. Случился с Зинкой припадок. Прокопий Лукич тогда здорово перепугался, а когда Зинка пришла в себя, рассказала ему все как есть.

— Ничего, дочка, — сказал лесник. — Держись. Вот вернется Юрка, мы тебя вылечим. А пока меньше на людях показывайся.

— Мне ведь работать в колхозе надо, Прокопий Лукич. Все работают, фронт требует. А я что?

— На работу ходи, но остерегаться надо.

Зинка последовала его совету, чем и вызвала в деревне разные толки.

А Юрка ее не вернулся. В апреле сорок пятого в дом пришла похоронка. Долго и безутешно рыдала Зинка, уткнувшись лицом в подушку. Но кое-как горе перенесла, выпрямилась. А вот Прокопий Лукич не перенес. Схоронила Зинка старика в начале лета, и стала жить одна. Деревенские бабы, теперь к ней заходили. Посидеть, поговорить и поплакать вместе. Горе у всех было одно, и беда одна. А косоглазый Аверька, инвалид и пьяница, стал носить Зинке букеты. Нарвет в поле охапку, несет по деревне:

— Бабы! Зинке поклонимся! Она за нас кровь проливала!

Придет к Зинкиному дому и стучится на крылечке в дверь. Если Зинки нет дома, сядет на ступеньки и ждет. Плачет и цветы к груди прижимает.

Александр СОЗИНОВ



Продолжение темы

НЕ РАДИ СЛАВЫ...

ТИССА

Близко Тисса. К вечеру подступили к селению. Городок небольшой. Подступили — какое там! Нет, не подступили. На прямом пути все перекрыто оврагами, правее — непроходимые неудобья приречья, влево — тоже непроходимые крутые овраги с трясиными в ручьях, заросшими дико.

Дорога, широкая, твердая, по которой мы шли, спустилась с верхов, уперлась в эти неудобья. Когда подошла сюда наша огромная пешая рать, там, перед этими препятствиями, маскировалось по кустам заметное число нашей боевой техники. «Тридцатьчетверки» нащупывали себе ход на верхотины полей. Они сделали выстрелы по невидимому противнику. Подошли к обрезама, к обрывам — ожидают.

Вдруг в ответ на выстрелы танков пронеслись трассирующие (светящиеся) снаряды. Но траектория слишком пряма, чтобы достать нас через горбину поля. Ребята говорят, что зенитные.

Трогают нас той же овразиной возле насыпи мимо танков вверх и вверх. Темнеть начало. Приспело время двинуться танкам этой скрывающейся овразиной. Нас решают поднять на полотно шоссе. Поднимаемся на кручу дорожной насыпи. Дорога — не асфальт, но что-то твердое, щебенистое. Грязца на полотне. Движемся и движемся. Даже шутки проскальзывать начали. Темно совсем, даже черно. Дорога выше и выше. Чернеющие справа по оврагу кусты, заросли, деревья начали оставаться позади. Близко уж, скоро вот дорога выйдет наверх поля.

Вдруг со стороны противника справа, наискось, понеслись быстрые болиды ослепляющей яркости — резко, с хлопками сильными, отрывно, с трескотней. Один рой, следом — другой. Стелют низко над самым полотном дороги, над самыми головами нашими. Нас сдуло за насыпь. Лежим под насыпью — метров двенадцать высота. Слышно — выясняют: все ля налицо, не прицепило ли кого? Все благополучно. Проходит какое-то время, пока начальство принимает решение, может, запрашивает по каналам связи. Мы впереди, ничего этого не видим — ни начальства, ни служб.

Происходит движение. Это — принято решение и отдано распоряжение. Перелезаем через насыпь дороги, пересекаем выемку, поднимаемся на край пашни, где по полю начали расходиться танки. Почва прорезается гусеницами. Лейтенант Андреев своих, Черно-

усов своих — ведут по следам этим. Думаю, за танками поставят. Нет, развели цепью перед ними. Каждому лейтенант сам указал место, ткнул лопатой.

Скидывают братцы с себя все, аккуратно укладывают где посуше. Начать копать не успели. Повел кто-то наших лейтенантов вперед. Тихохонько на некотором расстоянии следуем за ними. Танки, видим-слышим, тоже продвигаются на тихих-тихих оборотах. Чуть слышно: чап-чап-чап... Гусеницы — по грунту. А мотор вроде и не слышен...

Развели, расставили нас цепью. Впереди танков. Ткнулся сосед к соседу убедиться в верности линии. Принялись за лопатки. Но вот беда: по колено взял, а дальше — влажно, пожалуй, вода выступит. Пришлось экономить землю, каждую глыбочку руками укладывать в бруствер. И хватило чуть для обводика по краям бруствера. Сбродили назад за кукурузными снопами. Под коленки подложил в ямке своей, свежую землю на бруствере позамаскировал. И сделал так: середину бруствера нарочно повыше соорудил, а в правом углу — выемочку, кукурузкой замаскированную. Отсюда — выглядывать, наблюдение вести до поры, до времени. Пусть враг думает, что я посередине бугра. Под правой и левой рукой на передке, в уголках, две печурочки сделал — потом, время придет, гра-наты тут положить, наготовить. Уют и комфорт.

Строй наш был довольно плотен. Серафим Хабаров от меня метрах в шести. И далее вправо игла цепь нашего взвода. Влево, сразу от меня, начинается взвод Андреева. Непосредственно за мной и моим соседом справа, метрах в пяти от нас, поместились командиры взводов лейтенанты Черноусов и Андреев. Вплотную за нашим строем, влево от лейтенантов, окопались пэтээровцы — Трофим Лысюк со своим напарником. Окоп у них — спаренный. Левее пэтээровцев — расчет станкового пулемета. Сзади нас метрах в сорока стояли танки, а в глубине, уже за полевым увалом, расставили свои «самовары» наши родные минометчики-восемьдесятдвухмиллиметровщики.

Ночь темная совершенно. Уж можно было привыкнуть к темноте. Но нет — ничего не видно. И мы знали лишь о самых ближних. Вот такая выпала ночь, как нависло, накрыло сверху. Было совсем глухо, тихо, беззвучно. Поле, оказалось, — при свете — ровное, широкое, с заметным покатом в сторону противника.

К наступлению утра разнеслось, по нашей цепи, что перед нами — противотанковый ров. Над нами обозначился темный гребень метрах в тридцати. И ведь именно над нами. Мы оказались ниже этого гребня: смотреть на него приходилось, как на крышу сельского дома.

Лысюк с номером со своим определили на гребне силуэты двух зенитных пушек, тех, которые дали нам фейерверк вечером

по дороге. И он, ничтоже сумняшеся, выстрелами из бронебойки обе пушки разбил, вывел из строя. Что тут открылось! Какая там суматоха поднялась! Прямо-то против нас у них, видимо, было жидко силенкой, главная сила у них была правее нас. Оттуда полились к нам беспрерывные светящиеся пулеметные трассы. Грохот, трескотня. Дождем несутся: огненные струи из многих точек. Поняли, что далеко, стали перебегать. Видно против неба скачущих чертенят со своими кочережками. Скоро высыпались плотной цепью и против нас, и дальше, левее нас по всей обозримой части гребня. Против сереющего неба вся эта теневая кинолента видна отчетливо. ПТР и пулеметы наши еще раньше повели обстрел. Автоматы наши пока молчали: далеко, пользы нет.

Я тоже думаю: вот поближе, попрямее изверстаются. Автомат давно изготовлен на бруствере, проверил еще раз собачку-переключатель — на очереди ли? Сам все слежу из своей подзорины. Гранаты в ладонях перепроверил, обгладил, протер. Поставил их в гнездышки-печурки: одна — под правой рукой, другая — под левой. Провесил в котомке не растеряны ли патроны. Переложил часть их в карманы, чтобы поближе взять. Эх, жаль, не успел расстараться запасной диск к автомату...

Против меня как раз — рукой подать — на гребне меж зубцами глыб высунулся вражеский боец крупный, с ручным пулеметом, дает длинные очереди по пулеметчикам нашим. Я — к автомату... Беру ту прорезь гребня на прицел, поджидаю того рыжего нахала. Высунулся тот снова по пояс, опять пулемет наводит. Хладнокровно беру на мушку, с упреждением, чуть левее, чтобы на спуске, на очереди повести вправо, перестричь врага... Нажал. «Пык» — одна пулька, очередь не дало... Что такое? Навожу, нажимаю — и одного выстрела не получается... Чего, только ни делал — нет и нет, молчит мой автомат.

Сзади несется:

— Огонь! Огонь!

Черноусов кричит:

— Стрелять! Всем стрелять! Звонов, — стрелять!

Бьюсь опять с автоматом наощупь — не видно еще ничего, такая темень... Делаю тысячу попыток — все зря. Так досадно! А тот, супротивник мой, почему-то невредимо повторяет и повторяет свой маневр. Как же его не сразили мои соседи? Впрочем, врагов густо. Гранатой — далеко, да к тому же вверх. Бился-бился, нервничал-нервничал — зло берет... И ребят жалко: сколько он, гад, повредить может...

Азарт у врагов разгорается. Смотрю — граната ручная сверху летит. Близо должна клонуть. Мгновенно юркнул на дно окопа. Выждал. Взрыв за грохотом боя не отметился. Снова на пост. Тут чуть правее летит палка-ковырляка — мощная немецкая граната на

длинной рукоятке. За ее полетом приходится проследить — она дальше достать может. Вижу — опять должен быть недолет. Припал, выждал. Опять сторожу. Правее над ребятами тоже гранаты в воздухе. Думаю, начнет светать — увидят они, в какой мы мышеловке. То ли тогда будет! В штыки могут броситься. Их — вон сколько! На гранатки свои молюсь почти: миленькие, надежда моя последняя, не подведите хоть вы...

А и светать начало... И принялись ребята, кто поопытней, кричать в свой тыл:

— Огня! Огня! Передавайте, кто там: огня!

Кричали тревожно, требовательно, во много голосов. И выручили наши минометчики: дали залп. Кричат, передают по цепочке: .

— Живы? Не по вам пришлось?

Пришлось не по нам, но... близко. Наши кричат:

— Так давай! Хорошо! Побольше!

От души поработали наши спасители за увалом. Когда стихло через полчаса — перед нами с насыпи никто уже не высовывался.

Следует команда: «Вперед!». Человек шесть-семь подступили под вал, прислонились к породе. Молодой парнишка с автоматом заметил левее понижение, полез взглянуть, укрепиться. Успел, цепляясь за комья земли, добраться. Стал выглядывать — все неотступно на него смотрят — отпрянул, рухнул вниз, шарит руками, направляясь по памяти к нам. Подскачили — лицо в мелких посечках, кровь брызнула. Достают у кого что есть, перевязку делают, про глаза не пытаются узнавать. Смотрят, куда его укрыть, — эвакуировать нельзя: дальше местность открытая. Ударило парня осколками от разрывной пули.

Огонь уже откуда-то из-за вала. Потом узнали — с крыш домов близкого селения.

Группа наша посмешалась, из цепей подбавы нет. Потоптались, возвратились по местам.

Почувствовав перемену, пытаюсь на свободе при свете дня разобраться с автоматом. Просматриваю, перебираю — все нормально. А выстрелов нет... И вот вижу: на диске с лицевой стороны — пулевая вмятина с пол-сантиметра глубиной. Она заела пружину, нет подачи патронов. Повредило тем ночным огневым ливнем.

С крыши селения, что за рвом, бьет крупнокалиберный пулемет. Мы в «мертвой зоне» этого огня. Ребята оживают... Сзади — крик. Из окопчика парнишка машет, кричит:

— Хлеб берите! Я принес вам хлеба!

Подумалось: ну куда тут хлеб? Выбрали время! Не до еды ребятам. До вечера сыты. Черноусов смотрит на подчиненных, прикидывает.

— Звонов, беги за хлебом!..

Вот ты, угораздило безо времени... До чего же не хочется.

Гляжу досадливо, да спорить не будешь. Тем более, мне ближе всех.

Наметил — метров сто. Изготовился. Выбрался. Бегу, пружиню внаклонку, думая, силу на обратный путь, главное, сберечь. Шарашит местами на мокром суглинке желтоватом. Добежал.

— Давай!

Парень выкидывает белые буханки. Я думал — три-четыре... Смотрю — много, не забрать на раз. А два раза судьбу пытаться тут... Мысль бьет мгновенно, молнией. Хватаю буханки в охапку, выматываю правую полу шинели, укладываю буханки поленицей. Не растерять, не развалить бы... Все! Прижал эту поленицу к груди. Ничего не видно, И мысли: только бы не выронить! И еще: не выйти из срока — на каких-то шибко чутких весах отмерен мне срок.

Ссыпал буханки лейтенантам и дома! Все еще сержусь на нелепое радение кого-то там в тылу о нашем хлебе. Меж тем буханки по одной полетели в окопчики. Прилетела половинка от Хабарова и мне. Ругаюсь? не до еды, мол, не надо мне!

— Бери, бери — сгодится!

Подумал: поделюсь потом с ребятами, кому не хватит. Сунул в — зеленую котомку.

Вражеские снаряды, бывшие из-за гребня, подожгли наши танки. Из четырех откатился назад лишь один, остальные совсем недалеко от нас пылали огромными факелами.

К полудню перебрались через ров и окопались на той стороне. Перед вечером поступил приказ — цепью вступить, прочесывая, в село. Сопротивления — никакого. Увидев, что все тихо, главные силы, пошли дальше. Говорят, впереди Тисса.

ВСПОМИНАТЬ СТРАШНО

Девушка из Заболотья была — Людмила Георгиевна Лебедева, погибшая в сентябре 1944 года на Западной Украине. Вокруг ее образа романтический ореол подвига, созданный послевоенной пропагандой. Ничуть не сомневаюсь в том, что подвиг был и было ясное понимание долга перед Родиной. У поколения Людмилы Лебедевой этого не отнимешь, как бы ни переписывалась заново история. Но думаю, что в жизни все обстояло гораздо трагичнее, чем в приглаженных, подправленных последующих описаниях — очерках, рассказах, музейных экскурсиях с неизменными фигурами умолчания и ставшей привычным общим местом патетикой. Вот как выглядят события, связанные с именем девушки из Лобозовского сельсовета глазами очевидца и участницы событий Елизаветы Николаевны Ерошкиной. Она служила вместе с Людмилой в одном подразделении войск противовоздушной обороны, которые имели сокращенное название ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь) и была последней из тех, кто видел ее накануне гибели.

Мы беседуем с Елизаветой Николаевной в ее небольшой комнатке, договорившись о встрече предварительно, в музее, на открытии экспозиции, с фотографиями девушек. У Елизаветы Николаевны такой фотографии не оказалось. Сейчас ее волосы совсем обесцветила седина. Руки, выдавая волнение, суетливо разглаживают складки скатерти. О своей военной молодости, о Людмиле она не может говорить с отстраненным спокойствием, потому что все пережитое еще до сих пор больно и очень страшно.

Елизавета Разумова (девичья фамилия Е.Н. Ерошкин) приехала в Сусанине работать в райфинотделе в 1941 году — уже началась война. Была она тогда молоденькой три месяца назад окончившей финансово-экономический техникум. Вместе с одной девчонкой из Архангельска направили их сначала на работу налоговыми инспекторами в Нейский район, но там им не показалось, да и время наступило тревожное — война. И девчонки проси заведующего отпустить их домой: мужчин, мол, берут в армию, места освобождаются, а родители дома больные. Сначала отпустили архангельскую, потом и ее.

— Выпросилась, вырвала, — говорит Елизавета Николаевна, — и в Сусанине начала работать с первого сентября, а в апреле меня взяли в армию.

Родители Лизы жили в Соболеве Жаровского сельсовета. Работа в райфо была связана с постоянными командировками. Здесь она и познакомилась с Людмилой Лебедевой, налоговым агентом, которая дважды в месяц приезжала в райфо на совещания. Приходилось Елизавете Николаевне инспектировать и колхозы. Как-то она даже ночевала у Людмилы в Заболотье.

Однако, прежде чем продолжить ее рассказ, следует сразу пояснить, что из восьми месяцев ее предфронтowego стажа три Елизавета Николаевна провела на трудовом фронте — копала противотанковые рвы и окопы на Красном Профинтерне.

— Оттуда нас вызвали телеграммами, которые нам не передали и о которых мы узнали от Клеопатры Севериновой. Она спросила нас с Ольгой (Ольга Алексеевна Куликова — Т.В.): «Почему вы не уехали? Вам там две телеграммы пришли!». Мы расстроились: «Что делать? Ольга, давай бежать!» — и 45 километров шли пешком. А заведующий райфо нас еще и отругал, что, мол, вы, работать не хотите? Вот вам пять дней на отдых и приступайте! А вскоре вызывают нас в райком комсомола.

— Желаете защищать Родину? — Желаем!

— Тогда собирайтесь: через два дня быть готовыми к отправке.

Повезли нас в Буй, через Цикалево, на санях, у каждой по мешочку сухарей да пара белья. В Бую дали гимнастерки, юбки, чулки, ботинки яловые, страшные такие, выдали. Жили в Контееве в школе — одни девчонки. Нас там обучали строевой. После Буя началась служба: распределили по постам, по пять человек: четыре бойца и начальник поста — такая же девчонка, что и мы. Нашей задачей было наблюдать воздушное пространство. Если летит самолет: опознать: вражеский самолет или наш — по шуму мотора, форме фюзеляжа и т.д. У нас были курсы указателей — такие фанерки на палочках.

Посты ВНОС располагались в разных населенных пунктах, наш, например, в Галичской деревне Митино. В Сусанинском районе тоже были посты: в Карповском, в Андреевском, в Северном. Рота находилась в Бую, а посты размещались в основном по Ярославской области. Мы в любую погоду посменно стояли, на пожарной вышке или, если ее нет, прямо на снегу мерзли. Зимой менялись через каждые два часа.

После Галича нас направили в Ярославль. Там служила и Людмила Лебедева. В роте с нами работали политруки. Вот тогда-то мы и решили вступить в партию: Люся Лебедева, я, Вера Шигорина и буювлянка Катя Казакова (после войны я старалась отыскать ее, дважды ездила для этого в Буй — безрезультатно). Рекомендацию в партию мне дали председатель колхоза имени Ленина А.А.Ершов и заведующий райфо М.Ф.Морозов — он подписал рекомендацию и Людмиле. Нас четверых вызвали в Рыбинско-Ярославский дивизионный

район, где вручили партийные билеты. Не помню, через сколько дней наши фамилии прочитали перед строем и сказали, что мы едем служить на Западную Украину — в составе этой же части, того же 105-го батальона.

И мы поехали. Дороги плохие, разбитые. Было уже холодно, а везли нас в товарнике, в телячьих вагонах — и тоже почти одних девчонок. Двое мужчин сопровождающих: Демин из Ярославля и Долгов — командиры, да несколько стариков, годных на нестроевую. В 1944-ом году это было. Только подъехали к Харькову, там, на станции, они нас и встретили. И приняли мы боевое крещение.

Бомбежка началась с вечера. Нас предупредили: вы не бойтесь. Будут лететь осколки — это наши зенитки бьют. И приказали нам двигаться в основую рощу: кто по-пластунски, кто на четвереньках добрались до деревьев. Был приказ: лежать, не вставать. Да как бомбы-то полетели! С таким визгом! Ну, все, думаю, отжили. Составы стояли недалеко от рощи. В одном из них наших парней 1925 года рождения везли на фронт. Вагоны с ними загнали в тупик. И всех их разбомбили — солдаты и выйти не успели. Почему-то не дали им такого приказа. Потом мы все плакали и возмущались: как же это так!

Вот они, трагические подробности войны, о которых не принято было писать и вспоминать публично. Елизавете Николаевне трудно говорить об этом — и не сказать нельзя. Война была войной и на этой уже тыловой станции. Сейчас много говорят о неоправданности многочисленных безрассудно отданных молоху войны человеческих жизней. Не могу судить: не вижу для себя такого права. А она, участница событий, пусть судит — Т. В.).

— Бомбить кончили только к утру. Не знаю, как мы уцелели, просто чудом. Когда я встала и пошла на деревянных ногах, гляжу: в пяти шагах осколок лежит. Как я без ног не осталась! Вот после этой ночи у меня, девчонки, появились седые пряди. А родителям моим кто-то написал, что меня убили. Не знаю, кто мог так сделать! Отец, мне рассказывали, после этого письма все лежал, плакал, не мог встать. Я в семье из детей была старшая, еще два брата моложе меня также были на фронте. Когда дома получили мое письмо, конечно, обрадовались.

Здесь, в роще, пережидала вместе со всеми бомбежку и Людмила Лебедева.

Елизавета Николаевна вытерла враз повлажневшие глаза:

— Разве может быть на войне не страшно? Глупости это! Страх такой, что все заледенит. А о том, что случилось с Людмилой, я ее родителям не могла рассказывать — одни слезы только были.

Была она очень боевая, общительная и, хотя образование имела только 7 классов, развитая девушка. Приехав на место дислокации в местечко Копычинцы севернее Каменец-Подольска, мы

разместились в школе. Двигались по Украине по горячим следам, за фронтом. Все фруктовые, очень красивые сады в местечке были поломаны, разбомблены. В саду у школы прямо свежие могилы. В школе ни одного целого стекла. Мне предложили работать в штабе делопроизводителем. Я решила: лучше на телефон. Веру Шигорину определили в медсанчасть — она кончила курсы медсестер. Люсю назначили командиром взвода, а Катюша одна попала на пост, ее направили в какое-то «местечко».

У нас очень часто случались обрывы — обрезали телефонные провода. На западе Украины орудовали бандеровцы — не хотели жить под Советской властью, вступать в колхозы. Крестьянские дома там, в основном, богатые, сколько пшеницы весной высыплют сушить — столько я у нас и не видывала. Днем они были вроде обычные крестьяне, а ночью — настоящие бандиты, передевались даже в фашистскую форму. Вот в таких условиях нам приходилось служить. Берешь катушку с проводами, ящик через плечо и идешь искать обрыв в любое время дня и ночи. Правда, со мной все обходилось.

А Люсе дали 5 постов. В другой стороне командирами взводов были два молоденьких парня, взятый, очевидно, сразу из школы. Одного, его звали Сергей Куров, бандеровцы утопили в колодце, связав ему руки и ноги. Долго его искали.

Однажды на совещание в роту собрали всех командиров взводов. Пришла на него и Люся, мы встретились с нею после совещания, она ночевала у меня. А на следующий день должна была идти по постам. Ее обязанностью было следить за дисциплиной и порядком, чтобы работоспособность должным образом поддерживалась на вверенных ей постах, и Людмила постоянно находилась на них, переходя из одного местечка в другое, с поста на пост. Оружие наше было — только карабин.

Я решила проводить Люсю. Вместе мы дошли до базара (нас предупредили: дальше не уходить без разрешения), купили семечек, посидели на бревнышке. Я ей говорю: «Люся, давай хоть песню споем». Она хорошо пела, особенно «Черные ресницы, черные глаза». Прежде чем распрощаться, я ее предупредила: «Как на посту покажешься — позвони».

Жду весь вечер — звонка нет. Ночью — нет. А я уже с вечера поздно начала обзванивать все посты — Люся ни на один не приходила. Доложила командиру роты. Начались поиски. Начальство имело связь с властями: там только колхозы начали создавать. В населенных пунктах стали говорить: водили по хуторам девушку голую, в сарай запирали, пытали, где расположена часть, ее точки, издевались, как хотели. Она ничего не рассказала.

Только через неделю Людмилу нашел в лесу пастух. И руки у нее были выкручены, глаза выколоты, груди отрезаны. Узнать ее

можно было только по волосам. Она была беленькая, кудрявая. Но все волосы — в крови.

Похоронили Людмилу сначала в сквере у школы города Чемировцы. Это от роты было далеко. Командир ездил на похороны — рассказывал. Потом ее останки были перенесены в город Дунаевцы Каменец-Подольской (теперь Хмельницкой) области на военное кладбище.

Мы еще долго служили в этих местах. Бандитов, которые издевались над Людмилой, так и не нашли. Разве найдешь — они переодевались. 9 мая 1945 года передали по радио, что война кончилась. Сколько тут радости было и слез! Вера Шигорина вышла на Украине замуж, там и осталась, а меня демобилизовали в августе. До Буя мы ехали вместе с Катей. По дороге я заболела малярией: то ли комар укусил, то ли с перемены климата. В вагоне меня трясло, температура поднималась до 40 градусов. Ехали долго, больше месяца.

Родители Кати в Бую меня вымыли: я совсем беспомощной была. Ее мать сходила на зернопункт, куда от нас возили зерно, и как раз из Стуглева (деревня около Ивашева) привез зерно мужчина. Он меня довез на своей подводе до Соболева. Пока ехали домой, сообщил новость, что месяц назад у меня умер отец. Мать мне обрадовалась несказанно и сразу меня отправили в больницу. Потом вышла на работу. Братья вернулись домой позже.

В 1946 году я работала в налоговой — заходила в Заболотье, говорила с матерью Людмилы, не много рассказала — страшное старалась скрыть. А сама, как вспомню, так и не могу. Как с Верой сойдемся — так и плачем. Войну и вспоминать страшно.

Записала Татьяна ВИЛКОВА

Виктор Воронов

СОЛДАТ И МАРШАЛ

«Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 1 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлином...»

(Из приказа Верховного главнокомандующего. Май 1945).

Из высоких парадных дверей с выбитыми зеркальными стеклами, вытирая лоб широкой ладонью, вышел пожилой солдат при винтовке.

— Ну вот, хана твоему царству-государству... — нажимая на «о» сказал он, сердито поблескивая воспаленными глазами. И вгорячах завернул такое по адресу великого фюрера, отчего тот, бедняга, не вынес бы позора. Обыкновенный русский солдат запросто сводил на нет все арийское и мужское достоинство Адольфа Гитлера.

Бренча медалями на выгоревшей добела гимнастерке, солдат уселся на гранитную ступень.

— Земляк, не остуди прибор-то, авось, еще пригодится, — крикнул, скаля белые, как у негра, зубы пробежавший мимо парень в танкистском шлеме.

— Зубы-то у тебя не баливали, — огрызнулся не сердито наш солдат. Он бережно поставил промеж колен свою подругу образца 1891/30 года и закурил. За его сутуловатой спиной высилась громада рейхстага, над куполом которого полыхало Красное Знамя...

Крепка оказалась у фашистов контора. Пушка и та не каждая пробивала эти стены — не кирпич, а монолит какой-то тесаный. АН, одолели!..

Затяжку за затяжкой хватал потрескавшимися губами махорочный дым, а вкусу не чувствовал. Еще не остыла душа...

... Каждый шаг, казалось, был последним. Враг стрелял отовсюду — из-за колонн, с верхних надстроек, из-под самого купола, из подвалов. Бил сплошным огнем по всем подступам. И наткнуться на пулю было куда как проще, чем сходить по малой нужде где-нибудь за угол.

Если бы видеть со стороны... — Страшное, наверно, кино. Он бежал, где зигзагами, где прыжками, прижимаясь к этой чужой, не нужной ему земле. Увидел, как вскинув руку к груди с сорвавшимся вскриком «ма...», упал навзничь молоденький солдатик ихнего взвода Ваня Колосков. Во взводе парнишку звали «Колосок». Высоконый и тонкий, такой же светленький, он и впрямь походил на стебелек поспевающей ржи...

Еще не успел поднять глаза от мальчишеского лица, казалось, не мертвого, а просто обиженного по-ребячьи на эту жестокую несправедливость, как почувствовал на себе взгляд врага. И почти инстинктивно ударил со всей силы штыком. Немец, видно, подкравшийся из-за выступа колонны, тяжело хрипя, повалился к подножию колонны.

— Ты, гад, нашего Колоска... — нестерпимое зло захлестнуло его. Отвернулся брезгливо: штык подался не сразу...

Он вдруг поперхнулся. Бросил недокуренную самокрутку. Судорожный всхлип вырвался из самой глубины груди. И прорвались слезы. Они текли по загорбелым щекам, смачивали густые усы. Вытирал их сперва ладонью, потом стащил с головы пилотку.

— Ты что это, герой? Взял рейхстаг, а плачешь... — услышал в этот момент над собой строгий командирский голос. Поднял застланные влагой глаза и тут же вскочил, вытянулся, пристукнув прикладом о камень.

— Так точно, товарищ... — замешкался чуток, видно, сомневаясь, но увидев на погоне большую звезду с гербом, а позади группу генералов, понял: «не кто иной» — и отчетливо произнес: — товарищ Маршал!

— И в чем дело, солдат? — Маршала явно заинтересовало состояние этого далеко не молодого бойца, едва ли не ровесника с ним самим. А по наградам в три ряда, среди коих зорким в прищуре глазом отметил медаль «За оборону Сталинграда», видать, изрядно повоевавшего.

— Так ведь проняло, товарищ Маршал... Сколько терпелось за эти без малого четыре года. А тут, вишь, пришли, одолели басурмана, ни дна ему, ни крыши, — отвечал солдат совсем не военнотрудовым лаконичным языком — просто открывал душу.

— Да, брат, одолели... — одобряюще глянув в это простодушнорасполагающее лицо солдата, сдержанно произнес Маршал. И сдвинул брови. Не ему ли было знать всю горькую правду этой войны...

Взгляд его, может быть, случайно, а может, и намеренно (большему командиру-начальнику все положено видеть и знать) остановился на винтовке, судя по избитому прикладу, выдавшей разные виды.

— А почему не автомат?

— Так ведь от самого Сталинграда мы с ней. Сколько разов выручала! Как можно променять? Все одно что жена. — При этих словах покрепче прижал винтовку к бедру. Улыбнулся Маршал, заулыбались генералы.

А их уже окружили плотным кольцом все те, кто только что вышел из боя, может быть, последнего для них. Узнали, и всем любопытно: не каждый день доводится видеть Маршала, которого, говорят,

сам Верховный слушается, Сталин, значит. А тут запросто с солдатом ведет разговор.

— Звать-то как тебя, воин? — Маршал протянул солдату руку. Тот, не ожидая такого поворота, подрастерялся, но тут же перехватил винтовку в левую руку и, пожимая своей широкой пятерней такую же по-мужички крепкую маршальскую, разом выдал почти всю свою автобиографию.

— Степаном, Кузнецовы мы, стало быть, из костромских крестьян.

— И меня вот, по народному, Егором нарекли, — упростил свое имя Маршал.

— Знамо... — и у солдата как-то само собой сорвалось с языка: — а мы с ребятами между собой зовем тебя Победоносцем... — запнулся, наверно, хотел что-то прояснить. Но в этот момент дружное солдатское «Ур-р-а!» подхватило, высказанное ненароком, бесхитростное признание.

Дрогнули суровые брови Маршала. Он вскинул руку к козырьку фуражки, повернувшись ко всем, и будто сам себе скомандовал в полный голос:

— Вам, доблестный сыны Отечества, я отдаю честь!

Все, кто оказался тут, на этом само собой получившемся митинге, готовы были прямо сейчас, без колебаний снова пойти в бой. Говорили их глаза. Слава Богу, бой был позади. А Маршал направлялся, чтобы осмотреть рейхстаг изнутри, место сражения, тяжелого, повлекшего много потерь. Но задержавшись, подозвал командира полка 150-й стрелковой дивизии (она непосредственно штурмовала здание рейхстага) полковника Зинченко.

— Федор Матвеевич, твой герой? — показал кивком на нового своего знакомого, по привычке прижимавшего к себе винтовку.

— Да, товарищ Маршал, рядовой передового взвода Кузнецов.

— Вижу, Слава у него не полная. Представьте к высшей степени.

— Так и намечено, товарищ Маршал.

— Ну и добро. — С этими словами шагнул на ступень, где, застыв, стоял солдат, не спуская с Маршала глаз, должно быть, хотел запечатлеть его на всю свою жизнь.

— Всего тебе доброго, солдат.

Тот, явно подзадоренный таким обращением, набрался духу и поставил вопрос напрямик:

— Нам бы теперича домой, в Россию... Бона, сеять пора, — поднял глаза к весеннему лазурному небу. Они были у него такими же голубыми и чистыми, как сама правда. И Маршал ответил, твердо и честно глядя в глаза солдата:

— Скоро, Степан, скоро!

Дивизию, бравшую рейхстаг, а точнее, уцелевшую ее часть, отвели на отдых в восточные пригороды Берлина. Разместили в бывших эсэсовских казармах, представлявших собой щитовые, аккуратно выкрашенные в светло-коричневый цвет одноэтажные домики. В домике, где поселился взвод нашего знакомого солдата, на стене почти в натуральный рост были нарисованы «завоеватели» с пузатыми чемоданами и довольными улыбками на сытых физиономиях, знать, отъелись на украинском сале. Они (по замыслу художника) возвращались ин Рулянд, завершив «победный блицкриг».

Проворный левофланговый Ладушкин, недолго думая, набрал углей возле походной кухни и быстренько набросал свой сюжет: «угодили фрицы... под хвост кобылице...». Хохотали так, что дребезжали дощатые стены.

Степан не осуждал ребят. «Молодость, она и на войне молодость», — рассудил он. Однако Ладушкину все же пенял:

— Зря ты так-то, конь, он ведь свое назначение имеет, по природе, и к нему с уважением должно...

Тот пытался обосновать свою точку зрения на предмет, дескать, для разрядки... и прочее такое... Но пришел лейтенант проверить, как устроились его гренадеры (так называл бойцов подчиненного ему взвода). Посмотрел и со строгим видом вынес резолюцию:

— Убедительно... — Но тут же и подрезал крылья воспрявшему Ладушкину: -потешил, хватит. А на этих «победителей», — ткнул пальцем в немцев, — поставь жирный крест.

Крестов Ладушкин наставил везде, где только было свободное место на стене, изобразив кладбище. И довольный собой, отряхивая руки, посмотрел на «батю», как он звал Кузнецова.

— Ну как?

— Самый резон, паря, — одобрил Степан и вдобавок по-отцовски похвалил: — вишь, у тебя все ловко получается. — «Все» сказал потому, что видел, как сноровист парень в бою. — Фамилию свою оправдываешь на все сто.

— Мне бы росту поприбавить... — вглядываясь куда-то в пространство, мечтательно проговорил Ладушкин.

Степан понял причину такого желания, успокоил:

— Небось, паря, любая девка за тебя пойдет с радостью, эдакого соколика, вона грудь-то увешана...

... Сколько им предстояло еще томиться в этих неприятных казармах, пропахших чужим потом, хоть и вымытых с хлором — никто не говорил.

Знали, что в тот же день, как они взяли рейхстаг, расписались на его стенах, соседями была захвачена и другая контора гитлеровского

рейха — имперская канцелярия с бункером Гитлера. Самого, жаль, не застали, исчез бесследно. Выходило, что и Берлину, и вообще Германии — конец.

А между тем где-то к северо-западу от Берлина однажды под утро слышалась отдаленная артиллерийская стрельба. Правда, очень скоро затихло. Но и командование молчит.

«Что же дальше-то?» — думал Степан. Он долго не мог заснуть в эту ночь. — Маршал сказал самолично: «скоро». Так чего бы тянуть. Дел-то сколько у народу накопилось для мирного обустройства. Бабенки в колхозе, поди-ка, вконец, вымотались... — Он пытался представить, как его Настасья впряглась в плуг, и не мог. Это было выше мужиковского разума.

Сморило где-то за полночь. И увидел сон — должно быть, то, что совершалось именно в эти часы совсем неподалеку, в местечке Карлхорст (восточная часть Берлина), необъяснимым образом, по каким-то волнам дошло до его сознания. Снилось зеленое поле озими, и по нему, тропинкой, бегут, взявшись за руки, Настасья с дочками, да такие радостные, будто в большой праздник. А навстречу, с другого конца поля — Маршал на коне. Тоже веселый, и что-то говорит... кажись... Да, так и есть. Теперь уже кричит: «Конец войне!»...

Очнулся, сразу вскочил на ноги. От дверей еще по сумеречной казарме кто-то бежал и во всю мочь вопил: «Братцы, конец войне!»

Было это 9 мая 1945 года.

* * *

Такую историю рассказал мне знакомый фронтовик, бравший Берлин. Не буду утверждать, что все доподлинно так и было. Но что могло быть — вполне вероятно. Это подтверждают (в главном, событийном плане) «Воспоминания Маршала Советского Союза Г. К. Жукова». Именно он в ночь с 8-го на 9-е мая 1945 года под Государственным флагом Советского Союза принимал от генерал-фельдмаршала Кейтеля акт о безоговорочной капитуляции Германии. Непосредственно там, в Карлсхорсте.

Павел Разуваев

Северные увалы

Страницы из дневника

Моим родителям — Александру Ивановичу
и Нине Павловне — посвящаю
с пожеланием жить долго.

Напрасны ссылки
на дела: «Забот
полно». — Не верю сам я
в чушь такую;
Там коростель
по вечерам зовет,
Там на полянах
глухари токуют,
Там дождь полощет
шаткие мостки
И длинных тротуаров половицы.
И в памяти как
древние мазки,
Сельчан знакомых
проступают лица.

Как просто все:
билет на Кострому,
Оттуда до Шарьи
в купе неспящем.
И утром ранним
в тишину саму
Шагнешь, забыв
о дне уже вчерашнем.

Автобус, словно
муравей большой,
То на гору, а то,
в пологом спуске.
И в диалоге с собственной душой
Себя копаешь,
как и всякий русский.

* * *

Мои родные поколения
Разлиты по седым холмам.
Я знаю их лишь в трех коленях:
Архив церковный брошен в хлам.

Найти, конечно, было б лучше
Фамилии из старых книг,
Но сгнили в равнодушной куче —
И не услышан предков крик.

Но знаю: предки — ветлужане
(Я этой участью горжусь),
И все — богатые крестьяне.
Стоит на землепашцах Русь!

Про Николая, корень рода,
Я ведал: срубы он рубил.
Мой прадед песни для народа
Веселым топором сложил.

А деда помню. Нежно холил
Лошадок. Три войны в седле.
Есть у реки фамильной холмик,
И живы старики в селе,

Кто помнит нашего Ивана
И Аннушку, его жену.
Ты, бабушка, ушла так рано:
Отмучилась за войну.

* * *

...На тот погост у речки тихой
Под гору мчит велосипед.
Отец еще довольно лихо
В седле сидит на склоне лет.

Мы говорим, о всем на свете,
Забыв о близости могил.
В районной маленькой газете
Он честно землякам служил.

Он пишет не. стихи — заметки.
В душе же — ухарь и поэт.
В районе человек заметный.
К тому ж фотограф — лучше нет!

Он в юности жил в столице
И воевал мальчишкой год,
Но предпочел в руках синицу
И в Пыщуге продолжил род.

...А дома стол накроет мама,
И будет рядышком сидеть
На нас, счастливая, упрямо
В упор без усталости смотреть.

* * *

Отодвинь, отец, стакан,
Чтоб не стало плохо.
Мы не глянем свысока
На твою эпоху!

Неужель пришел конец
Песням и легендам?
Брось переживать отец,
Этим ярким летом!

Вспомни: Чкалов приезжал
Нашим депутатом.
Ты за ним мальчишкой мчал,
Был с героем рядом.

Не боялись высоты
Сашкины модели,
И мальнишечьи мечты
Сбылись в самом деле.

Крабы летные крепил
Гордо на фуражку.
Ты, стрелок-радист, бомбил
Кенигсберг. Знай Сашку!

Песни радостно орал
В синем поднебесье.
Ничего про культ не знал
И про вал репрессий.

Снял погоны мой сержант,
Руки золотые.
Не был грустен и зажат
В годы молодые.

И пером, и топором
Овладел искусно.
Будет сказов новых том
И преданий устных!

* * *

Летописец отразит
Бедность и разруху.
Знаю, как в руке дрожит
Хлебная краяха.

Помню долгою зимой
Эту злую кару:
В мирный 58-ой
Очередь в пекарню.

Как уже после войны
Семьи трудно жили,
На глазах у всей страны,
Как село душили,

Как считал и куст, и сруб
Писарь сельсовета,
Чтоб платили лишний рубль
Мы стране за это,

Как корову дед Иван
Резал — не прокормим,
А Хрущев, как будто пьян,
Вещал про реформы.

Репродуктор черный тот,
Песни не забылись.
Радовался жирный кот,
Потроха дымились.

Чтоб для деток молоко
Постоянно было,
Мать сходила далеко,
Козочку купила.

Позабытый этот вкус
Жидкости целебной
Знаю. Пью и не напьюсь,
Ем с краюхой хлебной.

Помню, мама по ночам
Косила украдкой
Не давали рядом нам

Покосные остатки.
Помню, в бригадирский дом
Шла, просила слезно.
«Иждивенцы, — рявкнул он, —
Вы-не из колхоза!».

Мне три года. Пью кисель,
Редко сласти видел,
И отец носил шинель —
Так дешевле выйдет.

Его сестры подались
На Кубань в дорогу.
Там сытней Намного жизнь —
Вот и нам помогут.

Было все. И недосуг
Вспоминать те беды?
Во взгляде матери испуг.
Вот цена Победы.

И сейчас вождам в укор
Впрок все покупает.
Жили им наперекор,
Достатка не зная.

Мама, милая, зачем
Мукой запасаться?
«Сын, не может же совсем
Она не кончаться!»

* * *

Все же, папа, жизнь была,
Ты красив. Не так ли?
На виду всего села
Выступал в спектаклях.

Пела, мама, в хоре ты
(Приглашают снова),
Были песни и цветы.
Редкие обновы

Дети радовали вас —
Я с сестренкой Олей.
Первый класс — десятый класс.
Среди лучших в школе.

Жизнь наладилась потом:
Торжественно, гордо
Дружно папу соберем —
Едет на курорт он.

Выучили нас, двоих,
А затем две свадьбы
Грянули. И молодых
В Пыщут как зазвать бы...

Но не жить в покое вам —
Пал на сердце грузом
Неожиданный развал
Советского Союза.

«Волноваться вам нельзя
Для вождей мы — пешки»
«Неужели жили зря —
С пенсией задержки...»

Не кричи после вина
Ветеран устало:
Не твоя же в том вина,
Что страны не стало!

Не смотри тревожно, мать,
Не надо суетиться.
Мы не будем вырывать
Истории страницы.

Встали внуки у гнезда —
Ваша кровь и сила.
Будут помнить вас всегда,
Значит — и Россия!

МОНОЛОГ УШЕДШЕГО СОЛДАТА

Война дала о себе знать через много лет. Она никогда не оставляла меня, даже во сне. И сердце не выдержало, разорвалось. Я умер весной 1970 года, почти сразу после Дня Победы.

В последний раз вдохнул запах родной земли. И упал... А кругом была весна, все жило, дышало. Только что вспаханная земля нежилась под ласковым солнцем, и я успел почувствовать ее теплоту, прикоснувшись к ней щекой. Успел в последний раз посмотреть на деревню. Она вся утопала в зелени. Мое Бурдово.

Я никогда не оставлял тебя надолго. Только тогда, в 43-м, когда уезжал, надеясь вернуться живым.

Я, Павел Александрович Берликов, 1918 года рождения, простой русский крестьянин, всю свою жизнь пахавший землю, косивший шелковые травы, строивший дома, как и мой отец, ехал на войну, чтобы защищать Русскую землю от врага.

На фронт попал не сразу, пришлось сначала подучиться. Науку стрелять освоил быстро и с ноября 1943 г. по май 1945 г. участвовал в боевых действиях в составе 333 штурмовой авиадивизии, 312 штурмового авиаполка воздушным стрелком. На своем самолете ИЛ-2 сделал 44 успешных боевых вылета. И Бог хранил меня, за всю войну ни одной царапины.

Гибли мои товарищи, не возвращались с заданий. И сердце ныло, больно щемило в груди. А как переживал за отца, он тоже воевал, был автоматчиком и пулеметчиком. Прошел всю войну ни разу не был ранен. Получил самую высшую награду для солдата — медаль «За отвагу». Отец научил меня многому, передал свое плотницкое ремесло. Уже после войны мы вместе с ним строили колхозные дворы, добротные крестьянские дома. Об этом я мечтал всю войну. Но война — это тоже работа, жестокая, страшная. И во имя Родины мы делали ее.

Каждый раз, поднимаясь в небо, мною овладевало радостное чувство, сбивая самолеты, я вместе с боевыми товарищами шаг за шагом приближал Великую Победу.

И награды «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», орден «Отечественной войны II степени» я носил с гордостью. Особенно запомнился последний вылет под небом Германии. Это было 4 мая 1945 года. Мы понимали, что вот-вот наступит Победа, но также понимали, что можем погибнуть, не дожив до нее.

Были случаи, когда приходилось возвращаться назад, не выполнив задание. Но это было всего 1 раз, 29 апреля 1945 года, тогда пришлось вернуться из-за не убравшегося шасси.

Плечом к плечу воевал я с замечательным человеком, летчиком Александром Морозовым. Это был сильный, мужественный человек, вселявший в меня уверенность, силу духа. С большим уважением до последнего своего часа буду вспоминать Александра, ведь благодаря его мастерству и мы научились отменно летать.

Да, мы выстояли! Мы победили!

Хотелось жить мирной жизнью, строить дома, пахать землю. А еще смотреть с крутого берега Унжи в синие дали, любоваться красотами родной земли. И вот мой 25 День Победы стал последним. Я снова улетал в небо, как тогда, на войне. Но я верю и знаю, что потомки меня не забудут, как не забудут тысячи и тысячи простых солдат, отдавших жизнь за освобождение Родины. Помните о нас! Пожалуйста!

Рассказ записан по воспоминаниям односельчан, по сохранившимся документам.

Наталья ЗАВЬЯЛОВА

Виктор Веселов

СВЕТЛАЯ ВОЛНА

Извечный вопрос: с чего начинается Родина. Эти начала, наверно, у каждого свои. У одних — с материнской песни, у других — с шелеста березы под окном отчего дома, а у кого-то — с мелодии светлой озерной волны, что однажды плеснется в твоём сердце, обожжет, заполонит его и тебе уже ее никогда не забыть. Не с этого ли начиналось становление личности Алексея Константиновича Шустова, красивого человека, ученого, патриота, вся сознательная жизнь которого пронизана верностью Отечеству, личным достоинством и честью.

Детские годы Алексея Константиновича прошли в далеком бурятском селении Красный Яр, расположившемся у самого устья сибирской реки Селенги при ее впадении в «славное море, священный Байкал». Род Шустовых имеет русские корни. Еще в 18 веке сюда пришел их предок Николай, срубил дом на небольшом острове, женился на местной бурятке, родились дети и пошел род Шустовых, работающих, напористых, веселых. В их горячих венах смешалась славянская и бурятская кровь. Она бурлила неумейной энергией, жизнелюбием, стремлением к освоению сибирских просторов, впитывала в себя могучую красоту Байкала, музыку его высокой волны. Жизнерадостность, энергичность, творческий динамизм, унаследованные от предков, до сих пор отличают Алексея Константиновича Шустова, хотя ему исполняется немного-немало 80 лет. Он на трудовом посту. Его лекции в университете по курсу политологии наполнены интеллектуальным, эмоциональным напряжением,

будят мысль и активность студентов, аспирантов, обогащают педагогическим опытом молодых преподавателей.

Уроки трудолюбия, мужества, душевной щедрости и оптимизма давал молодому Алексею его отец Константин Васильевич, замечательный человек, труженик, семьянин. Рано овдовев, оставшийся с четырьмя детьми, младшему из которых не было и года, он взвалил на себя не только все домашние дела, но и стремился возместить ребятам своей заботой о них недостающую материнскую ласку. Он был для них и отцом, и матерью, и другом. Наверно, потому и не женился второй раз, что не хотел привести в дом мачеху.

В школу приходилось добираться на лодке. К этому времени на острове уже был хутор из нескольких домов, в которых жили разные поколения Шустовых. Ребята в те годы не только учились, но и были заняты трудом по хозяйству, в поле. В отличие от нынешних отроков они не могли себе позволить сидеть часами у телевизоров, вести компьютерные сражения. Их ждала иная судьба и другие битвы.

Семнадцатилетний призывник Алексей Шустов был направлен на Забайкальский фронт, где не было непосредственных боевых действий. Однако постоянной оставалась угроза нападения со стороны Японии. Психологическая напряженность ожидания у бойцов была огромной. В какой-то мере начавшиеся в августе 1945 г. в Маньчжурии боевые действия стали своеобразной разрядкой освободившей воинский порыв от «перегрева ожидания». Смелость, сибирский характер, сметливость молодого бойца были замечены командованием. Он был направлен на военные курсы в Ленинград. Став офицером, служил в гарнизонах в Красноярске, Смоленске, Муроме. Без отрыва от службы окончил военно-педагогический институт в Ленинграде, сдав в три приема экстерном экзамены за весь курс обучения. Началась педагогическая деятельность в военных училищах Горького, Костромы. А с 1963 г. по настоящее время — в Костромском педагогическом институте им. Н.А. Некрасова, ставшем затем классическим университетом.

Дар лектора и педагогическое мастерство, талант ученого и организаторские способности, высокие человеческие качества обеспечили А.К.Шустову авторитет и лидерство в вузовском коллективе. Были успешно защищены кандидатская, а затем докторская диссертации, опубликованы научные труды по проблемам истории российского села, современной политической культуры. Свою преподавательскую деятельность Алексей Константинович успешно сочетал в разные годы с руководящей работой в качестве декана факультета русского языка и литературы, иностранных языков, проректора по научной и учебной работе, зав. кафедрой политологии и др. Под его непосредственным руководством был построен новый корпус «В», определены перспективные направления развития вуза. К боевым наградам заслуженно прибавились орден Знак Почета, другие регалии.

Впрочем, он равнодушен к почестям. Лучшей наградой для учителя считает успех и благодарность его учеников. При активном участии А.К.Шустова подготовлены сотни и тысячи специалистов, пополняющих и сегодня и сегодня когорту российской интеллигенции. Горжусь и рад, что принадлежу к шустовской школе, давшей мне и многим моим коллегам путевку и благословение не только в науку, в творчество, но и в широкое жизненное пространство. Его мнения, оценки до сих пор непререкаемы для нас, а потребность в общении с ним стала необходимой составляющей любого творческого начинания.

Школа Шустова — это не только научная, педагогическая выучка, но и наука нравственности и чести. Порой она довольно жестка и нелицеприятна. В беде не оставит, в хорошем деле поможет, в сомнительном — попутчиком не станет, а правду всегда скажет в глаза. Активный общественник, русский патриот он не меняет своих гражданских позиций и сегодня.

Душевная щедрость Алексея Константиновича ярко проявляется и на работе, и в кругу друзей, и, конечно же, в семье. Кто не заметил его трепетного отношения к своей жене, обаятельной русской женщине Серафиме Васильевне. Отпразднована уже золотая свадьба, скоро — бриллиантовая, а будто у них сегодня первое свидание на Невской набережной при свете белой ночи. С какой любовью глядит дедушка на внука, ловит его улыбку, как отзвук своего далекого детства, которое давно затерялось в годах-снегах, но сегодня вдруг напомнило о себе и коснулось сердца, словно светлая байкальская волна. Но об этом лучше не прозой:

Плеснет на Байкале волна, как слеза,
И берега детство коснется,
И песня взлетит, и уйдет в небеса,
Да в сердце потом отзовется.
Сибирских просторов открытость и ширь,
Свет белых ночей над Невую,
Российская удаль и щедрость души
Повенчаны с Волгой-рекою.
Давно за спиною война и беда,
Но с Вами всегда на удачу
И честь офицера, и гений труда,
И добрая шутка в придачу.
Со славною датой поздравить придут
Коллеги, друзья и питомцы,
Стихи почитают и песни споют,
Поднимут красивые тосты.
Как солнце в окошке приветность жены,
По-шустовски внук улыбнется,
И отзвук далекой и светлой волны
Горячего сердца коснется...

Годовщина Победы

С каждым разом все меньше и меньше
Собирается в дни годовщин
Воевавших медсестрами женщин,
Их руками спасенных мужчин, —
Чьей отвагою в годы лихие
Мать-Россия была спасена.
На руках бы носить их России,
Да не может— больная она.
Оказались страшнее орудий,
Вражьи бомб и ракет для страны
Говорливые скользкие люди,
Ненасытные, как грызуны, —
И страна побороть не сумела
Слов коварных медлительный яд,
Но как люди не слова, а дела
Ветераны седые стоят,
Подпирая Россию плечами,
Чтоб не дать ей упасть и пропасть!
Суеются у них под ногами
«Крысовидные» в драчке за власть...

* * *

Развевает флаги вешний ветер.
День Победы празднует страна!
В прошлом веке, в том тысячелетье
Началась и кончилась война.

В прошлом веке, в том тысячелетье
Весь народ на битву выходил...
С каждым годом меньше их на свете —
Тех, кто воевал и победил!

Вот они идут — во всем параде,
Ослепляя блеском орденов,
И идут незримо с ними рядом
Тени их друзей—фронтовиков...

Хоть пройдут бесчисленные тени,
Ни травинки не пошевели,
На своей орбите в те мгновенья
Вздрыгнет от их поступи Земля!

Фотография солдата

Он позировал неумело
В девятнадцать неполных лет.
Фотография пожелтела,
А других фотографий нет.

Днем чудесным, погожим, летним,
Он попал под свинцовый град...
Сорок первый год стал последним
Для него и других солдат,

Необученных, желторотых,
В жесточайших павших боях
В белорусских глухих болотах,
В украинских сквозных полях.

Враг настырно к столице рвался...
Не считая горячих ран,
За Россию грузин сражался,
Дрался русский за Казахстан!

...С фотографии пожелтелой
Прямо в душу глядит солдат.
Отвою виновато взгляд —
Нет Союза. Такое дело.

...Всплыл во взгляде, прямом и ясном,
Легкой тенью вопрос немой:
— Неужели было напрасным
Приключившееся со мной?

Мне пришли на ум лишь такие
Незатейливые слова;
— Нет Союза, но есть Россия!
И надежда еще жива!

Плакала старушка

Возле обелиска, в День Победы,
В светлый час ликующей весны
Собирались прадеды и деды —
Горсточка вернувшихся с войны.
Выступали дети их и внуки,
Говорили нужные слова,
Тихо плыли реквиема звуки,
Зеленела свежая листва
И цвели отчаянно тюльпаны,
Землю раскаляя докрасна —
Словно проступала кровь из раны,
Что когда-то нанесла война.
Солнышко сияло. Пташки пели...
Там, где новый русский — дуролом
Обезглавил голубые ели,
А одну — под корень, топором, —
Плакала старушка — там, в сторонке,
От колонн людских невдалеке —
В темном неприглядном пальтишонке,
В темном, низко сдвинутом платке.
Высохшие слабенькие руки,
Выцветшие тихие глаза...
Взгляд исполнен неизбывной муки,
Устремлен сквозь слезы в небеса:
«Отняла любимого война,
Только мы успели пожениться —
Я с тех пор — ни баба, ни девица,
Ни вдова, ни мужняя жена:
Как забрали — вести ни одной,
И не приходили похоронки, —
То ли сгинул на чужой сторонке,
То ли где мытарится живой...
Я да кошка — вся моя семья.
Все родные помереть успели,
С мужем мы детей не заимели,
А других мужчин не знала я,
А других я от себя гнала,
Хоть жила и в голоде, и в стуже:
Смертный грех ведь — при живом-то муже,
Да, видать напрасно я ждала...

Все темней в глазах средь бела дня,
Солнышко давно совсем не греет,
Хоть бы уж прибрал Господь скорее,
Муж, поди, заждался там меня...
На судьбу свою я не ропщу,
Но хочу — уснуть и не проснуться,
Об одной лишь милости прошу:
Господи, не дай мне разминуться!»
Кто-то видел, кто-то не видал
Засияло жало обелиска,
И старушка поклонилась низко, —
Знать, Господь ей весточку подал...

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ ПАМЯТЬ

Мы вспоминаем судьбы своих ровесников на той далекой войне. Сегодня наши сердца отзываются сочувствием к истории жизни Соловьевой Татьяны Васильевны, которая много лет работала в нашем лицее.

Когда началась война, Таня закончила 6 классов на Полтавщине.

А тогда, в самом начале войны все сыны и дочери братских республик встали на защиту своего Отечества.

По первому призыву отец Тани ушел на фронт, оставив мать с тремя детьми. Таня была старше сестры и брата. Всем доставалось, но ей, как старшей, наравне со взрослыми. Вместе с матерью от зари до темна на быках они вспахивали землю, кормили фронтовиков. Когда Украину оккупировали немцы, выполняли все работы, которые были необходимы немцам. Иначе — расстрел.

Шел 1943 год. Май. Немцы вводили новый план: всю молодежь, которая оставалась в селениях, увозили в Германию, как бесплатную рабочую силу. Производили облавы на подростков, сгоняли группами к железнодорожным составам и в «телячьих» вагонах увозили в рабство. Тане однажды удалось убежать и спрятаться, но выдали местные полицаи. Вспоминая те события, она говорила, что от немцев еще можно было сбежать, но от местных полицаев нет.

В Западной Германии, в Бремене, через трое мучительных суток детей выгрузили, раздали в разные хозяйства работниками-рабами. На выданную рабочую одежду нашили знак «OST». По-немецки это означало «раб».

Таня была отдана в хозяйство немецкого фермера недалеко от города Бремена. Хозяйство было очень большое. Девочке-подростку приходилось тяжело. Она работала в паре с истощенным русским военнопленным.

С рассвета, с 4 утра, проехав 8 километров на велосипедах, нужно было накормить и выдоить 12 коров. Это делалось 3 раза в день. Столько же раз нужно было накормить два десятка свиней, 600 кур, 12 телят, 6 лошадей. Вычистить все помещения для скота. Не забыть Татьяне Васильевне как крутило косточки, как запекались кровью трещины на руках.

Давила неизвестность, страшное рабство казалось бесконечным. «Взрослый сын фермера все время издевался. Бог ему судья. Сам был хромой инвалид, а меня обижал при случае. «Мой русский раб» — твердил. Жить не хотелось».

Американцы бомбили районы Бремена. При очередной бомбежке на Татьяну упала сорвавшаяся с петель дверь. Был сильный ушиб головы, но с опухшим лицом и губами она продолжала, теряя сознание, работать.

Однажды собрали всю молодежь на площади. Там были узники разных национальностей: русские, евреи, поляки. Немцы опасались нападения американских войск, им нужно было избавиться от пленных. Некоторым узникам повезло, их выкупили богатые хозяйева-фермеры, среди них оказалась и наша Татьяна. Остальную молодежь увезли на остров, половину потопили, половину расстреляли.

Я слеза, я бегу по щекам твоим...
Я слеза, я бегу по рукам твоим...
Я слеза, я бегу по твоим рукавам...
Я слеза, я бегу по венам твоим...
Я слеза, я бегу по дорогам твоим...

Дочь Татьяны Васильевны Вера Геннадьевна Полозова вспоминает и рассказывает, как больно было смотреть на мать, когда она, рыдая и дрожа, воспринимала кадры кино: фашисты угоняют детей в рабство. Она буквально «здесь и сейчас» чувствовала себя в толпе перед вагоном...

Как будто землю убили...
Как будто солнце убили...
Как будто птицу убили...
Как будто душу убили...

Май 1945 год. Германия капитулировала. Освобождены измученные пленные, но освобождение было особое. Американцы русских пленников отправили в свои лагеря. И там еще четыре долгих месяца молодежь испытывала унижения, невыносимый каторжный труд в нечеловеческих условиях, пока не возник бунт среди пленных

против беззакония союзников. Только через четыре месяца детей-узников (вспоминает Татьяна Васильевна) начали переправлять в советскую зону. Восемь суток добирались они в эту зону.

Татьяна Васильевна через всю жизнь пронесла в своем сердце и памяти тот счастливый день 14 октября 1945 года. Их, уже повзрослевших детей, встречала Полтава. Неуверенно, с перехваченным от радости дыханием обнимали и целовали ее на перроне мать, брат, сестра. Отца уже не было. Он не увидел больше дочь, погиб на этой проклятой страшной войне.

Сильно пострадала, покрылась пепелищами земля... 200 дворов в родной Макарьевке были выжжены врагом. Люди, как ласточки, лепили из соломы и глины саман и строили небольшие саманные постройки в которых ютились и зиму 1945 года.

Но было у людей уже самое главное завоевание — Победа и мир.

Сообща, собирая все силы, люди работали в колхозе. От мала до велика, калеки, дети, старики сеяли, убирали хлеб, строили сообща дома-бараки. Помогало выжить подсобное хозяйство. Но голод и послевоенная нищета гнала людей в город в поисках работы.

Девушка Татьяна в Полтаве встретила своего будущего мужа Геннадия Сергеевича Соловьева — костромича. Геннадий Сергеевич 18-летним мальчишкой был призван в действующую армию на фронт из Сусанинского района. Прошел всю войну, дошел до Вены, был ранен.

В Полтаву попал на срочную службу и уже в 1949 году увез молодую жену Татьяну с Украины в Кострому.

У матери Геннадия было шестеро детей. Пятеро погибли, остался единственный сын, не сразу пришедший домой после войны. Геннадий Сергеевич и Татьяна Васильевна Соловьевы трудились оставшуюся жизнь, сознавая многие потери и утраты, все трудности послевоенных лет.

Но в 1975 году умер от ран Геннадий Сергеевич. Молодая вдова вырастила 3-их детей. Конечно, и на здоровье Татьяны Васильевны сказался коварный, фашистский плен.

Когда приезжали врачи скорой помощи, бедная женщина кричала: «Фашисты, не трогайте меня. Я хочу домой». Это кричала забывшая память.

Мы, лицеисты, гордимся тем, что в нашем лицее много лет работает бухгалтером дочь Татьяны и Геннадия — Вера Геннадьевна. Сохранилась-таки веточка жизни. Именно с верой выжили и пришли к победе, бывшая узница фашистского плена и награжденный медалями защитник Отечества.

Сегодня мы вспоминаем тех узников, которые выжили и смогли растить детей, и тех, кому фашизм жестоко оборвал жизнь в неизвестных точках опаленной земли.

Облачко мирное, легкое, тихое,
Светлое, чистое.
Полети по белу свету,
Поищи их могилы!
Встань над их могилами
Погладь их нежно-нежно,
Погладь их тихо-тихо,
И гладь их долго-долго!

P. S.

С прискорбным волнением дописываем свой рассказ.

Пока мы готовились рассказать вам историю девушки-подростка Татьяны Клочко, узницы германского плена, выжившей благодаря победе советских людей над фашизмом, угасла жизнь Татьяны Васильевны.

Редуют ряды свидетелей той тяжелой Великой Отечественной. Горсточка осталась тех, кто страдал за Родину, защищал ее...

Поклонимся им — и мертвым, и живым.

Ольга ПОВАЛИХИНА, учащаяся лицея №10

Александр Хлябинов

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

И в праздник чувства волком выть охота
От своеволия злого душ глухих...

Л. Попов

Первой из деревенских Варваре Степановне Гущиной встрети-лась молоденькая продавщица Маринка Лукина. Та бросила удив-ленный взгляд на осунувшееся после болезни лицо старушки, спросила участливо:

— Выписалась, баб Варь? Как хоть себя чувствуешь-то сей-час?

— Слава богу, пооклемалась немного, — переводя дыхание, отозвалась Степановна.

Маринка не случайно удивилась встрече с ней. После того как Степановна угодила в больницу с «сердечной недостаточностью», многие в деревне считали, что оттуда ей долго не выбраться. А может случиться и самое худое. Как-никак восьмой десяток Варваре

Степановне. С человеческим «мотором» в любом возрасте шутки плохи. А в ее лета особенно. Для самой Степановны диагноз врачей не был неожиданностью.

Откуда взяться этой самой «достаточности»? И в няньках девчонкой она состояла, и, повзрослев, трактор «СТЗ» осваивала. В войну на лесозаготовках ломила. Муж ее Василий погиб на фронте в сорок втором году. Сын с семьей живет на Украине. В последние годы навещает мать редко. Накладно стало ездить. Вон как жизнь-то вдруг перевернулась.

Она доковыляла до своей избы, вынула ключ из условного места, вошла в сенцы. Ее охватило прохладой, вздохнулось легко. В ноги, сыто урча, ткнулся кот Молчун. Степановна осталась довольна тем, как подомовничала без нее двоюродная сестра Валентина. Устало присела на табуретку возле голубой переборки. Но не сиделось. Какая-то смутная тревога не покидала старуху все то время, что она находилась в доме. Ноги как бы сами понесли к гуменнику, где Степановна высаживала картошку. Нынче из-за хворости она припозднилась с этой работой.

При виде открывшейся картины старушка так и остолбенела. Ее сосед Михаил, горожанин, живший в деревне наездами, припахал к своей земле межу. При этом отхватил и кусок картофельника Степановны.

— Матушка-заступница, царица небесная, да это что такое делается на белом свете? — запричитала Степановна.

Не переставая голосить, старуха побрела к жилью Михаила. Ее встретил увесистый замок на дверях. Хозяин, видно, укатил к себе в Кострому.

Отец Михаила, Павел Чернов, вернулся с войны израненный и пожил недолго. На руках его жены Клавдии остались трое мальчишек. Старшему, Мишке, тогда едва исполнилось десять, младшему, Колюнъке, — три. Клавдия тянула лямку в колхозе. Приходилось крутиться в поле, чтобы «палочки»-трудодни на бумаге поставили, да дома надо было успеть ребятишек обиходить.

Хоть и была Клавдия характером упряма да крепка, но не раз, бывало, прибежит к Варваре, ревмя ревет:

— Сил моих больше нет содержать своих сорванцов. Васька вот третий день школу прогуливает. Учительница приходила, мол, принимайте меры.

Варвара в то время после болезни (надорвалась, ворочая тракторные железки) работала в пекарне. Горсть муки иногда притащит соседке украдкой — все поддержка, каких-нибудь «олелюшек» та испечет.

Клавдия померла семь лет назад. Домишко без присмотра еще больше расхулился, земля пришла в запустение. Сыновья Клавдии в

разное время разлетелись из родных мест. Михаил работал токарем на заводе, Василий — мастером цеха на металлургическом комбинате, Николай плотничал в какой-то артели. Жили братья, по слухам, неплохо. Так вышло, что все вместе они собрались лишь на похоронах матери.

Два года назад возле избы появился Михаил, уже немолодой человек непримечательной внешности. Он и привел избу в более-менее божеский вид.

Как-то полушутя-полусерьезно он предложил Степановне сдать часть ее участка ему в «аренду». Мол, ей все равно не под годы как следует землю обрабатывать. В то время она отговорилась от назойливого соседа, а про себя подумала: «Экой прыткий до чужой-то землицы».

По правде говоря, Степановне на старости лет действительно стало тяжело содержать в порядке свой участок. Нынче она хотела пустить часть земли под покос. Вся выгода: не надо будет таскать сено для козы за полверсты. Только, видно, не зря люди молвят: «Загад не бывает богат». Вот что приключилось! Бессовестно поступил Михаил, не по-людски, не по-божески.

На другой день она плетухалась в сельский Совет с жалобой на самоуправство соседа. Переступив порог, встала в нерешительности.

Тощенькая большеглазая девчонка, не знакомая Варваре Степановне, остановилась возле нее:

— Бабушка, вы к нам по какому вопросу?

— По земельному делу я, милая, — смиренно, как человек, вынужденный отвлекать от дел занятых людей, ответила Степановна.

— Вам надо к Сергею Васильевичу. У него сейчас как раз комиссия по земле заседает. Подождите немного.

В стенах сельского Совета было сумрачно, душно. Из-за двери одной из комнат доносились возбужденные голоса.

Прихватив пододог, Степановна вышла на крылечко, присела на нагретые майским солнцем ступени. С дальних полей доносилось тархтение двигателя. Это напомнило ей ночной сон.

... Она управляет трактором. Позади остаются пласты свежевспаханной земли. Впереди, возле лесочка, видна фигурка парнишки в светлой рубашонке. Степановна силится разглядеть: кто он? Или это ее сын Санька, или большак соседский Мишуха? Они оба неравнодушны к технике. И не может признать... Глаза застилает то ли потом, то ли слезами.

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

Из цикла новелл

ПОРТРЕТ

«Никого со мною нет,
На стене висит портрет...»

А. Тарковский

Сколько себя помню, эта фотография в черной самодельной рамке всегда висела в нашем доме — сначала над кроватью деда, потом — матери. Увеличена она была давно, сразу после войны, в победном сорок пятом, с какого-то документа, куда обычно наклеиваются фото «три на четыре».

Почти пятьдесят лет со стены чуть испуганными, по-детски широко раскрытыми глазами смотрит в этот мир двадцатилетний, стриженный наголо солдатик в мешковатой гимнастерке. Его давно нет на свете, и не известна его могила. И ничего, совершенно ничего не осталось от солдатика на этом свете: ни детей, ни дома (не успел обзавестись семьей), никакой вещички (все давным-давно изношено и использовано, что и оставалось), никакого памятного знака — ничего, кроме этого портрета и похоронки, где сказано, что «пал смертью храбрых».

Давным-давно истлело то, что изображено на снимке. И эти подетки, с удивлением смотрящие на мир глаза остались лишь в черной рамке под стеклом. Но что меня всегда в детстве тянуло к этому портрету на стене? Почему и сейчас, заезжая в родительский дом, подхожу к портрету, и мы долго-долго смотрим друг на друга? Много лет назад умер мой дед, отец этого солдата, стала старухой его сестра, моя мать, и я, племянник, старше дяди более, чем в два раза, а он совершенно не меняется, ему по-прежнему двадцать лет, и старше он не будет уже никогда. И ничего я о нем уже никогда не узнаю: какой он был, о чем мечтал, чего хотел в этой жизни, — потому что дед всегда избегал разговора об единственном сыне, убитом под Сталинградом, а мать почти совсем не помнила брата — десять лет ей было, когда он ушел на войну. Помнит только: прозвище у него было не по-деревенски броское — Калинин (звали дядю — Михаил Иванович).

Ночью в родном доме, когда долго не могу заснуть, или когда вдруг непонятно почему просыпаюсь, и в лунном свете, и во вспышках зарницы, и в тусклом блике уличного фонаря я вдруг

вижу устремленные на меня со стены глаза молоденького солдата с навечно застывшим в них безответным вопросом: «Почему? Почему я?» Невольно вздрагиваю, как будто неожиданно уличили в чем-то не совсем хорошем, и щемящее чувство непонятной вины наползает на сердце. Видимо, давно прошедшая война, вернее, эхо той войны таким странным образом отзывается во мне.

ПРАВАЯ РУКА

Николай Васильевич пошел навестить своего бывшего зятя Михаила (сестра Николая Васильевича лет десять назад бросила Михаила и уехала в Архангельск — потому и бывший зять). Тот доживал последние дни: рак легких. Что скоро умрет, знали и родственники, и соседи, знал и сам Михаил, был он слаб, но спокоен, принимал смерть, как неизбежность.

В тесной барачной комнатке было душно, пахло лекарством и еще чем-то кислым. Больной лежал у занавешенного окна, необычно худой, бледный, с заострившимся носом, один, жена Настасья ушла к соседям. Поговорили о здоровье, о погоде, еще о каких-то пустяках — Николай Васильевич засобиравшись уходить и, когда уже шагнул за занавеску, отделявшую прихожую от «передней», услышал слабое, выдавливаемое с трудом, со свистом:

— Эт... Колюшка... умру я не сегодня-завтра...

Николай Васильевич остановился, резануло «Колюшка», такое давно забытое, но знакомое, из прежней жизни, когда они еще были родственниками и гостились, и подвыпивший Михаил всегда называл его именно так — «Колюшка»: любил шурина за ум и порядочность.

— Умру..., а на память и дать тебе нечего... — с хрипом и бульканьем доносилось от окна. — Там над дверью, на полке, голицы... возьми хоть их...

Николай Васильевич хотел было возразить, мол, что ты о смерти, жить надо, еще выкарабкаешься, себе голицы пригодятся, у меня есть, но промолчал, понимая ненужность, неуместность любых слов, заглянул на полку.

— Там получше которые... посмотри... чтоб обе были, — хрипел с кровати Михаил.

На полке среди разного хлама Николай Васильевич увидел две аккуратно сложенных стопки голиц, взял одну не глядя и толкнул дверь...

Михаил умер через три дня. Похоронили его за шестьдесят километров от поселка, в родной деревне, где была похоронена мать: так решили вызванные телеграммой сыновья. Николай Васильевич

на похоронах не был, приходил попрощаться, когда выносили Михаила к машине.

О голицах вспомнил лишь осенью, во время работы в огороде. Взял пару — она оказалась несшитой, надел одну на правую руку, взял другую — и она оказалась правой. Взял следующую — та тоже оказалась правой. Перебрал все (всего их было шесть) — все были на правую руку. С минуту он тупо смотрел на голицы, потом сел на ступеньку крыльца, тяжело вздохнул и достал папиросу. «Ах, Минька, Минька! Вот ведь как бывает, не сразу и сообразишь». Понял Николай Васильевич, что не ту пачку он тогда с полки взял, не ту, где были нормальные пары, а вот эти, с правой руки, потому что левые-то Михаил сам использовал, а правые, ненужные, откладывал, калек он был, однорукий, правая-то рука, почти по локоть, где-то под Смоленском осталась, изуродованную миной отрезал ее хирург полевого госпиталя.

ОСКОЛОК

Когда я приезжаю в деревню навестить оставшихся в живых родственников, обязательно захожу на кладбище, где нашли последний приют мои деды и бабки, дядя и тетки, где под елками и берегами лежат многие из тех, с кем я рыбачил и охотился, учился в школе, пил водку и спорил, ходил на гулянки и дрался, кого хорошо знал, чьи рассказы слушал долгими зимними вечерами. Среди этих неброских могил сельского кладбища есть одна, к которой я обязательно прихожу, чтобы просто постоять, вспоминая человека, лежащего под витым металлическим крестом с табличкой-чеканкой (работа старшего сына покойного) «Чистов Иван Николаевич, 1925-1985». Не случайным был на земле этот человек, но преждевремен- на и вроде бы случайна была его смерть.

На войну Чистов ушел в семнадцать лет, был парашютистом-десантником, награжден тремя орденами Славы, трижды ранен. Мастер-столяр, каких надо было поискать в округе. Вся мебель в доме-пятистенке — от табуретки до резного комода — была сделана его руками. Он мог быстро и качественно изготовить легкие красивые лыжи, которые были лучше и прочнее магазинных, конные сани и кошовки на узких стальных полозьях, бочки и кадушки любых размеров, высокое трюмо и изящное настольное зеркальце. Держал пасеку и во время медосбора кормил соседских ребятишек янтарным пахучим медом. А каким великолепным рассказчиком был Иван Николаевич! Сколько он знал удивительных смешных и грустных случаев и историй! Много мне в жизни приходилось слушать всяких байщиков, но никто из них не владел живым русским словом так, как Чистов.

А умер он глупо и случайно, хотя здоровьем обладал завидным: по больницам не валялся, больничных листов не знал. Но так уж издавна повелось на Руси, что мастеровой человек с хорошим здоровьем часто становится запойным пьяницей. Он может работать как проклятый, без выходных и праздников, потом наступает такой момент, когда надо обязательно пропустить рюмку-другую, иначе и жизнь не радует, а это приводит к недельным запоям. Такой болезнью страдал и Иван Николаевич. Случалось это обычно после больших престольных праздников, которые отмечались у нас в деревне. На третий день после Троицы Чистов уже ходил по домам, собирал рюмки. А поскольку вся деревня пользовалась услугами столяра и за работу он брал мало, его не обижали, подносили. Жена Чистова Анна начинала браниться с соседями, просила не поить (а как откажешь хорошему мастеру, к которому еще не раз придется обращаться?). На некоторое время Чистов пропадал: его запирали дома, потом опять появлялся на деревенской улице, косматый, сгорбившийся, но одетый по-праздничному, и опять был пьян. И тогда наступал этап физического отрешения от запоя. Я сам однажды видел, как Анна, доведенная пьянством мужа до бешенства, пинками катала его по полу, предварительно связав веревками (благо бывший десантник ничего не соображал). Под ударами валенка Иван Николаевич только охал, не ругался, не матерился — охал. Хотя запои наступали с неотвратимой последовательностью примерно раз в три-четыре месяца, Анна с той же последовательностью и, как всегда, безрезультатно, «воспитывала» мужа. Однажды такое «воспитание» закончилось трагически. Где-то внутри у старого солдата сидел осколок от немецкого снаряда. В полевом госпитале извлечь его не смогли, с ним и жил Иван Николаевич, осколок не беспокоил.

Но тяжелый удар Анны — а надо сказать, женщина она была высокая и плотная — сдвинул осколок, и, не приходя в сознание, через день Чистов умер...

Я стою у витого креста под березкой-говоруней, шелестит она молоденькими листочками, что-то передает оттуда мне, только понять не могу, что, и думаю о том, как иногда непредсказуемо, через много лет, может напомнить о себе война: как мина замедленного действия был тот осколок, как неожиданное эхо давно забытого боя.

ГОД РОЖДЕНИЯ — 1945

Лирические этюды

ПРОЩАЛЬНАЯ БЕРЕЗА

Теперь той березы нет. Ее не срубили и не спилили, просто пришел срок и дерево умерло. А помнят о нем многие. Чем же знаменита была береза? Почему не «венчальной» или «свадебной» ее прозвали, а именно «прощальной»? Тысячи раз пробежал я бо-сиком мимо шершавого кривого ствола и столько же раз проскакал верхом на ольховой палке, пока не задал этот вопрос бабушке.

— Да прощались прежде возле нее, — сказала она. А кто и с кем — не сказала.

В то лето в большой бабкиной избе гостили дальние родственники из города. Прошел месяц, и мы пошли провожать гостей. Я нес тяжелое ведро с медом, а бабка корзинку земляники, которую мы набрали утром на просеке.

На дальнем краю поля, облитая воском закатного солнца, как оплывшая свечка, горбилась береза. Тут мы и простились. Перекрестила всех бабушка вслед, и пошли городские к перелеску, а мы остались стоять под березой.

— Давай-ка посидим, сынок. Ноги устали. — На, поешь, — сказала бабка и протянула мне сдобную витушку. — А тогда осень была, когда я моего-то на последнюю войну провожала. Тут и сидели напоследок. Развязала, помню, узелок... Витушек ему на дорогу испекла, только оржанных. Голодно уже было. И он не ест, и я на него гляжу. Так и не взял с собой витушки-то. Унеси, говорит, ребятишкам. Кусок застрял у меня в горле. Я во все глаза глядел на бабку и боялся, что она заплачет. А она не заплакала.

Солнышко уже цеплялось за острые макушки елок, становилось темнее. Бабушка сняла с головы платок, чтобы повязать поудобнее, и я впервые увидел, что она такая седая. Солдаты, обнимавшие здесь на прощание своих жен и невест, целовавшие по очереди малышню и не пришедшие с войны, так и не знают, что береза умерла. До этого места меня всегда провожает бабушка, когда бываю в деревне. Мы долго сидим на упавшем стволе, потом прощаемся. Я не оглядываюсь, но знаю, что вдогонку она три раза перекрестит меня рукой, которая стала заметно трястись, и заплачет.

ПОГРЕМУШКА

Отцу довелось побывать в Харьковском «котле» и выйти целым из немецкого окружения. А вот на Курской дуге не повезло — его насовсем выбили из строя. Осколок изуродовал правую руку от кисти до локтя. Вопрос стоял об ампутации. Руку, правда, ему оставили и, даже не долечив, отправили домой. Наверное, рассудили так: на фронт он уже не годится, чего ради занимать койку в госпитале. Если хуже будет — руку и дома оттяпают. И вот вернулся солдат. Рука заживала медленно и долго еще была, по словам отца, как подушка. А в деревне лежать было некогда, в те годы колхозники вообще работали словно каторжные. Из гноящейся раны периодически выходили осколки раздробленных костей. Один, как рассказывала мать, он ухватил за вышедший кончик зубами, выдернул и... потерял сознание от боли. Все эти косточки отец складывал в пустой спичечный коробок. Когда я родился, это была моя первая погремушка. А вот медалей у него не было. Ни одной.

До сих пор «награды находят героев». Но отца они уже не отыщут — он умер, не дожив двух недель еще до 50-летия Победы. Он был смелым, мужественным и гордым человеком, никогда не хаял время, в котором довелось жить. И о медалях особо не тужил, тем более, в первые годы войны они не сыпались на грудь: отступали да оборонялись... Однажды, поздравляя его с Днем Победы, на открытке я написал:

Кто как, а мы чаем
Праздник отмечаем,
Любимый напиток
По кружкам разлит.
Не под медали
Грудь подставляли,
Теперь под медалями
Сердце болит.

И он все понял и оценил. Некоторые ребятишки играли отцовскими медалями, у меня была другая побрякушка — спичечный коробок, где постукивали костяные осколки.

Что нам сделается!

Не так много фотографий у настоящих фронтовиков. Многие вообще не только «не попали в кадр», но и пропали без вести. У моей матери хранится всего одна отцовская фотокарточка времен войны. Он прислал ее из госпиталя, с берега Каспийского моря. Там его раздробленную в Курском сражении руку лечили в Махачкале и Баку. На фотографии они в больничных рубахах вдвоем с другом. Отец часто вспоминал его после войны, пытался разыскать. Рассказывал о том, какой гостеприимный южный народ: всяких фруктов и ягод раненые наедались «от пуза». И о том, как на базаре «старожи-

лы» госпиталя научили его подразнить верблюда. Ну, а тот в него плюнул. И попал, куда надо.

На фотографии друзья улыбаются. Друг, он был постарше, более сдержанно, а отец — очень открыто. Еще мгновение — и он засмеется. Улыбка у него была не хуже знаменитой гагаринской.

Вот, гляжу на этих молодых, но уже много повидавших русских парней и мне вспоминается знаменитое стихотворение Бориса Корнилова «Качка на Каспийском море»:

Что нам сделается, если
Наши зубы, как пена, белы!
И качаются наши песни
От Баку до Махачкалы.

Так и представляю себе этот госпиталь. 1943 год... Баку... Далеко еще до Победы, а они смеются. Что нам сделается!

«ГРУСНЫЕ ИВЫ СКЛОНИЛИСЬ К ПРУДУ...»

Пение у нас вела та же учительница, которая преподавала все остальные предметы. И только, наверное, в пятом мы изучали уже нотную грамоту, и все предметы, как и пение, вели разные учителя.

Класс у нас был маленький, человек пятнадцать. Перед выпуском в средней школе райцентра было всего два десятых класса. А перед нами шел класс 1944 года рождения, так тот вообще был всего один: ни «А», ни «Б», ни «В». Мало нас ребят военных лет.

Итак, урок пения, третий или четвертый класс. Нам было дано задание разучить и спеть песню, которая бы и самим нравилась. И вот выходит небольшая ростом девочка в школьной форме, с косичками, и запевает:

— Грустные ивы склонились к пруду...

Я не помню всю песню. Речь там идет о том, что враги напали на нашу пограничную заставу. Идет неравный бой, остается живым всего один воин.

Трудно держаться бойцу одному,
Трудно атаку отбить.
Знать, на рассвете придется ему
Голову честно сложить.

Затих в классных стенах девчоночий голосок, наступила звонкая тишина. Тогда не принято было аплодировать. Учительница поставила ей пятерку. Надо сказать, что девочка эта нравилась многим мальчишкам, но ее брат-старшеклассник частенько навевался к нам по переменам: не обижает ли кто сестренку? Заигрывать с этой серьезной девочкой побаивались. Стала она потом учительницей и даже начальницей учителей.

«Пятерку» заработал и я. Спел «Варяга», которого знал и любил с детства.

Многие, наверное, смотрели фильм «Командир счастливой шуки». Там на концерте для моряков худенький мальчик поет: «Вставай, страна огромная!». Я смотрел эти кадры, вспоминая свой класс, и то, как, волнуясь, пел у классной доски своим товарищам:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пошады никто не желает!

Вот такими мы были, такие песни пели. Мы — дети победителей.

Светлана Виноградова

Вдовье

Дети всхлипывали негромко.
Бабы плакали-голосили.
Похоронка за похоронкой —
Шла война по моей России.

... А деревня звалась Невестино.
На лугах — медвяные росы.
По утрам спокойно и весело
С песней шли мужики на покосы.

Возвращались домой усталые —
Травы в этих краях густые.
Улыбались губами алыми
Им Прасковьи да Евдокии.

Улыбались... Да вдруг нахлынуло.
Тишина показалась громкой.
И ушли мужики. И стинули.
Похоронка за похоронкой...

В той избе уж вдова и в той.
И у каждой напастей вдвое.
И деревня сама собой
Стала зваться иначе — Вдовье.

А вокруг — леса порыжевшие,
В окна ветками бьют березы.
Евдокий глаза постаревшие,
Да Прасковий горькие слезы.

... Вдовье, Вдовье! Тишь деревенская,
Снова травами пахнет тонко.
А в укладках с нарядами женскими —
Похоронки, лишь похоронки.

Ольга ГУССАКОВСКАЯ

СКАМЬЯ

повесть



Продолжение темы

Первые главы повести опубликованы в альманахе «Кострома» год назад. Новые бытовые эпизоды складываются в трагедийный сюжет, обусловленный обстоятельствами сурового времени и особенностями отношений между людьми, вырванных из привычного образа жизни... Дора с двумя детьми вернулась в тихий купеческий городок, где прошла ее молодость, где осталось ее с Иваном счастье...

* * *

Станным, плоским, новым и обезглавленным показался сам город. Конечно, еще при Иване начали скидывать кресты с церковных колоколен. Но к чему это приведет, Дора как-то не думала. А теперь город лежал перед нею, как блин на тарелке, и это угнетало.

Хмурая райисполкомовская тетка с надкусанной «беломориной» в углу рта смутно показалась знакомой. Расправить бы глухие морщины возле губ и на лбу, стереть бурю усталости со щек.

— Революта! Неужто ты?

— Господи, Митродора! Смотри-ка, и все еще красивая! Видно, не по-нашему жила...

Обнялись прилюдно на зависть просительницам.

Нянька Христья, лихо сменившая когда-то имя, сменила и судьбу: вышла в начальницы.

— А... — хотела спросить Дора о других, но Революта подняла руку предостерегающе.

— Не надо ни о ком спрашивать! После! Хорошо, чу вовремя приехала: пока еще найду тебе и угол, и работу. Есть тут одно семейство... недобитое. Потеснятся! А где Иван?

— Погиб на финской...

— Вона как... Спасся, значит! — скривила странно губы. — Везунчик! Всегда таким был.

Только тут заметила стоявших за Дориной спиной Алину с Димкой.

— Твои! — кивнула утвердительно. — А у меня вот ни двора, ни семени.

Оглянувшись, увидела зияющие от любопытства бабьи рты, смолкла.

Дора тоже опомнилась и как-то враз увидела, что находятся они в комнате, до отказа набитой столами и людьми. Что даже на стенах, почти напротив друг друга, висят два одинаковых портрета

Сталина, а единственная пишущая машинка вытеснена со стола на широкий подоконник. Возле нее — поллитровая банка, полная окурков. Тесные, берегущие зимой тепло рамы старых окон распахнуты настежь, но дышать в комнате все равно нечем.

— Иди к Котомцевым, устраивайся, а попозднее ввечеру захо-ди ко мне, поговорим. Поди-ка, адрес-то помнишь? В вашей с Ива-ном квартире живу...

Котомцевы... Тем, кто в городке хоть когда-то жил, дорогу к их дому показывать было не надо. Деревянный особняк с двумя рас-кидистыми верандами и все еще большеглазными окнами, в кото-рых некогда красовались цельные «бемовские» стекла. Два столетия необычная эта дворянская семья поставляла краю бунтарей, муче-ников и земских учителей.

В революцию Вадим Котомцев, красивый гимназист шестнад-цати лет, первым ворвался в казарму отведенного в тыл на отдых полка. В руке, неистового повстанца сверкал серебром и перламут-ром дедовский дуэльный пистолет. Испуганный часовой-новобра-нец застрелил юношу наповал.

Революционная общественность похоронила надежду семьи Котомцевых в сквере на центральной площади, даже не поинтересо-вавшись, хотели бы того или нет родные Вадима?

Как и в молодые Дорины годы, на могиле в сквере паслась блудня-коза, серая, с обломанным рогом. Трава, что ли, там росла особо приманчивая? Из прошлого Доре помнилась коза белая, уша-стая, еще поповского завода. Молока те поповские козы давали не меньше худой коровы. Да, видно, и они перевелись. От серой этой пакости молока не жди, одни огородные потравы.

С текучими, случайными этими мыслями Дора незаметно дош-ла до памятного дома Котомцевых.

Крыльцо осело, одной веранды не стало, а у другой желобом прогнулся щелястый пол. Окна по-прежнему велики, но старчески смотрят на улицу мелкими сборными стеклами.

На первый же стук открыла высокая белесая девочка Алини-ных лет. Глаза неразлично плавают за толстыми стеклами сильных очков.

— Здравствуйте. Вы эвакуированная? — сказала без изумле-ния. — Проходите, пожалуйста, я сейчас бабушке о вас скажу.

Чья бы это у них, подумала Дора и вспомнила, что у Котомце-вых, кроме блестящего Вадима, был и второй сын, Леонид, тихий любитель цветов и птиц. Не иначе — его дочка. Да, видно, в отца задалась лицом. Тоже был подслеповат.

Бабушка, Елизавета Аркадьевна, только пожала покатыми плечами.

— Раз направили к нам — живите. Время тяжелое. Бог даст, беда ненадолго, а коли нет — уж и не придумаю, как будем существовать дальше.

— Бабушка, ты обещала мне бога не поминать! — строго напомнила внучка. — Бога нет!

— Да, да, Танюша, конечно, — закивала та покорно. — Уж прости, все забываю, голова кругом.

Дора утроилась в комнате, выходявшей на уцелевшую веранду. Сразу сообразила, что тут — лишняя полезная площадь прибавляется. Дети тоже, как котят, первым делом на веранду из окна выбрались.

* * *

А вечером Дора сидела за столом с початой бутылкой водки и не по-женски сборной магазинной закуской.

Сама только пригубила рюмку, а Революта махом опрокинула одну, да и вторую не задержала в руке.

— Видно, это я тебя и ждала, подруженька, чтобы поговорить, освободить душу, — сказала медленно, тяжело. — Здесь-то не с кем. Донесут. Конечно, и ты можешь... Но помню я тебя, девка, честной, на то и положусь. Опять же, довелось тебе жить там, куда мы не залетывали. Авось да объяснишь что? Голова ведь разламывается. Мишку-то моего помнишь? Ну, как, поди, забыть — частушки-то кто пел у нас? А ты — насупротив. Ревновала я — даром, что ты Ивана любила и все это видели.

За частушки его и взяли. Я тогда в области, в совпартшколе училась. Думала: вот закончу, вернусь, мы и поженимся. Ан не тут-то было!

Да, видно, частушек-то мало показалось, или еще что, но вызывает там, в области, меня следователь. Карманный мужичок, сам слаще рафинада, а глаза — два черных дула. Обжалел со всех сторон меня, горюху, за то, что с таким опасным человеком водилась, да и говорит: «Остается вам для полной вашей реабилитации в глазах советской власти одно. Рассказать подробно все, что знаете, о взаимоотношениях Михаила Советова с немецким шпионом Таннбергом». Сразу-то я и не поняла, о ком речь. Потом сообразила: это же «Каспаршлих»! Один он немец-то у нас и был, старенький уже старичок-учитель, давно на пенсии, его еще до революции гимназисты прозвали «Каспаршлихом»... Верь не верь — нутром поняла: не может такой шпионом быть! Стар и глуп, а уж Мишке возле него и вовсе незачем ходить. Так бы и написать, да...

Революта замолчала, опустила голову и долго водила пальцем по стертой клеенке, размазывая каплю водки. Усмехнулась недобро и сухо:

— В общем, подтвердила я все, что тот мужичок с ноготок написал. Сама! Не арестованная, не битая... Больно уж небо за окном было синее... Еще и пух по нему тополиный летел. Теперь живу

и думаю: а есть ли в этих всех делах вообще хоть какая-то правда? Ведь из компании-то нашей давешней одна я на свободе хожу... Почему — сама не знаю. Ну, какими словами одаришь, подруженька столичная?

Доре что было говорить? Попыталась рассказать про свою городскую жизнь с Иваном. Скоро поняла: не получается. Слов не найти. Посидела еще немножко в тоскливой бессловесной неловкости, поблагодарила Революту за добро и доверие, да и пошла домой.

Напоследок пообещала ей Революта место по нынешним временам золотое — на хлебозаводе. Так уж Дора не шла по улице — летела: хоть Алину утешить, порадовать, что жить и здесь будут они хорошо, в довольстве. Димке говорить — что воробью за окном. Не поймет. Но и Алина новости не больно обрадовалась, точнее, не услышала мать.

Застала ее Дора возле оглушительного рояля. Алина наигрывала по памяти все, что слышала в доме Клео. Белесая тихая Таня ошеломленно слушала. Строгая бабушка морщилась, как Доре показалось, привередливо и сухими желтыми пальцами подправляла такт. Алина в упоении ни на что не обращала внимания. Она играла!

Что были ей материны маленькие победы и большие невзгоды?

Ни о чем и ни с кем Дора в тот вечер так и не переговорила.

...С того дня и пошла, захлопала «бурками» по распутице, босякими пятками по каленому солнцем булыжнику — тыловая военная жизнь. Надрывная, беспросветная, возвышенно-лозунговая и тайно-вороватая.

* * *

Опять Дора угадала верно: спасла тем, что пошла на хлебозавод, и детей, и себя от голодухи.

И прежде было принято в тех местах выпускать детей на двор «с куском» пирога ли, белой булки — чтобы видели соседи достаток и сытость.

В войну стал тот же кусок, хоть черный, свидетельством благополучия, превосходства. Дорины дети выходили на двор с куском посахаренным. Чего бы это ей ни стоило.

Алина тем куском заманивала. Дима — ссорил. Но в детские дела кто тогда вмешивался? Жизнь пошла такая, что год от года не отличался, не то чтобы день ото дня. И все-таки понедельник, когда ее вызвали в школу по поводу Алины, Дора запомнила.

А все Котомцевы... Исходила от этих людей неопределенная, но словно бы угрожающая сила. Природу этой силы Дора понять не могла, но почему-то хозяев дома побаивалась. И сторонилась.

Не то — Алина. Дора видела: любой ценой доченьке не только хочется стать в этой семье своей, но еще, кровь из носа, превзойти Татьяну!

Хотя вроде бы и завидовать-то бледной этой немочи не в чем. Зануда очкастая. И не угодить ей никак.

Доре нравилось, как Алина играет на рояле, а Таня:

— Ты не знаешь счета, нужно начинать с гаммы...

Подумаешь, сама-то больно хорошо играет одно и то же, одно и то же!

Алина:

— Я больше твоего книг прочла за четверть!

Татьяна:

— Что толку? Ты же не помнишь ни автора, ни названия... А надо помнить. Мне папа говорил. Иначе, что у тебя в голове останется?

— Все равно я больше тебя книг прочла! — строптиво ответила Алина. — А что мне надо помнить — я помню! Ты просто завидуешь мне!

Дора тогда мысленно похвалила Алину: молодец дочка, обрезала гордычку!

Вообще-то Дора редко видела девочек вместе. Взрослых Котомцевых — тоже. Однако, казалось ей, что большой, медленно и печально умирающий дом из прошлого брезгливо сторонится и напористой Алины, и взрывного Димки, и ее самой — с теплой хлебной сыростью под рубашкой.

Со всем этим Дора и пришла к тому школьному понедельнику.

Предшествовало ему одно событие, вроде бы вовсе незначительное ... Утром Дора мыла полы — выкроила времечко перед ночной сменой. Из так называемой «гостиной» неслись лихие раскаты рояля: играла Алина. Похоже, чего-то киношное, завлекательно-душевное. Дора слушала с удовольствием.

Но вдруг рояль смолк и раздался величественный голос Елизаветы Аркадьевны:

— Алина, этот инструмент предназначен для игры, а не для барабанного боя. Ты — музыкальна. Почему ты не хочешь учиться игре как следует? Таня охотно тебе поможет поначалу.

— Я не нуждаюсь в помощи! Я сама знаю, что мне нужно!

Крышка рояля хлопнула сердито.

Ну, опять показала характер доченька, мирно подумала Дора. Ну, язва египетская! А только оно, пожалуй, и неплохо по нынешним временам.

Через неделю ее внезапно вызвали в школу.

В тесном и слепом кабинетике завуча, где окна, наверное, с начала войны не мылись, Дора застала незнакомого, вроде как бы сплошь серенького, мужичка.

Он один был спокоен и смотрел на Алину со странным выражением поощрения и неприязни. Глазки-то у него, за стеклами очков, поблескивали умно и неуютно.

Брыластое от голода лицо завуча, Анны Демьяновны, мелко дрожало.

— Так ты продолжаешь утверждать, что твоя подружка...

— Она мне не подружка! — отрубила Алина. — Я с врагами народа не дружу!

— Ну, скажем: девочка, с которой ты сидишь за одной партой, — тихо, ровно заговорил серенький, искоса при этом глянув на крохотную записочку, — девочка, по имени Татьяна Котомцева, допускала в твоём присутствии антисоветские высказывания. Так?

— Да! Так! — Алина пылала.

— В чем же это выразилось конкретно? Что она говорила?

— Она сказала, что товарищ Сталин хуже Ленина! Что... Что, — Алина чуть запнулась, ища слова, — что он пишет хуже Ленина!

Анна Демьяновна всполохнулась от ужаса:

— В нашей школе! Такое?! Котомцева?! Не может быть!

— М-да... М-да... — протянул серенький. — Однако, вряд ли она сама до всего этого додумалась. Как ты полагаешь?

— Это ей отец так сказал! — подтвердила Алина.

— Отец? Ну, да, конечно... Котомцев, младший... Леонид Котомцев...

Дора не могла понять, что происходит. Видно ей было одно: чем больше рвалась в бой Алина, тем приметнее гасил ее этот странный школьный посетитель.

Видимо, что-то и Алина почувствовала.

— Вы мне не верите?! Честное пионерское, под салютом всех вождей! Она говорила! И отец ее говорил! Мой папа был чекист, он боролся с врагами народа! Я тоже хочу.

— Безусловно, безусловно! Спасибо тебе за бдительность, во всем разберемся.

Обернулся к Анне Демьяновне.

— На совет дружины, как просила Алина, выносить эту историю не надо. Мы пойдем своими путями. Будет лучше, если пока об этом разговоре вообще не узнает никто. Поняла, девочка?

Алина подтверждающе кивнула.

— Да. Я буду молчать, раз так надо.

— А вы, мамаша, поняли?

Дора хоть и не до всего дошла, но тоже кивнула готовно. Зудила-то ее иная мысль: это что же получается, можно хорошего жилья лишиться? Котомцевы-то, поди-ка, не простят...

Но проскочила неделя, другая и третья, а ничего не произошло больше!

Алина мрачнела день от дня, лицо обезумянилось, обтянуло скулы, но — молчала. Таня, точно как прежде, читала, лежа на проваленном диване. Либо, склонив прилежную голову в жиденьком венчике кос, гоняла по роялю однообразную россыпь гамм.

Только бабушка, Елизавета Аркадьевна, перестала здороваться с Дорой. Как отрезала.

Татьяниного отца внезапно послали на «трудовой фронт»: весенний сплав леса. Что он мог там делать, хилый и полуслепой?

Всех посылали, не его одного, но, ох, вертелось у Доры в голове мыслишка: а вернется ли он с того лесосплава?

Вернулся. Живой, но с тяжелейшим ревматизмом. Что, опять же, было не в диковину. В доме с тех пор всегда остро пахло муравьиным спиртом.

Алина словно бы немного отошла, лицо посвежело и снова зарумянилась. Только к роялю она больше не подходила.

* * *

Прибрела с трудом, нехотя вступала в силу последняя военная весна. Все знали, что последняя: по делам на фронтах.

Перекидчивым, не зимним, не весенним вечером, когда уже не грело дневное солнце, но еще и ночной морозец не успел прихватить ледок, Дора возвращалась со смены. Располованная вдоль буханка привычно липко и тепло льнула к телу под рубахой. Все бабы на заводе так хлеб выносили...

— Ай, знакомых не признаешь? Зову, зову...

Дора очнулась от тягучих вечерних мыслей, оглянулась.

Революта! Сразу видно: пьяненькая и «в струне». За эту-то вот «струну» год уже как вылетела она из райисполкома и чего-то теперь делала в конторе пригородной МТС.

— Извиняй, устала, вот и не заметила тебя, — ответила Дора вполне искренне.

Революта почувствовала эту искренность, опустила злые плечи.

— Оно, конечно, и твоим ворованным хлебушком с детками прокормиться непросто. Да не дергайся! Ровно я не знаю, что все вы хлеб-от ташите с завода? Не тобой начато, не тобой и кончится... Живи!

Смотри только лучше за девкой своей. Хороша больно! А хочет больше себя! Завистная... Впрочем — твое дело. Я пошла.

И убрела, растаяла в нетерпеливо сгущающейся тьме. Зачем только окликала-то?

Дора в прихожей скинула ватник. Прошла в комнату, мельком увидев спавшего на топчанке Димку и не приметив нигде Алины. Задрала рубаху и начала отлеплять от тела клеклую хлебную мякоть.

— Воровка! Сука! — словно пастушым бичом по голове, хлестнул Алинин крик. Лицо без кровинки, глаза — угли нестерпимого жара.

— Ах, я — воровка?! Я — сука?! Сдохни, гадина! Сдохни! — Дора закатила Алине такую плюху, что мгновенно опомнилась от страха: что же я наделала?

Алина не закричала. Шатнулась только молча, но устояла на ногах. Еще шатнулась и так, еле-еле, побрела на кухню.

Дора опрометью кинулась следом.

— Доченька, родненькая! Прости ты меня, окаянную! Господи, да разве я для себя стараюсь?! Ведь для вас же, для вас! Никого же у меня нету больше!

Алина жутко медленными движениями смывала с лица кровь под скупой струйкой рукомойника. Молчала.

Так Дора и не добилась от нее ни взгляда, ни слова. Ни в тот вечер, ни на следующий день, ни за многие последующие дни.

Хлеба Алина съедала ровно столько сколько выдавали по карточкам. Сама ходила в магазин. Сама делила пайки. И с куском больше во двор не выходила. Впрочем, и Димкин кусок почему-то перестал манить и ссорить детей.

* * *

Ничего не случилось. Никто не тронул Котомцевых. Но Дора чувствовала: ее и детей словно кто-то невидимый и сильный отгородил от остальных людей прозрачной, но непроницаемой стеной. Все видно, все рядом, а ничего не ухватишь.

Однажды вечером, одичав от молчания дочери, пошла к Революте. В милой сердцу когда-то комнате царил бардак. Кажется, ни одной не битой и не загаженной посуды не осталось. На столе — черт-те каких времен обеды. Сама — на расхристанной грязной постели, и на полу — окурки горкой. Но — трезвая.

— Чего пришла-то, подруженька? — спросила тускло. — Пятки прижгло?

— Прижгло! Прижгло! А за что прижгло-то? — возмутилась Дора.

Революта повернулась, глянула тягуче.

— А ты никогда себя не спрашивала: по уму ли, по грамоте получил Иван новую должность? Не за другое ли что взорлил? Жадный был, хитрый и скорый. Думал, поди: не все ли равно как? Ан нет

— не все равно! И дочку в себя родил — завистницу... Ты-то, действительно, что? Простая душа... Жаль мне тебя, Митродора, да помочь — нечем. Уезжали бы вы отсюда, что ли, а?

Так вот поговорили...

Кончилась война.

Солнечным, но холодно-ветряным, сулящим долгие послевоенные тяготы днем отгуляли, отплакались, отстрелялись в ночь-полночь из трофейного оружия.

Наутро начали жить заново. И планы строить тоже новые, мирные.

* * *

Страшно было покидать в буквальном смысле хлебное место и городок, в котором все-таки жизнь — по плечу. Но точила мысль: вырастут дети деревенскими неучками и не простят, что лишила их жизни в большом городе, надежды на удачу.

Разузнала все, что смогла о квартире: цела, право на нее не потеряно. И сорвалась с места в одночасье.

На вокзале, когда уже на поезд садиться собрались, увидела вдруг старую, ни на что не надеющуюся нищенку в разбухших лаптях. Шли затяжные дожди...

Точно замаливая судьбу, достала из корзинки кусок хлеба, помазанный маргуселином. Разломилась, хотела малую часть дать старухе, большую оставить себе. Алина перехватила хлеб, разорвала кусок неровно, накос. И большую, а не меньшую часть протянула старухе.

Та перекрестилась привычно, беря хлеб, но потом вдруг глянула на Алину так пронзительно, что у Доры захолонуло в груди.

— Щедрая ты, дитяtko, на мамкин хлеб! Спасибо тебе, красавица! Только лучше, коли б ты не родилась на белый свет! Меньше горя и тебе, и людям.

Некогда было расспрашивать, возражать. Остались те слова, как непонятное и опасное напутствие от вновь покидаемой родной земли. Но в поезде стало не до пророчеств.

Еще в тамбуре Дора услышала надорванный, но все еще переливчатый, щебечущий голос:

— Молодой человек! Я, кажется, не давала вам оснований разговаривать со мной так фамильярно! Я — работник искусств!

— Оснований... Оснований... Вон они, основания! У меня на груди!

Пьяненький юный лейтенант неверно ткнул пальцем в жидкий ряд запоздалых своих медалек.

Дора всмотрелась: она, Клео Залесская! Узнать можно, хоть кочевье эвакуации молодости, конечно, не прибавило, а уж девичью

шейку в кружевном воротничке и трога тельный завиток на невинном затылке унесло безвозвратно.

Перед Дорой возникла женщина еще не старая, но уже не влекущая бесхитростно. Надменная и жалкая, нарядная и неряшливая. Все руки в перстнях со слишком большими и яркими камнями. Даже Дора поняла — ненастоящие. И вот густые пепельные волосы все еще были молоды и завлекательны.

— Клавдия Семеновна! Миленькая! Я так рада вас видеть! — кинулась к ней Алина. — Вы тоже возвращаетесь. Как хорошо! Я все время, все время вас вспоминала!

Дора ошеломленно смотрела на дочь — откуда вдруг такой восторг? Димка косился диковато, прижимаясь к материнной юбке — он тоже не привык к такому поведению сестры.

Откуда было Доре понять, что сверкающий, воздушный, бескорневой мир оперетты с предвоенных времен обжег и покорила душу Алины навсегда?

Всю дорогу Алина не отходила от Клео, старалась услужить ей чем только могла. Завороженно слушала ее чуть картавую и нарочито ломкую речь, примеряла ее кольца, браслеты, застиранный газový шарф.

А Клео милостиво ела хлеб из Дориных запасов и нахвалиться не могла расцветшей Алининой красотой. Доре все это очень не нравилось.

Так и добрались до места.

Квартира уцелела, верно, только остались в ней голые стены да жиденькая этажерочка, забытая в углу. А на ней — как напоминание о былом — могучая бело-розовая «Колхозница». Поди ж ты: не разбилась!

Дора даже и не посетовала, что нажитое растащили начисто. Понимала: тем, кто оставался в городе, солонее пришлось!

На счастье увезла она тогда, в сорок первом, швейную машинку. С ней и вернулась. Как оказалось: с золотым дном.

Еще одно счастье: до войны, сначала с неохотой, по настоянию Ивана, пошла на курсы кройки и шитья для жен комсостава. Потом приохотилась и даже открылось к шитью дарование.

До поры шила на себя и детей. Теперь начала — на людей.

Устроилась дворничихой, чтобы карточки иметь и от налога ускользнуть, села за машинку.

Та же Клео сразу завалила заказами.

Она чутьисто нащупала в разоренном городе верные, сытые тропы.

Вскоре ее имя опять замелькало в анонсах вернувшегося из эвакуации театра оперетты. Правда, встречалось оно уже не на каждой афише, буквы стали помельче и строкой ниже. Но, похоже, Клео не унывала и надеялась на повышение.

В комнатухе, временно снятой у бывшей костюмерши, вечно толклись те, кто этому повышению мог способствовать. И просто «люди на огонек», с которыми нескучно. Пили, но мало. Танцевали много. Из эвакуации Клео привезла трофейный аккордеон и зажигательно наяривала на нем мелодии из «Девушки моей мечты».

Дору этот мирок не интересовал. Что думает дочь, она не знала. Алина крайне скупилась на слова, а того более — на откровенность.

Поскольку теперь Клео жила не так уж близко, Алина то и дело курсировала между двумя квартирами со всякими срочностями: тут сменить подкладку, там подол удлинить, нашить кружева на износившиеся манжеты.

* * *

Дора не очень-то и следила: надолго ли, нет уходит дочь, потому что замучилась с Димкой.

Началось с того, что после войны ванной в их квартире не стало. Выгорели из нее каморку погорельцам. Дора ходила с детьми в недалёкую баню.

Большеглазый, девичье-кудрявый Димушка если и обращал на себя чье-то внимание, так только тем, что хорош. «Чистый андел!» — не раз и не два слышала Дора от старух.

И вдруг, совершенно неожиданно, Димка взбунтовался:

— Не пойду с тобой в баню! Там тетки с титьками! Дора, конечно, сначала, не раздумывая, поддала ему по заднице, но потом опомнилась: за что? Вырос ведь мальчонка-то. Виноват ли, что она того вовремя не заметила? Что же делать-то? Одного в мужскую баню отправить? Оберут, да еще и избить могут. У женщин в бане тихо, а у мужиков... Все знают, как там инвалиды права качают.

К кому обратиться? Кругом одни бабы да сироты. Разве что к Вальтеру.

Так кликали дворника из соседнего дома: шуплого верткого мужичонку неведомых лет. Время от времени лицо его искажала мгновенная судорга. Утверждал: память о пребывании не где-нибудь — в гестапо! И сам он, мол, полковой разведчик. И орденов у него на груди не уместятся, потому и не носит. И дано ему в вечное пользование именное оружие — «вальтер». Отсюда и прозвище.

Оружия этого, как и орденов, никто никогда не видал, но рассказы «Вальтера» о боевых подвигах битые-перебитые посетители «кандея» слушали милостиво. «Вальтер» служал кому и чем мог. Среди прочего, за десяток «беломорин», водил в баню окрестных пацанов.

Дора не первая к нему пришла.

...Из мужского банного похода Димка вернулся с грязными ушами и царапиной на щеке. Ни на один Дорин вопрос не ответил, а ночью (услышала) поскуливает, словно свистит тихонько, в подушку. Подошла — замолк, притворился спящим. Окликнула — не отозвался.

На следующую неделю пошел в баню один. Дора думала: ну, жди беды... Нет, вернулся спокойнехонек и вымыт как следует.

Но где-то вскоре после этого началось то, что отравило всю их дальнейшую жизнь на годы: Димкины осатанелые драки.

Он лез на кого угодно и с чем угодно в руках. Кулаками драться не любил, старался ударить ремнем, палкой, железкой. Бил всегда молча и так бесстрашно, что разбегалось и артельное квартальное хулиганье.

Жалобы на Димкину жестокость сыпались градом. А он отмалчивался. И дома, и в милиции, куда, конечно же, очень скоро узнал дорогу.

Алина кончала седьмой класс, когда Димка обломком кирпича запустил в физрука, обожаемого всей школой ладожского подводника, распухшего от кессонки.

В тот день ребята бежали стометровку по узкому и горбоватому школьному двору.

Бежали тесно, кучно. Димка легко вылетел вперед и побежал дальше с ленью, беспечно. Но стометровка — не марафон, она мгновенна. Димку тут же догнал и начал обходить соперник. Не очень и прячась, Димка сильно толкнул его, не давая пути.

— Сивкин! Освободи дорожку. Ты снят! — kloчочущим голосом скомандовал физрук.

Димка обернулся на голос и мог уже никуда не спешить: за одно мгновение его обогнали все.

Тогда он отошел в сторону, лениво поднял обломок кирпича и с жуткой медлительностью залепил им в физрука. Впрочем, особенно не целясь.

Квадратный, как шкаф, физрук от кирпича увернулся, но ребята налетели на Димку единомысленным беспощадным роєм.

Физруку пришлось звать на помощь прохожих с улицы. В одиночку он бы Димку не отстоял.

Много кабинетов исходила Дора, уливаясь слезами. На ее счастье, Димка еще не нес по закону уголовной ответственности. Его со скрипом перевели в другую школу.

Но тут он заявил, что никуда больше не пойдет и учиться не хочет. С чем и залег на диван — лицом к стенке.

С дивана Дора его, конечно, сдернула. Пыталась лупить. Пыталась усовестить. Улестить наконец... Все напрасно!

Димка все терпел, смотрел невидяще большими, светлыми и плоскими, как лужица, глазами — и уходил на диван.

Кончилось походом к психиатру, чего Дора, от деревенских своих корней, боялась пуще огня. Однако страшного не произошло ничего. Только впервые услышала она тогда слова «отягощенная наследственность» и «шадящий режим».

От учебы Димку освободили до конца года.

* * *

Дору беда сына словно к земле пригнула. Ходила, не поднимая головы, не заговаривая с соседями. Казалось, за спиной тыкают пальцами: «У нее сын — псих! У нее сын — псих!»

В таком настроении разве что увидишь, разве кого поймешь?

Поздним вечером Дора дострачивала лиф театрального платья. Боковым зрением видела, что Алина как-то особенно изгибисто вертится перед зеркалом, нацепив уже готовую летучую юбку. Не хватало сил прикрикнуть: «Сними! Изомнешь!»

Вот Алина подняла руки над головой, щелкнула воображаемыми кастаньетами. Видимо, понравилась себе. И вдруг сообщила:

— Мать, я после седьмого пойду в театральную студию! На отделение хореографии.

— Хо-ре... чего? Чего? — Дора чуть не просадила палец машинной иглой.

— Танцевальное отделение, чтобы тебе понятно было! — Алина крутанулась на носках так лихо, что от юбки по комнате пролетел ветерок.

— Это что же, всю жизнь потом дрыгоножеством заниматься?! Как эта... эта... — Дора задохнулась.

Господи! Если бы еще не тайная ее мечта, что дочь пойдет в педучилище, а потом, может быть, и в институт... Ведь она же способна!

— Да, как эта! — Алина опять вызывающе щелкнула пальцами над головой. — Как эта! У которой все есть! Все! Чего тебе век не видеть! А я, как ты, жить не хочу! И не буду!

Если бы не Димкина болезнь, если бы не пугающий поход к психиатру, не мнящиеся шепоты за спиной...

У Доры иссякли силы, отказал разум.

— Вон! Иди вон, шлюшка! И чтобы я тебя больше не видела!

— Пожалуй, это самый лучший выход, — театральным голосом отчеканила Алина. Скинула юбку и выпорхнула из комнаты, прихватив платишко.

Дора думала — не дальше кухни.

Но через несколько минут в передней негромко, обыденно, открылась и закрылась дверь.

— Доченька! Господи! Что же это я наделала! — Дора кинулась в соседнюю комнату, потом на кухню.

Единственной вещью, которую прихватила Алина, оказалась та самая, чудом уцелевшая, свадебная с Иваном фотография. Даже сдачу, принесенную днем из магазина, оставила на кухонном столе.

Во внезапно потемневшие окна ударил мгновенный и бурный весенний дождь. Первый в году. Сплошной волной пошла вода по стеклам. Выгляни на улицу — кроме струящихся обманных силуэтов, не разглядеть ни зги. Люди прячутся куда попало. Машины обросли водяными усами. А Алина в зимнем пальтишке.

Пока Дора добежала до квартиры Клео, дождь стих. Она того и не заметила: промокла с первого шага, и было все равно. В знакомом, когда-то огромном, ныне перегородженном пополам, окне света не было.

Сначала Дора решила кинуться в театр... Но все же позвонила.

Как ни странно, открыла сама Клео. Серый, колеблющийся силуэт в сером ненастном сумраке. Теневой голос:

— Дора, вы? Что ж, проходите... Я вот сумерничаю... Тоскливо как-то...

— Тоскливо?! Сманила дочь и ей — тоскливо! Где она?!

— Кто? Алина? Понятия не имею... Да и не хотела бы знать...

— Не верю! Сговорились! Спрятала!

Дора танком рванулась в темную прихожую, но сопротивление не последовало ни малейшего. Клео беспшумно и безвольно отступила в комнату, где действительно никого не оказалось. Только графинчик с единственной рюмкой на шатком столике да блюдечко с нарезанным лимоном возле...

Клео, не стесняясь, налила полрюмки, выпила, не морщась, нюхнула лимонную дольку. Доре не предложила.

Та, дура дурой, торчала в дверях.

— Она что, ушла из дома? — так же бесцветно поинтересовалась Клео.

— Но ведь это вы ей наобещали в какую-то там студию устроить? Или не обещали?

— Обещала, верно, — кивнула Клео. — У Алины прекрасные данные, я хотела ей помочь найти себя. Но... видите ли, она написала в мой театр, что у меня дома гости танцуют запрещенные западные танцы и слушают зарубежное радио... Наверное, потому, что я сказала ей: сразу на сцену она поступить не сможет...

И... вот теперь я дома, а в театре идет мой спектакль. Бывший мой... Алина — очень нетерпеливая девочка.

Да... Искать ее надо не у меня, а, скорее всего, у тех людей, которые заинтересовались ее письмом... Впрочем, не уверена, А вот что вернется — знаю. Б-р-р! — Она резко дернула плечом. — Коньячок дрянн. «Чача», наверное — с рук купила. Лучшее у меня вряд ли что теперь будет. — И Клео отвернулась.

...На улице, в совсем уже сгустившейся тьме, из-за угла выскочила на большой скорости машина. Нарочно! То, что надо... Но... Димка-то?! Ему-то кто поможет?

И Дора не просто посторонилась — прижалась к стене.

...Только корневая крестьянская добросовестность выгнала Дору на рассвете во двор с метлой. Ливень, поди, весь двор мусором заволок. Подумалось: вот расхлещу хоть кое-как у подъезда и — в милицию. (одумалось: вот расхлещу хоть кое-как у подъезда и — в милицию! Во дворе все тонуло в морозящей мгле, но розовая Алина беретка светилась под аркой ворот ранним цветком. Алина стояла, прислонившись к вечно открытой калитке, высоко закинув голову.

— Там не закрыто? — спросила буднично. — Я пойду домой. Озябла.

Дора, как стояла, замахнувшись метлой, так и замерла: ноги отнялись. Алина молча проскользнула мимо. И что-то заставило Дору не кинуться следом.

Она подмела-таки двор и только после этого пошла домой. Алина успела вскипятить чайник и пила чай со вчерашней заваркой, таская из сахарницы один за другим мелко наколотые кусочки сахара.

Округлившись от внутренней думы, аспидно-черные глаза усталились в одну точку. В другое время ох и попало бы ей за небереженный сахарок! Но Дора и тут смолчала.

— Мы с Люсей поедем сдавать в геолого-разведочный. В нашем городе я жить не хочу, — твердо, как что-то обдуманное заранее, преподнесла Алина.

Дора только прижала ладонью сердце: это-то откуда взялось?

* * *

Семья Люси оставалась последней, уцелевшей неведомо как, из прежних насельников дома. Их все называли «учеными», хотя Люсин дед в прошлом тянул рабочую лямку на Путиловском, а бабушка ни когда не работала, да, кажется, и не училась.

«Учеными» стали Люсины родители-геологи, но как раз их-то и не видели в доме почти никогда.

И все-таки виновником прозвища был именно дед Поляков. Потому что всю жизнь пытался изобрести «человеко-птицу». И на радость всей окрестной детворе испытывал на пустыре за домом гремящие, хлопающие прозрачными крыльями, чудища. По счастью, ни одно из них не летало.

Ну, а Люся числилась с младенчества в дедовых болельщиках и помощниках, и звали ее Долгоножка.

Очень высокая, с какими-то невероятно длинными ногами и рыжей, вечно встрепанной, гривой волос, да еще и веснушчатая, она уж вовсе не шла в сравнение с красавицей Алиной.

Не рядилась, не ломалась, училась легко, но ей прощали незубренные пятерки. Знали: Люся как можно скорее хочет стать геологом, как и ее родители.

Но... вот чего не понимала Дора. Алине все мальчишки восторженно свистели вслед, имя ее с кем только не плюсовалось на стенах и заборах, а единственного мальчика, друга, у нее не замечалось. А за Долгоножкой давно, класса с пятого, ходил еще более высокий Толя из третьего подъезда. Мальчик с глазами плакатного комсомольца. Старший в большой безотецкой семье.

Ах, как он нравился Доре! К сожалению, его имя с Алининым не плюсовал никто и нигде.

Учились девочки в одном классе, но даже и сидели не рядом. Алина позади Люси — на «Камчатке». Может, оттого, что ей отовсюду было видно хорошо?

А тут вдруг «мы с Люсей». С какого бока подруги?

Но Дора уже не решалась расспрашивать дочь. В ее душе поселился страх. Не только перед неожиданностью поступков Алины. Еще перед чем-то ощутимым, но неопределенным, неизвестным.

...Внешне выходило, что в семье ровным счетом ничего не произошло.

Вскоре на столе у Алины появилась толстенная книга с длинным названием «Минералогия». Дора видела: книга не по ее дочери. Листает Алина ее со скукой, если не отвращением. Но ведь выпросила же за чем-то! Надо полагать, у той же Люси либо ее деда.

Алина зачастила в кинотеатр «Хроника», где шли только документальные фильмы. И это тогда, когда весь двор валом валил на «Гарзана»! Правда, не Люся и не Толя.

Дора, поневоле часто бывавшая во дворе, видела: люди удивляются внезапной прихоти ее дочери и обидно судачат о ней на досуге. Выходило по всему: Алина тут третья лишняя, если не хуже. Люся дружила с Толей. И хоть книги Люся читать давала, домой к себе не звала и к Алине не шла. Как-то та попросила мать, именно ради такого ожидаемого прихода, испечь сметанные, ржаные лепешки.

— Ну, и сколько еще это может продолжаться? — спросила в сердцах Дора, когда Люся и на лепешки не соблазнилась.

— Сколько захочу! — отрезала Алина ледяным голосом, но от глаз ее неведомо почему стол не загорелся.

— Дело твое, — пожала плечами Дора. — Мне тебя, видно, не понять. Неученая.

После той ночи, о которой Дора старалась забыть, она сдерживалась изо всех сил. Словно заклинала жизнь: пойди по-старому!

Заказов материных Алина больше не разносила.

Учиться стала чуть не на одни пятерки. Имя Клео не упоминалось.

А успокоение не приходило. Хоть умайся до полусмерти. Хоть весь квартал вымети вместо одного своего двора. Болит сердце — и все!

* * *

...Тут удивил Дору Димка. Он всегда был соней, но однажды рассветной ранью вышел во двор следом за нею. Одетый честь по чести. Видно, загодя собирался. Несмело потянул у нее из рук метлу.

— Мам, дай! Я сам подмету.

Дора ясно, как в кино, увидела: сейчас припрется во двор зло- вредная бабушка Ахромеева из десятой. Она каждый день встает ни свет ни заря, чтобы поймать какую-то особенную молочницу. Узы- рит Димку с метлой, и завтра же весь двор загудит: «Недоумок! Мать-то вон сама его загодя в дворники готовит!»

— Ты что, сдурел?! Сплетниц потешить захотелось? А ну, марш домой!

Димка выпустил метлу, глянул на нее большими, скорее птичьими, чем ангельскими теперь, глазами, и ушел безропотно.

Но почему, почему и от этого заныло у Доры сердце? Она даже с бабушкой Ахромеевой не поздоровалась. За что и была обвинена, не далее вечера, в зазнайстве и гордычестве.

Пасмурную, сыроватую весеннюю ночь в канун дня отмены карточек Дора, как и сотни людей, продрожала возле дверей булоч- ной в длиннющей очереди. Верила — и не верила: неужели все бу- дут брать сколько захотят и всем достанется? Когда взяла в руки две серые, клеклые, горячие буханки, тут же поняла: хлеб, видимо, гнали всю ночь на всех мощностях, нарушая что можно и нельзя.

Знала ведь дело-то...

Но, господа, когда принесла его домой и чуть не впервые уви- дела одинаково ждущие и радостные глаза детей, разве имело зна- чение, что буханку не брал нож? Можно и отломить. Лишь бы на всех хватило по аппетиту. И ели они его с солью и соевым маслом под пустенький чаек. Ели дружно, не перекаясь и не считая кус- ков. Вот тогда и еще разок не пробил, а может, лишь звякнул колокол Дориного счастья. На годы запомнился тот день.

...Жизнь между тем потихоньку начала наполняться забытыми благами: хлебом, молоком, наконец, и мясом.

Удавалось выстоять то отрез на платье из новой материи «шта- пель», то обувь, то бельецо. И вот — подняла голову мода.

Опять заблагоухали чернобурки на плечах у дам, запосверки- вали в ушах камушки, опустились на глаза загадочные вуалетки.

Идя по центральным улицам, Дора думала невольно: «Это сколько же людей, похоже, и войны не видало? Откуда добро взялось? И сколько уцелело либо вовсе не воевало ражых мордатых мужиков с трофейными перстнями на хватких пальцах?»

И не сердилась на Алинино строптивое: «Я? В этом? На школьный вечер?! Да никогда в жизни!» Ведь и для самой Доры главным всю жизнь было одно: выглядеть не хуже людей. Тут она понимала дочь.

Тянулась из последнего: пальтецо-реглан, шерстяное платье с вышивкой... Додумать только не могла, чего добивается Алина от некрасивой мужиковатой Люси, к нарядам совершенно искренне равнодушной?

* * *

Люся ходила в обмалевшей куртчонке и хоть бы хны! На школьные вечера — в форме. В театр — то же самое. Правда, посещала она не Алинину любимую оперетту, а только драму. Дора не знала: может, туда и не принято ходить в лучших нарядах?

Но однажды двор ахнул: Люся появилась в настоящем, змеисто-облегающем кожаном пальто!

Родители прислали. Бабушка, что ли, им пожаловалась?

Алинин реглан, которым так гордилась Дора, увял рядом с этим великолепием мгновенно и безвозвратно.

И дело тут было вовсе не в разнице цен. В том, как Люся безошибочно вписалась в обнову. Какой стала ошеломительно и небрежно яркой. И теперь уже ей вслед восторженно свистела подворотная компания «Вальтера». Алину мальчишки словно бы и замечать перестали.

Люсино пальто украли из школьной раздевалки среди бела дня. И — заодно, что ли? — висевшее рядом Алинино.

Не зима — девчонки в школьной форме примчались домой к Люсе. Там имелся телефон и дед, всегда знавший, что делать...

Пили на кухне чай, пока дед звонил в милицию.

Алина плакала. Люся фыркала возмущенно: «И откуда в нашей стране берется такая мразь? Может быть, их к нам засылают нарочно?»

Именно эти слова услышала Дора, — прибежав к Поляковым. Как водится, о случившемся ей доложила та же бабушка Ахромеева.

Комнату освещало большое, но не очень светлое окно. Смотрело оно в глухой закоулок. Но света прибавляли сверкающие крылья диких птиц на стенах. Кроме них да тяжких шкафов со затоперплетенными книгами, в комнате вроде ничего и не было.

Дора даже и девочек-то не сразу увидела за всем этим обман-ным переливчатым сверканием.

Люся что-то нетерпеливо искала в письменном столе, вывали-вая прямо на пол голубоватые папки, связки писем и коробки с осколками камней. Алина, сидя на полу, лениво перекидывала в сто-рону бумаги, падавшие ей на колени.

— Господи, доченька, что же делать-то теперь?! Ведь не найдут, не найдут ничего! А где я денег возьму на другую одежду? — всплес-нула руками Дора.

— Пустяки! — Люся отмахнулась рыжей гривой. — Тут где-то должна быть отцова сберкнижка на предъявителя. Он оставил перед отъездом. Купим что-нибудь... Комсомольцы не должны одеваться, как буржуи. Алина из-за меня пострадала. Пусть теперь у нас все будет одинаково.

— Ну уж одинаково — это ты брось! Я не матрешка! — взбрыкнула Алина, но Люся ее, кажется, не услышала, занятая пачкой выпцветших фотографий. Они чем-то очень ее заинтересовали.

На фотографиях Дора издала углядела Люсиного деда. Узнала его по еренистым усам, тогда еще черным. Что за люди сидели или стояли рядом с ним, она не знала. Но одно-два лица словно бы напоминали кого-то забытого, силились назвать себя. И, почуялось, грозили неприятностями. Вдруг встала в памяти давняя, изо всех сил забываемая картинка: двор этого же дома и отчаянное лицо женщи-ны с ничего уже не боящимися глазами.

В эту минуту, спугнув догадку, в комнату вошел Люсин дед.

Люся повернулась к нему, держа в руках одну из фотографий.

— Дед! Что это за фото? Почему я их не видела прежде? Ты этих людей хорошо знаешь? Вдруг среди них окажутся враги народа?

— Дай сюда! — не попросил — скомандовал дед. — Тебя никто не просил здесь рыться! Враги, враги... Кругом одни враги, скоро людей-то и не останется!

— Дед! Ты что, газет не читаешь? — возмутилась Люся. — Ведь мы в кольце врагов, Черчилль разжег холодную войну! У американ-цев атомная бомба! А ты...

— Да, я! Такой и сякой! Отсталый! Вот и отдай мне мои отста-лые фотографии! Они — мое, а не твое прошлое!

Алина легко, красиво поднялась с пола, словно ей кто сверху невидимо помог.

— Mam, пойдём домой! Пусть здесь сами со своим прошлым разбираются. А подачек мне не нужно, так и знайте, — добавила, ни к кому особенно не обращаясь.

...Через три дня Димка вихрем ворвался в кухню. Дора только-только поставила на керогаз кастрюлю с супом из «бульонки».

— Mam! Mam! «Вальтера» арестовали! Он — вор! Это он паль-то украл! «Вальтера» арестовали! — Димка выкрикивал одно и то

же, приплясывая от радости. Таким Дора не видела его никогда. Но тут в дверь позвонили, и на пороге возникла продувная рожа участкового Фунфырина.

— Пройдемте в отделение, Дора Никитишна, для опознания вещи! — сообщил он казенным тоном.

* * *

Пока для скорости топали проходниками по весенней грязище, Фунфырин рассуждал:

— Нет, вы скажите — оказия какая! Мы эту «Вальтерову» ком-пашку пасли, пасли — ну, никак, гад, не дается! Подставляет пацанов — и в дамки! Ни на одной краже доказательств не имели. А тут школьная кража, типичный «глухарь», концов не найдешь, и вдруг появляется сопляк, стажер, и в три дня разматывает, да как! Вчистую сгорел «Вальтер»! Ну, не диво?

В отделении, тесной комнатухе, где за тремя, впритык, столами трое следователей беседовали с тремя задержанными.

Доре выпало подойти к сырой бабе лет тридцати, с вязущей рот фамилией Кисленко. Она не говорила — выпевала.

— Гра-а-ажданка Сивкина, при-и-изнаете ли вы в ле-е-ежащей на столе вещи па-альто вашей дочери Ста-алины Сивкиной?

На краешке стола, небрежно брошенный, словно и не вещь — тряпка половая, — приютился Алинин реглан.

Дора испугалась — вдруг не отдадут? И зачастила:

— Как же, как же не признать-то? Ее пальто, ее... Сама перешивала!

— Ясненько! Я-ясно. Распи-ишитесь здесь и zde-есь. Так!

Дора насмелилась:

— А Люськи-то Поляковой кожанку тоже нашли?

— Вот э-это, гражданка Сивкина, не-е ва-аше дело. Не-е ва-а ше!

Дора убралась поскорее из кислой и прокуренной комнаты. Рада-радехонька — вещь вернулась! Поди обзаведись-ка новым-то пальто, по нынешним временам! Да еще для такой фыркалки, как Алина. Сама Алина возвращение пальто встретила спокойно, словно того и ждала.

А утром в булочной к Доре как-то неловко, боком, подобралась всегда ванильно-сдобная бабушка Полякова. Только сегодня выглядела она не как ромовая бабка, а как опавший от холода бисквит.

— Не знаю уж, как и заговорить с вами, Дора Никитишна? Неприятность в доме. Помните, при вас Люся старые фотографии нашла и смотрела? И Алина тут была... Еще с дедом Люся повздорила. Так вот, нет одной фотографии! Нет и все! Дед расстраивается не знаю как, точно деньги потерял. Хоть домой не возвращайся!

Понимаю, что не дело говорю, но вдруг Алина как-то случайно унесла эту фотографию? Ей-то она зачем? Вернула бы — и все. Мы не будем в обиде...

Защита у Доры сработала мгновенно:

— Это как же понять?! Вы, похоже, дочь в воровстве обвиняете?! Значит, если я — женщина одинокая, с двумя бьюсь, на людей шью, так про нас что хошь говорить можно?! Таковские, да? Сами мою дочку сманили, а теперь, видно, не нужна стала, так и придумали воровкой ославить?! Нет, я этого так не оставлю, я докажу!

Голосок у Доры во все времена был достаточный, не зря час-тушки пела. Вся булочная, млея от удовольствия, впилась глазами и ушами в скандал.

К Дориному сожалению, бабка Полякова отругиваться не стала. Помахала на нее ручонками, словно дым отгоняя, и тишком-тишком из булочной на улицу.

Все равно Дора чувствовала себя победительницей. И ушла, оглянувшись на всех пренебрежительно и гордо. Только дома будто кот за сердце лапой цапнул и на ушко шепнул: «Взяла ведь Алина фотографию-то, взяла...»

* * *

Именно потому, что скверная догадка теребила душу, Дора на-думала мыть окна в неурочное время: воскресным утром.

Со второго этажа хорошо просматривался тусклый четырехугольник двора, где асфальт всегда курился туманцем — болотистая земля отдавала избыточную влагу. Серые стены дома тоже сочились и поросли лишайником. Солнцу принадлежали только крыши и маленький клочок голубизны с парой заблудившихся кудрявых об-лачков.

Ближе к обеду широко распахнулись двери второго подъезда и оттуда выплыла на руках Люси, Мити и бог весть каких еще добро-вольцев очередная стрекоза деда Полякова. На этот раз огромные ее крылья осветили весь двор и как-то особенно ладно укрепились воз-ле хлипкого сиденья, где, задрав усы, пеньком торчал дед Поляков.

Застрекотало, захлопало, обнесло голову керосиновым чадом. Все — как и прежде. Все — на земле. Но внезапно крылья словно бы нашупали, поймали в воздухе невидимую опору. Взмах, еще взмах — и неуверенно, косо стрекоза взлетела! Из гнилого колодца двора ее позвало небо...

— Господи, полетел! — взвился заполошный бабий голос. Дора схватилась за раму.

Но слишком высоки и тяжелы оказались стены, недостижим голу-бой небесный просвет... Земная волглая тяга одолела крылья: с рвущим душу треском они подломились. Стрекоза распласталась на асфальте.

— Дедушка! Дедушка! — услышала Дора ошеломленный Люсин вскрик.

— Да жив я, жив... чего там, — дед Поляков выкарабкивался из-под обломков, хватаясь за бока. Солнце как раз выглянуло из-за крыши и единственный узкий луч остро вспыхнул на кончике все еще тянущегося к небу крыла.

Почему-то стало неуютно спине. Дора обернулась и увидела Алину. Та неслышно вошла в комнату и теперь смотрела во двор, грызя ноготь. Привычки такой — грызть ногти — за ней прежде не водилось.

Дора замахнулась было тряпкой — шлепнуть по рукам, — но не шлепнула. Алина смотрела во двор с тягучей старческой тоской во внезапно посветлевших глазах.

А там ничего особенного не происходило: Люся, сердито взмахивая рыжими космами, уводила со двора хромающего деда. Митя собирал в кучу обломки дедова чудища. Ребятня растаскивала, что успевала схватить. Все кончилось, как всегда, если не считать той пугающей ослепительной секунды полета. Не прирезилось ли?

— Хоть бы в кухне окно мыла, чем чуркой возле меня торчать! — предложила Дора, заранее зная, что дочь никуда не пойдет и окна мыть не станет.

Алина молча повернулась и ушла. Через несколько минут Дора увидела: бредет через двор нога за ногу, неведомо куда намылясь...

Больше ничего в тот день не случилось.

Вечером, тоже как обычно, под окнами Поляковых гудел, набивая себе цену, подкочегаренный участковый Фунфырин:

— Нар-р-ушение общественного спокойствия! Не поз-з-волю!

Отвязался после того, как из форточки вылетела свернутая десятка.

...А дальше скатными камешками покатались будни. Ни беды, ни радости. Впрочем, чуть и подфартило: сходную обутку купила Димке — горело на нем все, как на цыгане. Теперь вот еще Алине бы туфлишки раздобыть, так и вовсе можно по старому говоря, бога благодарить. Дора совсем успокоилась.

Приближалось новолуние. Ночи стояли глухие. Вот в самую-то темень за дедом Поляковым и пришли...

Что ее подняло с постели, Дора не могла бы сказать. Вкрадчивый шорох шин, приглушенный хлопок дверцы машины? Крадущиеся, но все равно слышные шаги в колодце двора?

Она вскочила и кинулась на кухню — оттуда лучше всего просматривался подъезд Поляковых... Рысьими глазами и сквозь мглу рассмотрела, как затолкали в машину расхристанного, наскоро одетого человека. Знала — кого.

Тихо, на цыпочках вернулась.

Алина спала, свернувшись калачиком. Совсем как в раннем детстве. Дыхания не слышно. Хоть стреляй — не добудишься.

Рука сама поднялась в давно забытом крестном знамении. Всхлипнув, давая в груди рыдание, Дора трижды перекрестила дочь. Та и не пошевелилась даже.

Дора еще прислушалась: не запричитают ли, не заплачут ли где? Нет. Все тихо. Во все времена ночное дело это творилось в жуткой тиши. И оттого — только страшнее.

* * *

На следующее утро дразнящий огуречный запах свежей корюшки всю окрестность собрал к «Пяти углам».

Так прозывался ныне рыбный подвальчик. Имя он перенял от церкви Николы на Пяти углах, древней и почитаемой, стоявшей тут некогда. Верили, что именно здешний святитель помогает запойным горемыкам...

После революции церковь сначала обезглавили и сделали клубом — мало посещаемым и запущенным. В войну — военным складом. А после войны, когда от беспризорности потекли стены, и вовсе снесли верх. Остался от храма рыбный подвальчик. Тоже любимый, потому что корюшка и мойва стоили дешево — как раз по карману. Не пойти за корюшкой Дора не могла, а идти — ноги не пускали. Хоть словами объяснить бы и не могла: с чего дрожат колени?

Все же собралась. И, конечно, опоздала. Хвост от «Пяти углов» с поворотом чуть не до их дома. Возле очереди — Фунфырик. Ясно: не порядка ради, а как бы самому побыстрее рыбки добыть.

При виде Доры, так к ней и ринулся.

— Вы только подумайте, Дора Никишина, недогляд-то каков! На глазах вражина теракт готовил, это самое... техническими средствами оснащал, а мы?! Вы — дворник, видели ведь каждый раз как он... это самое... летал то есть. И я, дурак набитый, видел, видел же! А оргвыводы? Где они? Ну, где?

Из промозглого жерла церковного подвала выползла с добычей бабушка Ахромеева. Расслышала чего, нет ли, но тут же запричитала:

— Творил, ох, творил! Говорила я, упреждала, да не послушали. Вот и долетался греховодник старый! Прости, господи, согрешенье мое!

Дора стояла, даже не заняв очереди, чувствовала только, как в землю утекает жуткое напряжение минувшей ночи.

Не жалела Поляковых, не сомневалась в содеянном, только всем сердцем радовалась: ни при чем доченька, не при чем! Ведь полеты дедовы и впрямь все видели. Плохо, что просмотрели, ну, да с нею-то, малограмотной, какие взятки? Поумнее да пообразованнее в доме люди найдутся.

Хоть тот же Фунфырик. Ему и отвечать.

Пока соображала — к кому бы из знакомых примазаться, люди нервно задвигались, вжимаясь в забор. Не сразу поняла, в чем дело. Потом рассмотрела: поперек течения очереди бредут двое. Люся и ее бабка. Что бабка длинно шаркала подошвами по выбитому асфальту, Дору не удивило, на то и старость. Она никогда не видела, чтобы молодые ноги не шли — беспомощно нащупывали землю при каждом шаге... Люся вроде бы вела бабушку под руку, а на деле-то получалось — наоборот. Пышные обычно волосы повисли с обреченной прямоотой. Прядь застит глаза — она не понимает, не чувствует. Лицо ошеломленно застыло.

Бабка за одну ночь стала дряхлой: студено-седая, голова трясется.. Все понимали: ходили «узнавать». И, наверное, не сторонились бы так кучно, словно сговорившись, если бы преступный замысел деда-Полякова не оказался таким видимым и знаемым всеми.

Поляковым не верили и потому не жалели. Оттого вжимались в рыхлый от гнили забор возле еще довоенной заброшенной стройки.

Дома, перекладывая в тазик ускользящую рыбешку, Дора пожаловалась Алине:

— Этот-то говорит: «Вы — дворник, вот бы и смотрели...» А чего я увижу? Он грамотный, чай, больше моего понимает, и то не допетрил... А мне-то откуда знать, что он там мастрячил... Доре хотелось неспешно поговорить, пожалиться на людскую несправедливость, но Алина внезапно стиснула кулаки.

— Пусть они оставят нас в покое! Пусть оставят в покое! Мы ничего не знаем и знать не хотим! — Потерла висок. — Только бы сдать экзамены, ни за что в этом проклятом городе не останусь!

— Хоть бы знать, где это тебя так ждут? — поинтересовалась Дора, продолжая возиться с рыбой и не очень веря очередному дочериному закидону.

— Да если и нигде, тебе-то что? — окрысилась та.

— А ты уезжай сейчас, — посоветовал Димка. — Мне больше рыбы достанется!

— Дурак недоделанный! — Алина шлепнула его по загривку не глядя. — Я не шучу. Я на самом деле уеду. Только уж не с Люськой, мне с такими не по пути...

А с кем же по пути, очень хотелось спросить Доре, но — не спросила, потому что суетливо, настырно позвонили в дверь.

На пороге оказалась запыхавшаяся бабка Ахромеева.

— Взяли ведь их, вражин, взяли! Середь бела дня! Во, значит, какие опасные... И ведь сколько рядом жили, людьми притворялись... Бабка-то ихняя у меня соль намедни заняла, теперь уж не отдаст. Обидно ведь, милая!

— Уж это точно: сольцу свою обратно не получите! — съязвила Алина. — Всех ли obeжать успели? А к нам зря пришли. Нам до Поляковых дела нет!

И чуть ли не силой выставила бабку за дверь. Обернулась к матери.

— Нечего эту старую холеру приваживать. Она сейчас про Поляковых, а завтра про нас наговорит неведомо чего...

В отношении бабки Ахромеевой Дора полностью с дочерью согласилась и про себя очень одобрила и ее слова, и ее решительность.

Когда дня три спустя по двору пополз слух, что где-то «там» арестовали и Люсиных родителей, это никого особенно не удивило и не возмутило. Двор всполохнулся оттого, что пропал Толя. Его не арестовывали. Он исчез сам. Хворая, многодетная его мать, жившая более всего его подмогой, все начальство обошла, обрыдала — бесполезно. Толина судьба осталась тяжелой, бередящей душу, тайной.

Как ни странно, Толино исчезновение поначалу чуть ли не обрадовало Дору. Из самых глубин души, которые редко видимы людям, поднялась злорадная мысль: лучше бы на Алину мою смотрел, а не на эту стерву рыжую! Правда, вскоре она укорила себя за черствость: у матери-то Толиной трое осталось и сама безрукая, больная. Тоже ведь солдатка... Чем она виновата в выборе сына?

* * *

В заулке между двумя стенами в год их возвращения выбился на свет тополек. Дора ломиком сколола вокруг него асфальтовую кольчугу, принесла землицы, полила. Казалось ей: тополек не случайно пророс сквозь асфальт. Он — на счастье. Кому? Конечно же, детям.

...О себе, после Гехи, она не думала. О той, негаданной, беде не приведи Бог узнать хоть кому-то. Стыд бьет кнутом.

Почему нареченного Геннадием звали Гехой — неизвестно. Так с детства повелось. Прошел Геха финскую, вернулся живым, но только пожизненным калекой. Левая его нога опасно выворачивалась при ходьбе. Человеку незнающему казалось, что Геха падает... Но он не падал — искаживал версты.

С начала Отечественной устроился возчиком на хлебозавод. Заодно с самой Дорой — к сытной краюхе поближе. Никогда не унывал, никого не выбирал — всех женщин равно одарял любовью и цыганской белозубой прелестью.

Ютился в развалухе вдвоем со сварливой бабкой, но и на это не жаловался. А «навар», имевшийся у него, как и у всех на хлебозаводе, беззаботно пропивал. Чуть выкаченные карие глаза с заметным пробелом ниже зрачка все примечали, все брали в расчет.

Доре поначалу Геха не поглянулся: гулена базарной цены... Заводишко невелик, мужиков — раз-два и обчелся, значит, про баб всем и все известно наперед.

Свел их случай. Непроглядной августовской ночью Дора высочила во двор — охолонуться чуток. Со света, хоть малого, глаза не увидели вначале ни зги. Вот и влетела с прыткой ноги в чьи-то крепкие горячие руки. Ворохнулась было — вырваться, да не смогла. Как варом обдало от забытой близости литого мужского тела. Спросили бы, как оказалась за складом, куда (знала ведь!) все ходили с Гехой, — не помнила...

Утром, идя со смены, твердо наказала себе: не поминать о случившемся, выбросить из головы навсегда. Вроде бы успокоилась.

Геха нашел ее сам на следующую же ночь. И все повторилось. Только уже не беспамятно. Того, что с нею Геха проделывал, Дора не знала никогда. Не догадывалась даже. Но, проклиная себя, стыдясь каждым нервом, отдавалась неизведанному. Отдавалась телом и душой. Сразу поняла: душа в их отношениях не при чем. Только сознание это от сладости и слабости не спасало.

Шептал ей:

— Королева ты! Разве с кем сравнишь? Я, может, с самого начала на тебя одну метил...

Встречались они то в лесу, то у Гехиной бабки, то — где случай поможет.

Как ни удивительно, товарки ни о чем не догадывались. Посмеивались только:

— Не иначе Геха-то весь измылился, перестал баб перебирать! Уж не надумал ли жениться?

Вот о женитьбе-то Геха как раз и не заговаривал. А у Доры — задержка. Заметалась: «Сказать? Не говорить?»

Он ее смятения не замечал. Либо не хотел замечать.

На рассвете, когда грузили первый хлеб и двор далеко окрест наполнился его живым духом, Дора подошла к телеге. Взяла за узду, вроде бы придержала, и без того смиренного карего мерина.

— А ведь я ребенка жду... — сказала тихо, без напора. Геха резко обернулся, чуть не упал.

— Ну! Правда?

— Не вру...

— Дела... — Он оперся о тележный край.

В рассветной мгле все расплывалось. Дора скорее чувствовала: лицо его напряглось и похитрело.

— Понимаешь... — заговорил Геха новым, боязливо-развязным, тоном. — Мы ведь так не договаривались. А это что же получится? Наш один да твоих два довеска? И все — на мою шею?

Секунда прошелестела, минута ли? Светлее не стало, но и не потемнело. Век пролетел, да кто, кроме Доры, почувствовал его пролет?

— Нет уж! — в горле у Доры клокотал смех пополам со слезами. — Ты ее побереги, шею-то свою!

Через неделю Геха уволился. Сгинул. Память о нем, вместе с кровью, вытравила Дора у знахарки за буханку хлеба. И накрепко заказала себе с тех пор — о мужиках не думать...

Вот почему растила, лелеяла тополек лишь детям, не себе, на счастье.

И надо же: именно в год, когда Алина кончила седьмой класс, тополек робко зарумянился первыми сережками. Пахнуло от них на весь двор забытым: церковным ладаном, благодатьней.

Когда, опять же, как положено, глухой ночью, увели Фунфырина, а ее так и не вызвали никуда ни разу, Дора решила, что помог ей если не Бог, так именно выпестованный ею тополек.

Больше ничто в голову не шло.

Ну, а взяли бы и ее, дети-то на кого бы остались?

Фунфырика, впрочем, скоро выпустили. Только лишили милицейского звания, а с ним — фанаберии и привычного винного довольствия. Тут и высветилось, что человек он бестолковый, ленивый и мелочно вороватый. На работу он все-таки устроился — сторожем, Мужики в «кандее» теперь его частенько лупили. Это тоже воспринималось, как восстановленная справедливость. Точно так же, как арест семьи Поляковых.

По большинству люди сторонятся непонятного и радуются падению авторитетов. Увели деда-летуна, ну, и слава богу, поди знай, что он там на самом деле хотел? Близких прихватили — значит, точно был виноват.

Сняли всем надоевшего мелкого вымогателя и пьяницу — есть в жизни справедливость. А как иначе?

* * *

День окончания Алиной школы выдался обещающе светлым, солнечным. Словно отроду в этом, съеденном туманами, городе не бывало непогоды. Дору всегда поражало, какая здесь при солнце сияющая зелень на деревьях и какие крупные трепетные цветы. Будто и не на этой земле выросли. Глаз крестьянки примечал необычность невольно и словно бы пугался нездешности увиденного.

У Доры давно уже было припасено к дорогому дню мяца и мучицы — на праздничный пирог. Пусть Алина соберет ребят, а она прикинет, как ее дочь среди них выглядит, с кем дружит, кто смотрит на нее, а на кого — она. Томила мысль: похоже, сердечного друга у Алины как не бывало, так и нет.

Обняком заговорила о задуманном.

Алина, не дослушав, фыркнула:

— Никого видеть не хочу! Надоели! Половина завистников! Половина дураков! Слава богу, избавилась от них наконец. У меня — свои друзья.

— Уж не свистуны ли из подворотни? — съехидничала Дора. — Хороша компания! Вся целиком на учете в милиции!

— А мне это и нравится! — Алина, по привычке пританцовывая, прошла по комнате. — По крайней мере не слюнтяй и ябеды! Завтра мы едем на острова, и попробуй мне помешать!

Глянула — словно по полу огненным глазом чиркнула. И Дора поняла: кричать нельзя, ударить дочь — тем более.

Выросла она из ее оплеух, как из пеленок. Иная опора нужна в борьбе.

Для Доры опора эта — в нажитом.

Оглянулась невольно. Неужто Алина не видит, не ценит? Ведь в голые, почитай, стены вернулись. А теперь гардероб с зеркалом, диван, стол круглый, на нем скатерть — плюш, горка с посудой, где и хрустальные столки поблескивают. Случаем купила их у одной заказчицы. Уже не сиротское жилье — дом. Что же надо-то дочери, отчего не живется?

Алина присела не на диван, — на подоконник, откинула небрежно тюлевую штору.

Все у нее взбрыком, как другому и в голову не придет.

— Чего оглядываешься на свое добро? — спросила насмешливо. — Больно оно мне нужно!.. Того, что по мне, тебе, маменька, век не понять! Живешь с фамилией Сивкина — и тебе хоть бы хны! Хоть Буркина! А мне думаешь, в школе легко с ней обошлось? Я люблю отца, а он мне такую фамилию оставил... На гардеробину эту с дурацким зеркалом насбирала — счастья полная задница! А на что смотреться в то зеркало? Латаными тряпчонками любоваться?

Разве настоящие люди так живут? Даже у чокнутого Люськиного деда книги с одной только полки дороже всей этой теребени стояли. А Игоря Ховрина из нашего класса к школе на машине подвозили, а уж шмотки у него... Ладно! Замнем для ясности.

Алина соскользнула с подоконника, кому-то во дворе мимоходом соорив рожу.

— Можешь не беспокоиться, ни на какие острова я с нашей шпаной не поеду. Сама знаю, чего стоят эти мальчишки!

Но ты меня отпусти. Потом скажу — куда. Еще подумаю. Все равно вместе нам не жить. Ругаться только будем зря. Лучше займись Димкой, совсем оборзел, лезет на дворе на кого ни попадя с кулаками. Смотри — раскроют ему дурную черепушку.

* * *

И лето в тот год выдалось солнечное, безненастное — на юг ехать незачем. Дора, впрочем, о юге и не помышляла: дай бог за дочерью доглядеть!

С самого дня окончания школы закружился вокруг Алины пестрый мотыльковый хоровод мальчишек. Со всего квартала, а может, и подальше. Стены на лестнице не отмыть от имен, весь потолок в черных плевках «зажигалок», двери в подъезде, почитай, не закрываются, а стекла в них недели не живут. От жильцов, особенно от бабушки Ахромеевой, спасения нет — замучили жалобами на Алиных ухажеров.

Да хорошо, коли были бы юнцы именно ухажерами. Выбрала бы однажды дочь одного да и успокоила материну удрученное сердце.

Но вокруг Алины творилось иное: непонятное и, чувствовала Дора, опасное. Алина владела всеми и — никем. Но этих всех она же и толкала на всяческие сумасбродства и глупости.

Такого взрыва хулиганства в сравнительно тихом районе не помнили. Новый участковый — жутковатый мужик с обгоревшим в танке лицом — чуть не каждый день подходил к Доре, когда она мела двор.

— С недобрый утречком, Дора Никитишна! Опять ведь у нас ЧП: табачный ларек опрокинули и обокрали. Сопляки полоротые. Всех взяли. И ведь обидно-то как: статья им отпущена грозная — групповой грабеж. Поломали жизнь себе ребятишки за десяток пачек «Беломора». Нет-нет, не думайте, им вашей Алины ни в одном протоколе не упоминается! Да только... слухом земля полнится... она их и подбила на это дело. Не из корысти, так... из злорадства, что ли? Ну, как бы это вам с ней поговорить подушевнее, а? Сколько горя-то в семьях прибыло, а чего ради?

Дора смотрела на этого словно бы тихо, настойчиво и добро тянущего ее к себе человека и не знала, что сказать? Не хотелось ведь признаваться, что дочь заходит домой только поесть да переодеться.

Самое интересное, что звали нового участкового Иваном Савельевичем — такое памятное имя! А клички что-то у него не заводилось. Не липли они к нему.

...Алина менялась на глазах. Обстригла косы и разбросала по плечам мерцающе-смоляные локоны. Вдруг стало видно, что у нее высокие, притягательно округлые груди, а длинные ноги касаются земли одними носками.

Видно, не прошло даром и знакомство с Клер Залесской. Дора просто умела шить, Алина же — украшать сшитое. Дора понимала: умение это было бы ценнее ее собственного, возмись Алина и за само шитье. Но вот тут заколодило: ничего, что требовало постоянства, Алина не переносила.

День четырнадцатого июля Дора запомнила в подробностях — и навсегда. Он и начался неладно: Димка разбил стекло у Бекеневых при свидетелях. Не отопрешься...

Бекеневы заняли осиротелую поляковскую квартиру. Сам — бывший военный интендант. Крупный, тяжелый на ногу мужчина с неожиданно быстрыми желтыми глазками на сытом неподвижном лице. Она — словно чем-то навсегда испуганная — блондинка с затверженной улыбкой и рано состарившейся шеей. И с ними — единственная дочь, Лида, года на два младше Алины. Невероятно правильная девочка. Белокурая, как и мать, с козым упрямым лобиком и косичками, затянутыми безжалостно — нигде ни завитка.

Ничего особенного вроде бы... Но почему-то Димка сразу ее возненавидел и буквально прохода не давал во дворе:

— Сикораха гнутая! Сикораха гнутая!

Эко и словечко-то нашел... Вроде ничего не значит, а обидное. Чувствуется.

Лида сначала убегала от мучителя, пряча слезы. Потом засела дома, решив, видимо, вообще во двор носа не показывать. Тут Димка и разбил окно. С утра пораньше.

Дора, опять же всем на погляд, прямо во дворе безжалостно скрутила лопушистое ухо сына.

— Я тебе покажу, стервь поганая, как окна бить! Я тебе покажу! Он твердил одно:

— Ненавижу! Ненавижу! Сикораха гнутая!

Доре стало страшно: как выпутаться? Ведь смот рят, прилипли к окнам, ехидничают... Невольно подняла глаза и в разбеге трещин того самого окна увидела еще одно лицо — белесое, неразличимое. Ничего не рассмотрела, но что-то словно обожгло глаза, и рука сама выпустила скомканное багровое ухо сына.

Димка метнулся в двери, всполошенно и слепо. А Доре показалось, что бледная девочка за слепым стеклом — плачет.

Возле дверей Дору повстречала заказчица — дебелая офицерская жена, которую лихой муженек, обеспечил трофейными тряпками.

— Ну, как платице мое поживает? — пропела офицерша, осклабившись умильно. — Вы же еще вчера мне обещали.

«Платице» шилось из странно неподатливой, невиданной прежде, материи. Шелк — не шелк, в руках плывет куда ни потяни. Не работа — каторга. Но как-то Дора с платьем справилась. Не успела — отгладить только.

— Сейчас под утюг — и готова ваша вещь! — кивнула на бегу заказнице.

Быстренько на кухню. Заметила, однако, что Алина убралась из дому спозаранку. Как обычно, и не подумав сказать, куда и зачем.

Край утюга привычно коснулся шва — и вдруг с тихим змеиным шипеньем и невыносимой вонью ткань исчезла! На утюге осталась серая пена.

— Господи, с нами крестная сила! ахнула Дора, а заказчица-то уже из-за плеча выглядывает.

— Вы что с моей вещью сделали?!

Словно Бог надоумил Дору:

— Да вы сами попробуйте это погладить! Возьмите утюг!

Та не взяла. Может, чего и знала, да не сказала заранее. Денег не требовала с Доры, но и не заплатила ни копейки за адову работу. Доре до слез обидно стало и жалко себя.

Хоть бы дочка непутевая случилась под рукой — можно было бы выкричаться, сорвать зло. На пороге клубится растерянная мальчишечья компания.

— Дора Никитишна! Вашу Алину дядька на машине увез!

— На «Б.М.В.» трофейном...

— Она сама к нему пошла!

...Только в тесной прокуренной каморке участкового Ивана Савельевича картина более или менее прояснилась.

Компания с утра торчала на пляже и томила от неисполнимых желаний. Денег ни у кого не нашлось.

Алина всем показалась странной. Настороженная и более обычного злая, она словно высматривала что-то - вглядывалась в дальний широкий уличный спуск. Вот на нем замаячила машина. Мальчишки цепко отметили марку — трофейный «Б.М.В.» Кто за рулем, вначале было ни к чему.

— Ну, что, сэры, на киношку-то гак и не наскреблось? — спросила Алина, ни к кому особенно не обращаясь.

Ей никто не ответил.

— Богатые вы люди! Большие! А хотите, я вас удивлю? — спросила она.

Опять же никто не захотел, потому что боялись подвоха. Алина вроде бы и те ждала от них ответа. Протянула лениво:

— Эх, сэры, сэры... Пойду вот сейчас, сяду в ту машину, и больше вы меня как своих ушей не увидите!

И действительно встала и небрежно пошла прочь. В гору. К машине.

Пацаны опомнились лишь тогда, когда, что-то сказав мужчине за рулем, она открыла дверцу и села с ним рядом. Тут все как один захотели рассмотреть владельца машины, и никто не обратил внимания на ее номер. Увидели же только могучий затылок и прямой срез черных волос. Свидетели же только могучий затылок и прямой срез черных волос. Машина умчалась, а мальчишки, толкаясь, собрали кое-как манатки и побежали домой.

Диковинное это дело долго скрывало лучшие следственные силы города, но следов похитителя так и не нашлось.

И ничего не прояснилось, сколько ни допрашивали пацанов со всей округи.

Дора поседела разом и стали дрожать пальцы. От шитья пришлось отказаться.

* * *

...Странно. На видимое так ясно пережитое словно кто накинул прозрачную колеблющуюся сеть. Да и не сеть это — ветви тополиные. Застят. Мешают видеть. Нет... Сгинули. Опять все ясно.

* * *

...Через год обрушилась на Дору посылка из южного русского города. В посылке — янтarno-прозрачный урюк и небрежная записка: «Мать! Извини за долгое молчание и напрасные хлопоты. У меня они тоже оказались напрасными. Мы квиты. Но все-таки я занимаюсь «дрыгоножеством» и мне это нравится. Учти! Пожалуйста, пришли мне метрики. Паспорт надо получать. Адрес не мой, но надежный. Урюк и орехи — Димке. Если его еще шпана не пришибла. Обойдемся без поцелуев. Алина».

С запиской той Дора кинулась к Ивану Савельевичу. Так получилось, что внимательнее человека возле нее не было. Если бы не беда да не болезнь... Но подобные мысли посещали Дору редко. Чаще она бездумно просила Ивана Савельевича то об одном, то о другом. И он никогда не отказывал.

В этот раз: присмотреть Димку, пока она съездит в тот, неведомый доселе город. И минутного сомнения не закралось, что ехать — не к кому. Мало ли чего напишет доченька под настроение. Жива! Вот что главное.

Иван Савельевич, на удивление Доры, призадумался. Ютился он в каморке бывшей церковной сторожки у «Пяти углов».

Иван Савельевич свел морщинкой уцелевшую полоску живой кожи на лбу.

— Дора Никитишна, я вам друг, поверьте. Но сына вашего я боюсь. Неистовых таких по фронту помню. Ну, там понятно, что с чего... А от этого не знаешь, чего в мирное время ждать. Дочку-то Бекеневых, смотрите, совсем затравил, на улицу носа не кажет. Ховрину Игорю из пятнадцатого дома, сами знаете, бровь рассек штырем. Дальше чего ждать?

Дора слушала его — и не слышала. В эту минуту ей казалось, что речь идет вовсе не о сыне, а неведомо о ком — незнакомом и докучном.

— Иван Савельевич! Да ведь я год о дочке слуха не имела! Поймите! У меня земля под ногами горит, а вы...

Покивал головой:

— Ладно уж. Догляжу парня. Езжайте с Богом.

В дороге Дора не сомкнула глаз, но встречное словно бы во сне привиделось. Гомонливые станции. Конфетный запах небольших оранжевых дынек, лежавших горками прямо на земле, ладно если на какой рогожке, а то и просто рассыпью в пыли. Все более яростное, ликующее в густой небесной синеве, солнце.

И вот — город. Большой, наверное, но невидимый за низкими дымами заводов. Он Дору и не интересовал. Ей требовался пригородный поселок «Красные нефтяники».

Дорогу указал сонный дядька, чудом уместившийся на краю телеги, полной невиданно больших белых арбузов. Один из них, пока толковали, мягко скатился и шлепнулся в пыль, чуть только надломившись. Дядька огрел вожжами лошаденку, а на потерю и не оглянулся. Дора не утерпела. Подняла арбуз, отошла на обочину, поросшую словно бы железной травой, и руками отломилла сахаристо-мерцающий кус. Только тут поняла, до чего же ей хочется пить и как она вся изустала...

Весь мир казался чужим, невзаправдашним, но Дора ничему не удивлялась: чужое — оно и есть чужое. Ей — без интереса, как тут люди живут.

Подошла к глубокому овражку, через который — мостик. Со дна овражка вдруг послышался раскатистый мужской голос:

— Оттянись от моей одежды, вражина!

Глянула вниз — с нами крестная сила! По дну оврага речка течет — и, видно, довольно глубокая, но черная — сплошной, дымящийся на солнце, мазут. И в пакости той — по плечи — люди. Много. Один к одному.

Стало на минуту жутко: это в какие же бесовские края доченьку занесло? Но — мимо. В гору. Здесь, кажется, все дороги стремились вверх, только самих гор не рассмотреть из-за тяжких городских дымов.

Однако через какое-то время оказалась она словно бы выше этой хмари, и тут ей открылся крутой горный склон, а на нем — поселок. Чем ближе к дороге, тем живее. В верхних, неведомо как прилепившихся на склоне домиках, похоже, никто и не живет — стены у многих обрушились, провисли крыши, деревья вокруг курчавятся буйно.

Нужный ей дом приютился у самого подножия горы. Двор его осеняла огромная слива, но одни жирные гуси лениво чавкали в пыли ее напрасный урожай.

На оклик никто не отзывался. Только в соседних дворах дружно забрехали собаки. Дора поднялась на веранду и тут увидела, что в углу ее, затененном ветвями сливы сидит женщина. По столу возле нее змеится куча черных сетчатых чулок. Один из них она чинит. У

женщины дивной красоты белокурые косы уложены короной на затылке. Только эта корона и красуется: голова тонет в плечах, подпертых сзади горбом. Глянула она на Дору без изумления. Небольшие, глубоко посаженные серые глаза словно омыли добрым светом.

— Здравствуйте! Вы — мама Алины? Слава Богу! Хотя это-то не соврала! Да вы садитесь. Устали, поди, с дороги. Отдохните. Я чаек поставлю сейчас.

Проговорила так просто, обыденно, что Дора душой уверовала: Алина жива, где-то здесь, близко.

И свет померк в глазах.

Очнулась на той же веранде от ласкового поглаживания по лицу мягких, будто невесомых, пальцев. Оказалось: лежит на тахте, которой вначале и не заметила. Горбунья сидит рядом на табуретке, гладит ее по вискам, а на столе, вместо кучи чулок, чайник и деловитое жужжание ос над банкой варенья.

— Ну, слава Богу, очнулись! — Остренькое, как у всех почти горбатых, лицо женщины осветила теперь еще и радостная улыбка.

— Я уж испугалась, думала — скорую придется вызывать, а оно здесь непросто. Телефон далеко, на горе.

Дора поднялась, села. Перед глазами все качается и в воздухе будто стеклистые червячки плавают.

А та уже чай несет.

— Выпейте-ка горяченького, лучше будет!

И точно — полегчало. Мир прояснился.

— Меня Верой Никодимовной зовут.. Вообще-то я Венера, но, сами понимаете, с таким именем... В общем, я привыкла к Вере.

Дора насчет имени ничего не поняла, но по давней привычке — кивнула.

— Я у Ашрафа Булатовича «прислуга за все»: кассир, костюмер, массажист — что потребуется. О, Ашраф Булатович зря денег не платит! Это такой человек, такой!..

Она говорила так, словно и не сомневалась: не может Дора не знать, о ком речь идет. Кажется, она готова была рассказывать о своем начальнике долго, но Дора перебила, невежливо, нетерпеливо:

— Где Алина?

— В клубе на репетиции. Да... конечно, я не о том заговорила, не подумала о вас... В общем, мы называемся танцевальным ансамблем Сыктывкарской филармонии и разъезжаем по всей стране. Летом — по югам, зимой — по северам. Как все. Ашраф Булатович — наш руководитель. Он — гений! Он все может. Если бы ему настоящую сцену! Но... Ах, я опять не о том! Короче: Алину он нашел полгода назад в городишке за Уралом. Увидел в ресторанном варьете. Увез. Мы и были-то в том месте всего два дня, — тут в голосе Веры Никодимовны ясно прозвучало сожаление. — Теперь она с нами. Пока выступает в общем реву, но Ашраф Булатович подготовил с

ней сольный номер — «цыганскую пляску». У нее потрясающие природные данные!..

— Но она его, конечно, не слушается, — дополнила недосказанное Дора.

— Да! Да! Это, знаете, ужасно, что она себе позволяет по отношению к нему! К такому человеку! И потом... все эти ее рассказы... Об отце-чекисте, о какой-то разведшколе, куда ее забрали тайком. Это же бред! Вот только то, что вы — «простая женщина», и оказалось правдой.

— Об отце — не бред, — возразила Дора. — А остальное... Господи! Я ничего-ничегошеньки не знала о ней год! За что, за какие грехи мне мука?! — Скопленные горем слезы градом хлынули из глаз — спасли сердце. Иначе не выдержать бы ему всего услышанного.

Вера Никодимовна опять захлопотала:

— Я — валарьянки принесу! Сейчас! Подождите!

— Не надо. Обойдусь. Спасибо! — Дора взяла себя в руки. Утерла глаза краем промыленного платка. — Где хоть — живет-то она?

— В гостинице... Вместе с девочками. Но... понимаете, у нее же не было документов... Ашраф Булатович... он все может... в общем, она прописана по чужим. Я говорила, что так нельзя. Но кто меня послушает?

— Ну что вы мне голову морочите! Я же видеть ее хочу! Идемте!

Дора поднялась решительно.

— Но это неблизко! Через час за мной придет автобус. К началу концерта. Мы поедем вместе. А сейчас идемте-ка к соседям, на санэпидстанцию, там непрерывно работает душ. Помоемся с дороги, передохнете чуток. Лучше будет!

С этим Дора вынуждена была согласиться. Тихая, настойчивая забота этой женщины словно завораживала, подчиняла себе.

...Автобус точно пришел через час, хотя средством транспорта назвать это грохочущее скопище лома вряд ли кто бы решился.

Вера Никодимовна вынесла потертый чемодан с вещами. Сумку прихватила Дора. Пыль на дороге к этому времени покраснела от лучей заходящего солнца.

Клуб оказался просто сарайчиком-временкой, прилепленным к открытой летней эстраде. Вокруг — хилый штакетник. На нем повисли мальчишки. Потому что из сарайчика не голос — рык звериный.

— Табуретки колченогие! Коровы плоскостопые! Да на вас следой глаза не положит! Об этом вы подумали?!

Дора даже опешила слегка, но Вера Никодимовна спокойно открыла дверь сарайчика.

Со света многого не разглядеть, но все же Дора увидела, что по узкому подобию сцены мечется маленький смешной человечек, похожий на ядреную редьку — концом вниз. Плечи широкие — к ногам на нет сходят. На голове черные волосы снопом. А вокруг — лениво, кому как вздумается — стоят девушки в разноцветных купальниках. И сразу видно: нисколько они мужичонки того не боятся и вида своего не стесняются.

Внезапно знакомый безжалостный голос пресек словесный поток:

— Ашрамчик, не пыли! Печенка лопнет!

И на сцену выпорхнула Алина — тоже в огнистом купальнике.

Только... она ли? Словно бы еще выше на ногах, вместо локонов — прямая волна вороных волос вдоль спины. Щеки втянулись голодно и хищно. Как бы прилипли изнутри к зубам. Угольные глаза — вдвое больше прежних.

— Доченька! Родненькая! — Дора не разбирая пути, обо что попало спотыкаясь, кинулась к сцене.

Алина обернулась.

— Надо же! Приехала! Явление второе: те же — и маменька! Я тебя звала сюда?

Голос, взгляд, рука, упертая в бок, словно подрезали Доре колени.

— Я же, по-моему, ясно написала, — продолжала Алина, нимало не тушуясь, — пришли метрику. Больше мне от тебя не надо ничего.

Даже явно выдавшие виды девицы вдруг словно озябли — заерзали плечами.

Ашраф Булатович картинно воздел руки к небу.

— О, исчадие ада!

Вера Никодимовна, покачивая головой, уставилась в пол.

Алина прыгнула со сцены. Подошла к Доре.

— Ладно. Приехала — так приехала. Ты у Верунчика устроилась? Да? Прекрасно. Можешь посмотреть наш балаганчик. У меня сегодня соло.

— Ты сказала «балаганчик»?! Сказала при мне?! — всеми своими космами взвихрился Аштраф Булатович.

— При тебе! И при всех! Я всегда говорю при всех — и правду! — отрезала Алина. — Кто-нибудь скажет, что это не так?

Девицы перемигивались, пересмеивались летуче, но молчали.

Алина гордо ушла за реденькую тряпчонку, изображавшую занавес.

...Из-за стриженной гривы кустарника позади эстрады выплыла огромная, раскаленно-оранжевая луна. Свет ее мгновенно смирил жидкое мерцание фонарей и колдовски осиял сцену.

Лавочки возле эстрады незаметно заполнились шумливым и непритязательным южным людом. В темной щетке кустарника

непрерывно и страстно трещала насекомая живность. И, словно подстраиваясь к ней, резво грянул оркестрик всем знакомое по кино: «О, Чатану-Чатануга-чуча...»

Дора смотрела на эстраду из того же клубного сарайчика. Никогда ей не приходилось быть так близко к сцене. Да еще знать, что сейчас на этой сцене, перед всей этой беспечно-невнимательной толпой окажется дочь... Дору бил колотун. Вера Никодимовна взяла ее за руку, расправила и ободряюще погладила стиснутые пальцы.

Девушки в коротеньких серебристых юбочках и тех самых сетчатых черных чулках выпорхнули на сцену совершенно одинаковым мотыльковым роем. Все они делали одно и то же — нога в сторону, потом лихо вверх, волосы у всех спрятаны под аховыми, тоже сетчатыми, шляпенками.

Но Алину она узнала сразу: не шла ее нога в общий строй. Тот же взбрык — да не в стык.

Да что Доре до того. Сердце кровью облилось: до какого срама дожила? Родная доченька прилюдно ноги чуть не выше головы задирает.

Второй раз за день заплакала Дора — только уже тихо, горько. Вера Никодимовна проникательно спросила:

— Вам стыдно за дочь? Вы напрасно переживаете: Ашраф Булатович считает, что она — талант. Он столько труда вложил в ее танец, так надеется! А нам очень, очень нужен успех!

Как все здесь, бесстыжая лунища лезла напролом в каждую щель хилого клубного строения.

Громче оркестра свиристела нечисть в кустах.

Дора не хотела смотреть на сцену, а все-таки подняла голову, когда объявили:

— Цыганский танец. Исполняет Алина Левская!

И без того тошнехонько, но пуще заскулило сердце и оттого, что под чужим, неведомо чьим, именем выйдет на сцену дочь Ивана Сивкина.

Алина выметнулась стремительным черно-желтым вихрем. Закружилась, зазмеилась, как летняя пыль перед грозой. Казалось, ноги ее вообще не касаются земли, а широкая юбка никогда не опадет.

Но что-то неладное начало твориться в публике. Все громче, нахальнее зазвучали нетрезвые голоса:

— Выше крыши! Давай! Давай! Не видно!

Танец Алины от секунды к секунде становился все неистовее, яростнее, хилый оркестр отстал от него. Только бы восторжествовать, победить. Зрители уже откровенно ржали.

Дора схватилась за голову: да что же это судьба-злыдня делает с ней, с дочерью?! Ну, за что?!

И тут услышала рядом стон — не стон, большое мычание.

Оказалось, возле сидит на табуретке Ашраф Булатович и, то-же схватившись за голову, раскачивается взад-вперед, как болванчик.

Танец закончился под развеселый возглас:

— Эй! А может, прыгнешь? Сука буду, коньячком угощу!

Зрители поддерживали реплику довольным хохотом. Под их ржаные Алина хотела было проскочить в спасительный сумрак костюмерной, но Ашраф Булатович загородил ей дорогу.

— Скверная девчонка! Дура! Ты понимаешь, что ты убила мой танец? Ты жизнь мою, мечту мою растоптала, тварь бессмысленная! С ума можно сойти... Такие данные, такой шаг — и хоть бы грамм таланта! Пустышка! Фон-так! А я-то, я-то...

Обернулся к обеим женщинам, все так же горестно качая головой.

— Чего я не делал для этого маленького чудовища? Чего?! Я позволял ей хамить мне, немолодому человеку, как мальчишке. Я спасал ее от уголовников! Я берег ее... надеялся! И вот — хоть бы что-нибудь осталось в ее голове! Кабацкая плясунья, вот ты кто! И никогда, слышишь, никогда на сцене ты ничем иным не станешь! Я — пьяница, погибший человек, я работаю с кобыльим табуном, но о танце я знаю все!

Он не орал, как днем, говорил совсем негромким, сломанным голосом, но слова его пригибали к земле, как петля. И, что самое страшное, глаза ничего не поняв из того, что случилось на сцене, душой Дора чувствовала: он прав!

Потому и Алина молчит, все теснее прижимаясь к косяку двери.

Возникло единственное желание: защитить, прикрыть от жизненной непогоды. И вся душа ушла в единое слово:

— Доченька!

Только никто на него не откликнулся. Алина исчезла.

Шагнула за порог в обманную лунную тьму южной ночи — и сгинула. Прямо как была — в театральных отрепьях, с цыганской гривой на гибкой спине.

...К утру все три свидетеля ее исчезновения прибрали в домик на горе. В гостиницу Алина не пришла, в городе пока найдена не была.

Впрочем, Дорой никто уже не занимался. Ашраф Булатович во время ночных странствий успел в каком-то темном дворе постучать в форточку. Полученную оттуда чачу прихлебывал всю дорогу «из горла» и к рассвету совсем раскис.

Вера Никодимовна хлопотала теперь вокруг него — трепетно и нежно. На утренней заре лицо ее выглядело молодым и даже красивым. «Любит его, — подумала Дора отстраненно, — тоже горемыка...»

Вышла на веранду. На приступке сидела Алина. В нехитром ситцевом платье — красном в белый горошек. Волосы аккуратно скручены узлом на затылке. Возле ног порядочная корзина из соломки, сладостно пахнущая фруктами.

Алина чуть повернула голову.

— Отдай мне метрику. Привезла ведь... И уезжай. Никого видеть не хочу! Не пропаду, не думай! Можешь и этому ослу передать, пусть зря чачу не хлещет... Это, — стукнула носком по корзине, — отвези Димке.

Голос прежний — не терпящий возражений.

— А я? Я-то как без тебя?! Ты глянь — седая ведь я, старушка... За один год! Шить не могу — пальцы не володают. И все через тебя!

Лицо Алины скривилось болезненно.

— Очень жаль, мать. Правда, жаль! Но я уже говорила, могу еще повторить: делать нам в одном гнезде нечего. Ну, давай, что ли, метрику-то!.. Меня люди ждут.

— Не отдам! Не отпущу! Ишь чего: «Люди ее ждут».

— А... Ладно. Не пропаду и так. Счастливого пути!

Махом вскочила со ступеньки, исчезла за углом дома раньше, чем Дора еще хоть одно слово нашла.

... Тот же, разваливающийся на запчасти, автобус отвез ее днем на вокзал. Провожали те же.

Опохмелившийся с утра Ашраф Булатович строил грандиозные планы всесоюзного розыска Алины. Клял себя за несдержанность.

Дора молчала. Вера Никодимовна — тоже. Обе понимали: искать Алину бесполезно.

* * *

...Как тополе-то дворовый вырос. Когда успел? Ветви шатром. Ничего сквозь них не видно. Нет. Опять прояснилось.

* * *

Вернувшись, Дора не узнала сына. Тихий, почти приветливый. Вместе с Иваном Савельевичем встретил ее в прибранном доме. Стекла во дворе целехоньки.

Потянулся было на кухню чайник ставить, но Алинина корзина оказалась привлекательней.

Чайник, не глядя, на подоконник, а сам к лакомому хранилищу. Открыл — внутри каша из желто-красных переспелых груш. Сок течет по пальцам. Подарок доченькин оказался бестолковым.

Впрочем, какие-то груши Димка все равно выпарапал и съел, а из остального Дора сварила повидло. Как ни удивительно, душа в те дни так не болела о дочери, как до поездки.

Непонятно откуда взявшись, жило убеждение: Алина не пропадет. Алина вернется...

Отступили ночные давящие кошмары, распрямились плечи. Перестали дрожать пальцы, и Дора вновь помаленьку принялась за шитье. Тут, как бы для полного успокоения, подоспела неожиданная посылка от Алины. Из дальней дали — Средней Азии, но опять — с урюком, орехами и еще до приторности сладким изюмом.

Записка в посылке короче прежней: «Мать! Я жива и не пропадаю. Метрика мне не нужна. Алина».

Дора долго вертела записку так и сяк, пытаясь найти второй, скрытый, смысл в словах «не пропадаю». Что они значат? Пошла доченька по рукам или, дал Бог, на работу устроилась? Но куда? Ума набралась да учиться поступила. На кого? Либо хорохорится просто, а у самой и куса ежедневного нет? Поколебавшись, показала записку Ивану Савельевичу.

Тот побряхтел, хмыкнул:

— Неладно ведет себя дочка ваша, Дора Никитишна. Нарушает... Ну, как это так — метрика ей не нужна? По чужим документам, выходит, живет? Совсем нехорошо! Не положено.

Он, наверное, долго бы еще распространялся на любимую тему о законности и порядке, но Дора ушла. Не стала слушать.

Хороший мужик, но ведь зануда, господи прости!

По осени в городе на всех углах по бросовой цене продавали некрупную желтую сливу с барским названием «мирабель». За сливой выстаивались очереди. Не миновала их и Дора. Как виденное во сне вспоминала при том южный дворик и обожравшихся не мелочи этой — дивных слив — гусей.

За мелкими домашними заботами все чаще казалось: никуда она и не ездила. Только яростный танец Алины под рыжей луной все еще приходил иногда в полуночные сны.

В этот раз, по возврате из очереди, увидела она возле ворот серую «Победу» большого начальника, старшего Ховрина. Машина кого-то ждала. Шофер сонно клевал носом за рулем.

Стало любопытно: за кем бы это? Но тут из калитки выплыло все семейство Бекеневых: громоздкий папа, теневая мама и вытянутая в струнку, правильная дочка Лида. Что семьи эти знакомы домами, Дора знала, но выходило — вовсе близкие друзья, коли надменный Ховрин служебную машину за ними прислал. Ну, то их дело, а ее — сторона.

Время только выбрали не самое удачное: одной бабушке Ахромеевой изъязвили сердце, больше зевак не сыскалось во дворе. Не видел парадного выезда и Димка. Опять, поди, торчал возле верстака у Ивана Савельевича. Железки те ему медом мазаны.

Дора перемышала мирабель в тазике, томясь неразрешимой задачей: как на малом сахаре сварить большое варенье. В дверь позвонили. Оказалось — Иван Савельевич. Сердце екнуло от привычного предчувствия жалобы на Димкины подвиги. Но Иван Савельевич

почему-то явился при всем параде: на пиджаке три ордена и выставка медалей. Кирзачи насандалены ваксой под хром.

— Дора Никитишна, поговорить я с вами серьезно хочу, — без обиняков начал чуть не с порога. — У вас парень растет. Женщине с ним трудно. У меня все погибли еще в сорок первом... Сеструха одна уцелела, на Тамбовщине живет. Вот я и прошу: выходите за меня замуж! Женщина вы правильная, серьезная. Вроде как на покойницу, Настю, похожи. Извините, коли не по сердцу слово. Не обучен слова-то говорить. Просто думаю: легче нам будет вместе. Или не так?

Не сказать, что предложение так уж удивило Дору. Давно она заметила к себе интерес. А все равно — растерялась. Горстка слив выпала из пальцев, раскатилась по столу янтарными бусами.

В секунду, как бывает на переломе судьбы, промелькнула перед глазами давняя молодая жизнь. Короткое счастье и долгое бабье сиротство при живом муже. Хлебная каторга военных лет и Гехин в душу плевков. Выходило: опереться в прошлом не на что. Нечего и возразить.

Но что-то держало. Дора катала пальцем по столу сливу. Думала. И стукнуло в голову: «Да не на квартиру ли твою мужик зарится? Только у тебя добра и есть. Не молода ведь уже и от красоты следа не осталось. Квартира — капитал».

Обернувшись, встретила его напряженно ожидающий взгляд.

— Спасибо за доброту, за сына. Пожалел ты нас, сирот, Иван Савельевич. Только не молодуха я — так вот, взбрыком, замуж иди... Погодим еще, приглядимся друг к другу. Что спешить-то? Еще как Димке это дело глянется — поди знай... А дочь? Она что скажет?

Чем дальше говорила, тем тверже укрепились в исконной деревенской осторожности.

Иван Савельевич, видимо, понял ее по-своему.

— Что ж? Негоже, как говорится, с суконным рылом в калашный ряд. Не сердись, Дора Никитишна. Ошибся!

Дора струхнула:

— Нет, нет! Что вы! Грех так и думать-то: «рылом не вышел». Неужто я, дура, сердцу цены не вижу? Не понимаю? Да детная ведь, не вольный ветер... Потому и поразмыслить надо. Не с плеча рубить.

Улыбнулась просительно:

— Поужинать приходите. Уж чем Бог послал угощу, не обессудьте!

А про себя подумала, что до случая припрятанный кус жирной соленой палтусины очень даже теперь пригодится.

Можно и «маленькую» сообразить. Не мешает ведь и приглядеться — как он, Иван-то Савельевич, к этому делу относится? Раньше было ни к чему. Ну, а коли одним домком жить, так оно много значит: в дальней ли, близкой ли дружбе мужик с бутылкой.

Иван Савельевич явно колебался: не такого ответа ждал, но и обижаться, выходило, не на что. Вдруг лицо просветлело, расправилась на лбу сердитая складка. Дора поняла: выиграла! Ему еще и нравится теперь, что сразу не согласилась.

— Спасибо, Дора Никитишна, отужинать приду?. Только не обессудьте: «змия» не потребляю. С войны, контузия у меня. Разве что пивка стаканчик...

Тут в комнату ворвался, полыхающий нетерпением, Димка:

— Дядя Вань! Я вас жду, жду... Обещали ж «поджиг» мне сделать!

— Это я-то тебе «поджиг» обещал сделать?! Отбирать у вас, дураков, не успеваю это добро, да еще и делать бы стал?!

Димкино лицо перекосила быстрая гримаса.

— Ну, не обещали вы! А мне надо, надо!

И ногою топнул громко.

Давно уже боялась Дора его в такие минуты. Сила Димкиного нетерпения передавалась на расстояние, как ожог от бурно вспыхнувшего пламени. Когда на него находило такое, с ним в комнате становилось трудно дышать. Однако Иван Савельевич выдвигал, похоже, виды похлеще. Взял Димку за плечо, развернул и повел на улицу.

— Пошли-ка, торопыга, свежим воздухом подышим да потолкуем спокойно. Больно мне любопытно: кто это тебя за «поджигом» ко мне насолил? Ведь не сам ты пришел.

...Вечером, аккуратно разрезая пресный пирог с палтусиной, Иван Савельевич размышлял вслух:

— Как посмотрю, опасный у вашего сынка характер, Дора Никитишна. В желаниях своих ни меры, ни смысла не знает. А хитрованы некоторые этим пользуются. Раскошегарят парнишку до того, что ему море по колено, да и ждут в кустах: не принесет ли чего нужное? Добудет — выманят. Это тоже с ним просто. Как жить-то он будет такой?

Дора только деликатно высморкалась в кипенно-белый платочек.

Все она про Димку знала. Или думала, что знает. Но плакать ей сейчас не хотелось. Не черной стороной в этот вечер жизнь поворачивалась, да и слез за прожитые годы пролила столько... Нет, не к случаю было горевать за вкусным столом под теплым апельсиновым светом новокупленного абажура.

Димка спал у себя на топчанчике. Как всегда после взрыва чувств, спать завалился ни свет ни заря.

За окном привычно подвывал трамвай на поворотном круге. Во дворе честила на чем свет стоит резвого внука бабка Ахромеева. Все знакомое, привычное, свое. Мирная река жизни. А впереди пристань маячит. Чего еще Доре желать?

Но той же ночью увидела во сне Алину — не Алину, а какую-то девушку в переливчатых птичьих перьях. Проснулась с камнем в груди. Долго лежала без сна с безрадостным пониманием: не будет ей доли. Напрасно возмечтала. Зря.

* * *

...Опять ветки дерева застыт свет. И дерево-то огромное, не знакомое. Откуда оно взялось? Нет... Растаяло.

* * *

Жизнь, вроде бы наполнялась довольством. На витрины магазинов по капле вернулось довоенное изобилие. Но не пришла довоенная же общедоступность. Исчезла и толпа похожих людей с внешней видимостью одного достатка.

Теперь возле шикарного гастронома останавливались вальяжные трофейные авто, либо наши юркие «Победы». Из машин то змейкой выскальзывала, то кулем вываливалась дама с ангельской завивкой «венчиком» и непомерными плечами модного жакета. Час то сумку за нею нес шофер.

Дора не заглядывала в гастроном, как когда-то за сосисками. Кусались сосиски. Она теперь навечно прописалась в очередях «за чем-нибудь».

Возле рынков тоже появились новые личности: расхристанные молодые люди с бесстыжими глазами. Звались: «невалиды». В отличие от честных инвалидов войны.

Торговали пластинками «на ребрах», фотками артистов кино и трофейными соблазнительными карточками. Кучковалась возле них, тоже новая в городе, неприкаянная молодежь — «лимита», «ремеслуха» и какие-то личности постарше, попригляднее внешне, но тоже без видимого дела.

Ну и, конечно, девицы с наведенными помадой алчными губами.

Дора компании эти обходила стороной, радуясь тихому пристанищу своего двора. Да, видно, и тут Бог радости не сулил.

Появились они ополдень, далеко впереди себя гоня тяжкий дух винного перегара. Хоть и не в перьях, как во сне, но вовсе непохожая на прежнюю Алину. С нею — длинный и ломкий парень.

Ладная круглая голова обрита наголо. Из-под высокого лба смотрят девичьи длинноресничные глаза. Манят весенней зеленью. А дальше все лицо на убыль идет. Нос тонкий, вихлявый, рот — гузкой куриной, а подбородка, почитай, и вовсе нет.

Дело к Октябрьской, на улице давно заморозки, а на парне только ветром подбитая курточка, да на ногах — сквозные летние сандалии.

Алина одета получше, вроде бы даже с форсом, а посмотреть — так гроша ломаного не стоит и ее наряд. Лицо же совсем взрослое: усталое, настороженно-цепкое, как у цыганки. В руках — тяжелая сумка. У парня — невесомый плоский портфельчик. Ни объятий, ни радостных слез. Такая вышла встреча после четырех лет хлипкой переписки.

Алина слала открытки на «до востребования» то из одного города, то из другого. Со всех концов страны. Дора только и узнавала из них, что «жива, здорова». Отвечала письмами, мучительно выстраивая на листке косые буквы.

Писала и про то, что не одна теперь, и про то, что Димку дай Бог после седьмого до ремеслухи вместо тюрьмы довести. Получала дочка письма, нет ли — поди знай. Открытки ее ни о чем не говорили. И посылки больше не приходило.

И вот вместо хотя бы «здравствуй»:

— Мать! Знакомься — это Эрик. Он — гений, но пока это знаю только я. Скоро и другие узнают.

Эрик шутовски поклонился, бросил в один угол свой портфель, в другой полетела куртка. Сам плюхнулся на диван — прямо на вышитую дорожку-накидку.

— Как насчет пивка? — спросил словно бы в потолок.

— Будет! — кивнула Алина. — Мать, ты сходишь?

Она вела себя так, словно и не уходила отсюда никуда. Более того: имела право требовать чего угодно. И Дора растерялась — не дала отпора. Диковато оглядывалась на незнакомую дочь, на неожиданного гостя; как во сне, надела жакетку, накинула платок и действительно пошла за пивом.

Пока шлепала к магазинчику «Пиво-воды» по тусклым осенним лужам, ни о чем не думала. Только корила себя за то, что не надела сапог — промочила ноги.

Могутная, щедро поблескивающая золотом в ушах и на пальцах, продавщица Маруся поинтересовалась:

— Что это вы, Дора Никитишна, ровно не в себе сегодня?

Спросила не от интереса — от дождливой скуки и малолюдья.

— Дочь приехала вот... — Неуверенно ответила Дора.

— Так с радостью вас!

— Спасибо!

А сама ведь все еще не поняла: радость или беда вошли в дом вместе с дочерью-беглянкой?

Пока шла сюда, со всех заборов, прикрывая то ли военных лет дыры, то ли нынешние долгострой, улыбались сияющие парни и девушки, звали к радости. А на улице много ли счастливых лиц? Вон у стойки магазинной хохочут двое — ввалились с дождя. Так их счастье пивное — копеечное и короткое. Дочь-то вот с чем пожаловала? Тоже со счастьем? Ох, не то у ее счастьяца лицо!

Когда вернулась, Алина уже хозяйничала на кухне, выпотрошив из-за окна, где Дора хранила свои запасы, все, что было лучшего. Мясо, которое Дора припасла для супа, ахнула на сковороду, покрыв кое-как ломтиками.

— Принесла? — спросила через плечо. — Спасибо! Хорошо, что поняла нас. Эрик возражений не любит.

— Господи! Да кто хоть он?! — стоном вырвалось у Доры.

— Он — гениальный актер и поэт. Люди пока не понимают этого. Тем хуже для них. Мы приехали сюда потому, что наш город — подходящая для него трибуна. На провинцию не стоит тратить силы.

Голос и слова Алины звучали странно: словно по бумажке читала.

Дора никак не могла опомниться, не находила слов, чтобы по делу заговорить.

Придет со службы на обед Иван Савельевич — что скажет? Обещала сегодня Димке в ремеслуху яблок отвезти — теперь что делать? Не дождется ее мальчишка, сбежит того и гляди. Едва ведь взяли с «двойками»-то..

Денек за окном самый что ни на есть обычный: серый и слякотный. Очередь занята за субпродуктами — там теперь и мясным торгуют. Обещали ливер привезти. Да куда от гостей пойдешь?

Мысли, суетные, отрывочные, теснились в голове Доры, отвлекали от главного.

Алина кончила жарить мясо, оглянувшись в поисках подставки, не увидела, схватила со стены полотенце — шарах сковороду на него. Господи, откуда свинство-то взялось?

— Эрик, иди штевкать? Все готово! — позвала друга.

Тот появился в кухне с пивной бутылкой в руках — ополовинил уже.

— А мне? — протянула руку Алина.

Тот быстро и, наверное, больно ударил ее по пальцам.

— Перебьешься! — И еще хлебнул из горла.

Дора ждала привычного дочернего взрыва... а ничего не произошло. Алина только губы надула, что совсем не шло ее теперешнему потчегарому лицу:

— Какой ты... Я же мясо жарила!

Ее повелитель скорчил мерзейшую рожу: собранные в гузку губы вдруг расплылись лягушечьей улыбкой.

— Ну, коли так — лакни! — И протянул Алине все ту же бутылку.

Алина «лакнула» с явным удовольствием. Пошла за тарелками к буфету. И тут Дора наконец поняла, что еще изменилось в дочери. Исчезла ее летящая походка! Алина словно бы каждый раз начинала привычный легкий шаг, но не могла его окончить — нога тяжело опускалась на пятку.

Заметила материн взгляд, дернула плечом.

— Ну, не танцую я больше! Не танцую! Успокоилась? Довольна?

Дора узнала тон прежней Алины.

— Придется тебе, мать, работенку мне подыскать, пока Эрик не расправится со здешними дураками.

Дора молчала. Ничего не могла ни сказать, ни сделать.

А те спокойно устроились за кухонным столом и начали есть прямо со сковородки. Тарелки сиротливо стояли рядом.

Ели так откровенно жадно, что у Доры упало сердце: со времен войны не видывала такого. Голодали, похоже, давно...

Быстренько раскупорили вторую бутылку пива. Разлили на этот раз по стаканам. Доре и не подумали предложить. Но, хлебнув еще пивка, Алина разговорилась:

— Мы из Самарканда — сюда. А денег только на билеты хватило. На еду ни хрена не осталось. Ну, один обед в ресторане Эрик выиграл в карты, а я...

— А ты бутылку коньяка стырила весьма удачно! — спокойно добавил Эрик.

И опять Алина на взвилась, а только усмехнулась косо.

— Тебе же ведь добывала-то...

Опять уловив какое-то Дорино движение, точнее — позыв к нему Алина небрежно сказала:

— Ты его не слушай! Он тебе наговорит! Эрик — фантазер, но он меня любит. Правда, Эрик?

На лице Эрика будто одну маску сменили на другую. Губы надулись спесью.

— Любить тебя?! Женщина, которую я люблю, сейчас в зените славы и не знает, что я уже в пути, что нам уготована встреча, что...

Шлеп! — Алина смазала Эрика по щеке.

Трах! — она же полетела на пол от полновесной мужской оплелухи. Поднялась мгновенно. Глаза сияли.

— Видишь! Он любит меня! А что говорит — не слушай. Он — поэт.

Дора, схватившись за голову, выбежала с кухни.

К дверям — а на пороге Иван Савельевич. Не домашний приветливый — строгий, как «при исполнении».

— День добрый, Никитишна. Стало быть, гости прибыли? Дочка вернулась наконец? Оно бы хорошо, да, вишь, закавыка какая: Ахромеева бабушка детское пальтецо проветриться вывесила. Только отвернулась — нету! А, кроме как к тебе, никто по двору не проходил. Это первое. Второе: Бекенева хозяйка прямо видела, как его сняли и в сумку затолкали. Не бойсь! Не дочка твоя, а этот... дружок ли, муж ли ее, как он там приходится. Она-то, вроде даже и не хотела.

Говоря так, Иван Савельевич прошел в комнату, сразу же увидел Алинину сумку и пальтецо из нее выудил.

Дора, не помня себя, бухнулась ему в ноги.

— Милый, не губи! Отработаю я ей, бабке этой, сколько спросит! Только делу ход не давай!

На пороге кухни появилась Алина, но вмешиваться в происходящее явно не собиралась. Эрика, кажется, и вообще ничто не встретило.

Иван Савельевич покачал головой.

— Эх, Дора, Дорушка, пожалеешь ты о просьбе своей, так пожалеешь! Да поздно будет. Но — дело твое. С Ахромеевой сама разберешься, а я пошел. Не до меня тебе сегодня, чего уж там. До свиданья!

Пальтецо он унес. Смолкли шаги на лестнице. Только тогда Дора тяжело поднялась с пола, бормоча:

— Что же это, что же это, Господи?!

Поздно вечером, ошарашенная, загнанная, пришла к Ивану Савельевичу в каморку — выплакаться.

Жили они по-прежнему каждый в своем углу. Правда, последнее время Дора частенько подумывала, что не мешало бы им сойтись окончательно, да, видно, упустила время: не просился к ней больше Иван Савельевич.

Застала его дома сердитого. Обиделся. Ей бы лисой к нему подкатиться сначала, разговорить обиду... Сил не было на игру.

Потому и не дождалась от него ничего, кроме:

— Не знаю, не знаю, что делать тебе теперь! Нарушать никому не положено...

Ну, на эту тему он мог говорить долго.

Дора махнула рукой, ушла. Знакомые окна освещают узкий колодец двора.

Все видно. Да и ноги каждую щербинку на асфальте помнят.

Не с кем тебе, Дора Никитишна, и поговорить, некому пожаловаться, кроме метлы. Как же это вышло-то?

Домой вернулась — те, наевшись, намывшись, дрыхли на Дориной любованной постели, поскидав куда попало подзоры-накидушки. Море им по колено.

* * *

...Ох, не тополек это, не тополек... Ветви корявые, низкие. Давят... Тяжко от них, сердце падает. Сгиньте! Ушли...

* * *

Алинино отношение к ее личной жизни оказалось простым и жестким:

— Ну, мать, тоже надумала на старости-то лет! На кой тебе черт нужен этот дуб колченогий?

Отмахнулась доченька. А Дору словно по голове стукнуло: вот для чего квартиру-то оберегала, метром боялась поступиться! Да ведь скажи она про то дочери, так и слушать не станет.

А у Ивана Савельевича свой резон:

— Нехорошо. Нарушается. Без прописки жить неположено.

Дочернину-то прописку она сохранила, а уж что с чудищем этим делать — не знала.

Эрик сковал Дору беспечной наглостью. Уж каких, кажись, не встречала в жизни — такого не довелось. И оплошала: не нашла на беса управы сразу. Позже — время упустила.

Все ведь умом-то про него понимала: паразит, никому и нигде он не нужен. Мало ли что он Алине в голову вбил. На то она и баба. Да и молода еще — мужиков понимать. Сама бы, кажись, метлу в руки, да и вон из квартиры под задницу, но... не смогла!

Как и все дворники в окрестностях, Дора собирала бутылки. Даже вроде существовал договор негласный: кому где брать. У Доры участок хлебный: рядом магазин. Каждое утро не с пустыми руками домой возвращалась. А до случая складывала бутылки в ящик возле вешалки. Накопится мешок — на тележку его да в магазин. Как раз скопилось достаточно. До полочки еще три дня, а с нахлебниками-то в доме не густо.

Дора к ящику — пустой! Хоть бы чекушка какая завалялась.

Заглянула на кухню. Там, как часто теперь, петушилась рваная компания.

— Это кто в ящик лазал?! У кого такие лапы длинные? — зло, напористо спросила Дора.

Компания и голов не повернула.

Эрик поставил стакан, лениво встал, как всегда пугая нелюдской ломкостью длинного тела. Подошел к буфету. Медленно открыл створки и одним движением смахнул на пол всю стопку обеденных тарелок. Тарарахнуло — на первом этаже слышно.

В движении руки Эрика не просматривалось и следа злой то-ропливости, а лицо оставалось безмятежным. Только изнутри разгорались зеленым котовым огнем красивые глаза.

Дора так и замерла на полслове.

Вскочила Алина.

— Мать! Уходи немедленно! Сказано ведь было: Эрика нельзя злить. Нашла время права качать — бутылок поганных ей жаль! Мы их хоть на дело пустили.

Куда теперь? Кому с такой бедой нужна?

...Вошла, не постучавшись.

Все вразброс. Осередь комнаты табуретка, на ней чемодан с железными уголышками. И почти доверху набит.

Иван Савельевич с незнакомым, отрешенно спокойным лицом присматривает местечко, где бы неукладистую черную тарелку радио пристроить. Господи! Никак и впрямь уезжать собрался?!

Согнанная с мест мебелишка обнажила стены и окна. И Дора впервые увидела, что углы у каморки в белой плесени — насквозь просырели. А в окно заглядывает пожухлая крапива.

— Здравствуй, не виделись сегодня, — кивнул Иван Савельевич, закрывая чемодан. — Хороминой моей любуешься? Прежде-то ни к чему было... Оно конечно — не как у тебя. То и берегла ты жилуху свою. Я ведь понимаю. Только теперь все: еду к сеструхе в Тамбов. Не за то воевал, чтобы беззаконию потакать!

— Да какому беззаконию-то? Объясни хоть... — вовсе растерялась Дора.

— А хоть и твоему. Живет у тебя паразит без прописки. Или не так? Я же его и тронуть не могу: не чужие мы вроде.

Дурак недоделанный сам спивается и пацанов к тому же манит. Опять не тронь? Папа, вишь, шишка большая? Не нужна мне такая жизнь. Не обессудь, Дора Никитишна.

Одним поступишься, другого не увидишь, а там и беречь будет нечего. Так что расстаетесь вы как в море корабли. За доброе — спасибо! От зла — Бог избавит. Пошел я...

Дора от растерянности курицей завохтала:

— Как, как это пошел?!

Он, проходя мимо, погладил по плечу:

— А так и пошел. Будь здорова, Дора Никитишна. — Вышла нам не судьба. Извиняй.

Придержал дверь, чтобы выпустить ее на улицу.

— Да я хоть провожу... На дорогу-то тебе бы чего собрать, — совсем потерявшись, лепетала Дора.

Он только молча отрицательно головой покачал — и за угол.

Остался пустой перекресток, косой, подветренный, неистощимый дождик и быстро смокший асфальт.

Кое-где от осенней сутемки середь дня включили электричество. Окна отразились в мокром асфальте желтыми квадратами.

Очень, очень давно, когда Дора только еще приехала в этот город, она, вечерами бегая в булочную, старалась идти только по этим пятнам света. Казалось: на счастье.

Сегодня куда отяжелевшую ногу ставить, на что надеяться?

* * *

...На ветви дерева, уже совсем ясно видимые, надвинулась тень. Голос из дальнего далека, слабый, еле слышимый: «Женщина! Вам плохо! Что с вами?» Ах, не мешали бы, не звали! Зачем?

* * *

— Димушка, я вот пирожка принесла с мясом... Домой-то придешь в воскресенье? Расписываться вроде они собрались. Уж и не знаю, что только будет у нас?

Димка молча отхватил от пирога чуть не половину — набил щеки. Господи: чем кормят-то их тут? Воруют, поди, начальнички-то. Как не воровать?

— Ты хоть обедал ли сегодня?

Димка сглотнул, наконец, кус:

— Обедал, чего там... А эти... у нас жить будут, да?

— Ой, уж и не знаю. Посоветоваться вот пришла. Алина-то размен просит, да и я... сил нет терпеть! Устала. Ты-то как думаешь?

— А чего мне думать? — дернулся. — Я все равно уеду. На Север. Там деньги хорошие платят.

— Деньги! А здоровье? Вон ты какой тощей да серый...

— Хватит моего здоровья. Не твоя забота! Мне машину надо.

Сгорбился, отвел глаза:

— Ну, я пошел?

— Так в воскресенье-то придешь?

— Не-а... Обойдутся. Покедова!

И вымученной развалистой походочкой пошкандыбал к двери на лестницу.

Что-то напомнила ей новая походка сына. Господи: ведь точно так же уходил когда-то Иван из памятного проклятого кабинета. Такого длинного, что шел — и не мог уйти. Не кончалась красная дорожка, ведущая к спасительной двери.

Димка ушел быстрее. В сквозняковом нечистом вестибюле лозунги кричали со стен о светлом будущем.

На дворе переметал снега злой непонятный февраль.

Принес он такое, чего Дора умом постичь не могла: Сталин нехорош оказался! И времени-то не сколь много прошло, а уж и забыли, видно, как вся улица выла в день его похорон... Может ли быть: Сталин — и чего-то не правое делал?

И ведь ни с кем не обговоришь, не посоветуешься.

Доченька при неожиданной вести впала в мрачную тоску. Эрик же спросил странно:

— Как вам, не жутко теперь?

И тут впервые за многие дни знакомо взорвалась Алина.

— Молчи, что ты понимаешь?!

За что и получила привычную оплеуху. Не утихла, кинулась с кулачонками. Ну, и оказалась, как и прежде не раз бывало, на полу.

Эрик раскланялся шутовски:

— Уж извините! Это в ней бывшая рабовладелица взбрыкнула.

Приходится умирять-с!

...Свадьбы, тем не менее, не отложили.

Опять все упиралось в дела Эрика: он наконец-то нашел какую-то «свою» работу, но получить ее мог только при наличии прописки. Он ничуть не скрывал унижительной причины брачного торжества.

Алина же по-прежнему бредила:

— Он меня любит! Он просто живет сейчас в другом образе.

Дора не вмешивалась. Давно на одичалых этих рукой махнула.

Последнее время на улицах начали появляться вчерашние люди.

Будто из голодных, оборванных послевоенных лет. Одежка на них разной цены и срока — как с чужого плеча. Лица — будто из мореного дерева. Без возраста и выражения. Трезвые — вежливые, тихие. Выпившие — неудержимо говорливые, а то и просто буйные. Следом за ними ползло длинное трудное слово: «Реабилитированные».

Что двое у ворот они самые, Дора поняла сразу. Стоят на сквозном ветру — и хоть бы что им. Покуривают да на дом поглядывают. Чего бы ради? Не украсть ли чего целятся?

На худой высокой женщине потертый сурковый жакетик, а шапка богатейшая — огнем лиса горит. Мужик в широковатом драповом пальто, а шапчонка сиротская со стриженным голубоватым мехом, неведомого зверя. В «ремеслухе» у Димки такие-то выдали.

Ветер рвет с земли мусорную поземку, швыряет куда ни попадя. Махнул серым городским снегом прямо женщине в лицо. Из-под праздничной шапки вырвалась прядь пего поседевших рыжих волос. Сама она повернулась, остро глянула на Дору:

— А... Дора Никитишна! Здравствуйте! Все при тех же занятиях, как я понимаю?

Голос неузнаваемый: глухой, осипший. Но ведь она — Люся Полякова! На лице нет ни молодости, ни красоты: сухое, бесслезное. Губы потрескались. Может от курева? Взасос, глубоко тянет «беломорину».

Вот решила показать мужу дом, где жила. Да к Толиной матери зашла. Знаю я о нем немного, но все же...

Вы не сомневайтесь, Дора Никитишна: фотография та по адресу попала. Алина старалась не зря. А Толя-то, дурачок, уголовный срок потянул, чтобы меня найти. Да где же?

Нет! Вы не беспокойтесь: на жилье я не претендую. И Алине

вашей я не судья. Бог рассудит. А мы вот посмотрели, и — будя. В прошлое дороги нет. Пошли, Коля!

Дора как схватилась рукой без перчатки за чугунный завиток ограды, так и замерла, не чувствуя морозного ожога.

Будто черная льдина всплыла из глубин памяти, придавила. Постой Люся еще с минуту — бухнулась бы ей в ноги.

Не стала ждать. Ушла. Поземка и след мигом слизнула. Появилась из небытия, да в него же и канула. Насовсем ли? Ну как по судам вздумает таскать, доказывать дочерину вину? Мало ли что сейчас сказала? Завтра возьмет да передумает. Как бы только Алину упредить, чтобы тот не услышал, не понял о чем речь?

Серой мышкой скользнула в квартиру. Уже привыкла приходить тихо. Никого. Диковина: ни кухонного ора, ни стаканного звона. Остался только тяжкий, всю квартиру отравивший, табачно-винный перегар. Кабацкая неизбежная кислятина, дух беды.

Дора присела на диван. Никогда прежде-то на него не садилась — не для того красовался в подушечках-прошивочках. Теперь все равно: ободранный, голый. Кожу вон папироской прожгли, а тут — порезали. Им все едино: вещей они не видят.

Оглянулась тоскливо: что осталось-то от ее дома? Одни наmeshливые барские окна, что, видно, так и не приняли когда-то новую хозяйку. Ждали своего часа — посчитаться. Дождались.

Ведь чувствовала! С первой минуты, как Иван привел ее в квартиру, где чужие вещи непослушно топорщились: не житье им тут. Не по ним кус. Да что сказать-то могла она, истинная «деревенщина», как в злые минуты называл ее Иван?

Жизнь положила на то, чтобы непокорное жилье обжить, приручить, приспособить к своей душе. Людей оттого не замечала.

И вот — получила.

На лестнице послышался перебивчивый топот нетрезвых ног. Идут.

Алина вошла радостная: порозовевшая и похорошевшая. Как всегда, не заботясь, поймет мать, нет ли о чем речь, сообщила:

— Можешь поздравить: у Эрика завтра проба.

— Люську я встретила сейчас. Полякову, — ответила Дора. Алинино лицо погасло и заострилось:

— Ну, и что она?

— Ничего. Сказала, что бывшую квартиру свою мужу хотела показать. Что, мол, зла не держит. Бог рассудит.

— А... Бог? Ну, ладно. Это семечки. Ты вот подумай, что можно загнать сейчас по-быстрому? Хрусталь этот дурацкий? Эрику нужно приличное пальто. В кино о человеке по шкуре судят.

Дора выдохнула со всхлипом:

— Хрусталь?! Нет уж, милая, не ты зарабатывала! Не ты над чужим шитьем слепа за него. Хватит. Покормились. Обмен у меня

есть — нам по комнате. А больше ничего я, доченька, сделать для тебя не могу. Изъездилась.

Сама себе подивилась, но посмотрела на Эрика прямо и строго. Больше его не боялась. И увидела, что в переменчивых его кошачьих глазах — уважение.

Но Дора уже перешагнула через порог решения. Ей было без разницы, как он на нее смотрит, что думает недоуменно притихшая Алина.

Дом и прошлая жизнь в нем отпустили ее на свободу.

* * *

— Женщина! Не спите! Женщина! — голос звучал рядом.

Дора открыла глаза. Перед ней сердитая медсестра в застиранном халате. Трясет за плечо. Над головой — корявый тополь. Сама она сидит на скамейке. А рядом знакомое красно-кирпичное здание больницы и три истоптанные до ложбины ступеньки к двери, которой век бы не знать.

Испугалась: еще свиданий лишат, порядки-то здесь тюремные.

— Извините! Я сейчас уйду. Ноги отказали вот...

— Идти-то можете?

— Могу! — встала кое-как да поскорее прочь. Хотя в голове все еще туман и мир сегодняшний упорно путается с минувшим.

Ну, до трамвая добралась и место нашлось. Теперь до центра можно проморгаться, никто не тронет.

Мелькают, непохожие сами на себя неузнаваемо захламленные улицы.

Вместо привычных ясных лозунгов — пугающая разноголосица призывов. Не понять только: куда и кто зовет?

Столбы и заборы лохматятся белыми перышками объявлений. Там, что ни день, все больше новых непривычных слов. Хотя и объясняла Алина, не постичь Доре, что такое «компьютер», или еще вот «плеер»...

И радио-то ныне говорит словно бы на русском, но как и не совсем родном языке. Одно слово поймешь — второе мимо ушей.

Трудная жизнь. Свободы хоть захлебнись, а талоны на сахар третий месяц не отоварены.

Сошла на перекрестке возле своего прежнего дома, а не оглянувшись: не один, а уже два размена пролегли между днем вчерашним и сегодняшним. Прошлое ожило, только в больном сне под тополем на скамье-судилище. А так — засыпало ее, ту жизнь, как дом при оползне сырой тяжелой землей невзгод.

...Думала больше о дочери: у нее есть Гуля.

Дора не осуждает дочь: не спросишь с нее, как с иных прочих. Не задалась жизнь. Как предрекла нищенка на вокзале — так и вышло. Даже гордыню дочерину смирила нищета.

По делу-то можно было и не идти к Алине сегодня. Хватит большого тяжкого похода. Но есть Гуля. Позднее неожиданное дитя Алины. Зачата между ссор. Выношена незаметно: Алина до последнего ходила перетянутая, боясь некрасивости. Рождена без отца — его чуть не год носила где-то нелегкая.

Гуле скоро десять. У нее хрупкое тело и большая голова в иконном nimбе тонких белокурых волос.

Глядя на нее, самые остервенелые обитательницы коммунальной кухни вздыхают сочувственно: «Не жилища!» Стараются помочь хоть малостью. Гуля им нужна. От того, что она есть, теплее всем озлобленным, усталым, несчастным сердцам.

Дело в том, что люди Гуле интересны. У матери во флигеле она бывает редко. В тамошнем вертепе ни к кому не подойдешь. А вот в сумрачной коммунальной кухне соседнего дома Гуля у себя. Там у каждой кухарки свои беды и болезни. Никому, кроме Гули, они не ведомы. Она помнит, что сказал врач бабе Тоне при выписке из больницы и в каком боку у нее теперь колотье. Знает, когда вернется из армии сын тети Дуси и на кого «положил глаз» неистощимый озорник Генка... В Гулином сердце места хватит всем.

...Солнце какое сегодня щедрое: светит с утра и хоть бы облачко на небе. Почти не случается такого в этом насквозь промокшем городе.

Под ногами бесхитростное разноцветье кленовых и липовых листьев.

Неподалеку сквер, где доживают век могучие деревья — свидетели славного прошлого города. Сегодня они из последних сил стараются прикрыть людское неряшество.

Дом, где ютится Алина, ругателен и многолюден, а двор — узок и задушен асфальтом.

Но и туда погожий утренний ветер занес несколько кленовых листьев. Вместе с единственным солнечным лучом листья легли на колени девочки, что сидит на чуть нагретой солнцем завалинке. Не иначе кто-то из мимошедших людей решил порадовать любимицу.

— Бабушка! — Гуля потянулась навстречу не телом, оно непослушное, а душой и взглядом.

Глаза у нее ручейково светлые, внимательные. В них далекая, почти неуловимая, тень дедова взгляда. Но без капли его неукротимой хватки. Гуля рождена отдавать, а не брать. Одна ее мать никак

этого понять не хочет. Злится на Гулину подельчивость. Еще малышкой лупила за безвозвратно отданные игрушки.

У Доры тоскливо сжималось от этого сердце: не сама ли и Алину была за то же? Теперь и сказала бы слово, да нет его.

Гуля подвинулась на завалинке, освобождая место.

— Ой, как хорошо, что ты пришла, бабуля. Все на работе и мне так ску-у-учно. Домой не хочу, там... эти. Ты устала? По-сиди со мной. Солнышко еще долго не уйдет, целые полчаса. Нам с тобой хо...о...орошо будет!

Ничего не произошло. Остался все тот же тесный, неухоженный двор, где в лужах киснут окурки и обертки от мороженого. Дворников теперь нет. Убирать некому.

И все те же надоедные воющие «ом мане...» голоса доносятся из флигеля, а от ворот тащится с утра глаголем с похмельюги согнутый Эрик.

Но все это, обыденное и несчастное, словно бы отодвинулось. Отпустило.

Остался Гулин светлый взгляд. И бесконечно долгие полчаса, пока со двора не уйдет солнце.

Можно наконец-то и Доре отдохнуть. Время пришло...



Продолжение темы

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...

К России

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...

Ложь воплотилась в булат;
Каким-то божьим лопущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем...

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, —
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещение!

О, в этом испытаньи строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом...

С.В.МАКСИМОВ — П.А.КАТЕНИН — А.Ф.ПИСЕМСКИЙ

(Эпизод из жизненных и творческих связей)

Один из первых биографов С. В. Максимова Петр Васильевич Быков, лично знакомый с писателем, сообщал: «По свидетельству самого Максимова, его отец, несмотря на свое плохое образование, был человек довольно просвещенный, много читавший, много видевший на своем веку. Он был большой приятель известного друга Пушкина и академика Павла Александровича Катенина, коротавшего с ним время во дни своей ссылки, в своем костромском поместье».¹

Насколько достоверны эти сведения? Есть ли факты, их подтверждающие?

Известно, что Василий Никитич Максимов (р. 1790), отец писателя, с 1804 по 1831 гг. служил стряпчим в Кологривском уездном суде, а с 10 апреля 1831 года был определен в должность почтмейстера Парфентьевской почтовой конторы.² Знакомство В. Н. Максимова с П. А. Катениным состоялось в 1820-х годах, в период службы в Кологриве. Это подтверждается наличием у В. Н. Максимова и П. А. Катенина общих друзей.

В письме к Н. И. Бахтину от 29 сентября 1829 года П. А. Катенин сообщает: «Сосед мой Жуков, также служивший в поле в 1812-м и в следующих годах, вдруг захворал точно тем же, чем я в феврале, руки и ноги отнялись, старые биваки о себе напоминают; много мы с ним выслужили».³ Речь идет о кологривском дворянине, штабс-капитане и кавалере Александре Степановиче Жукове (р. 1795), сражавшемся в 1812 году в Северной армии под Полоцком, а в 1814 году раненым во Франции под Линьи. С 1809 по 1829 годы А. С. Жуков служил заседателем Кологривского уездного суда вместе с В. Н. Максимовым. О тесной дружбе В. Н. Максимова с семейством А. С. Жукова свидетельствует следующий факт. Супруга А. С. Жукова, штабс-капитанша, кологривская помещица Мария Александровна Жукова, была восприемницей Ивана Васильевича, сына В. Н. Максимова, при его крещении в Парфентьевском Ризположенском соборе 1 сентября 1844 года.⁴ Учитывая образ жизни П. А. Катенина, его неумное хлебосольство, а также частые проезды через Парфентьев из кологривской усадьбы Шаево в чухломскую усадьбу Колотилово и обратно, можно предполагать, что еще мальчиком, а

затем учеником Кологривского училища и костромским гимназистом, С. В. Максимов находился под влиянием незаурядной личности именитого приятеля своего отца.

Каким могло быть это влияние? Какие взгляды исповедовал Катенин в последнее десятилетие своей жизни? Ответ на это не прост, ибо архив Катенина 1840-х годов утрачен. Сохранились на этот счет лишь косвенные свидетельства. Одним из самых достоверных и надежных является автобиографический роман А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов». В этом романе, в частности, описывается своеобразная реакция Коптина (под такой фамилией выведен здесь Катенин) на бедствие, постигшее Кострому в сентябре 1847 года. Для нас это особенно интересно, ибо пятнадцатилетний пансионер-гимназист Сергей Максимов был очевидцем тех же событий, не только потрясших весь город, но имевших прямое отношение к Костромской гимназии и существовавшему при ней дворянскому пансиону.

22 ноября 1847 года «Костромские губернские ведомости» сообщали: «В первой половине сентября Провидению угодно было попустить на наш губернский город тяжкое испытание — четыре пожара один за другим и в лучшей части города. Первый, самый ужаснейший, случился в половине третьего ночи с 5-го на 6-е число на Александровской улице, позади смежных дворов мещан Энгерта и Литова, откуда огонь, при бывшем тогда сильнейшем юго-восточном ветре с вихрем, перелетел поперек трех улиц — Марьинской, Павловской и Еленинской» с которой «пламя перешло на Богоявленскую». К рассвету 6-го сентября «все здания, стоявшие под ветром, были объаты пламенем, а часов в 7 утра загорелся Богоявленский монастырь и столь быстро, что бывший там народ и монашествующие едва успели спастись через отверстие, пробитое в каменной стене жителями и чинами гарнизонного батальона». Затем пламя переметнулось на прилегающую с северо-запада к монастырю Власьевскую улицу и истребило все дома между Рождественскою церковью и улицами Пятницкою, Царевскою и Спасскою. «Всего на этом пространстве погибло в пламени 118 зданий».

Одновременно с пожаром на Александровской улице, за версту от нее, на самом конце города, вспыхнуло здание полотняной фабрики и сгорело до основания.

Не успели костромичи опомниться от губительного опустошения, как 9-го сентября вечером полыхнуло на Покровской улице. А 10-го занялось на Кинешемской... Порывистый юго-восточный ветер перекинул пламя на Александровскую, Мариинскую и Павловскую улицы. Сгорело 66 зданий частных и общественных.

Наконец, 11-го сентября, в шесть утра, на рассвете, показался огонь на Смоленской улице в сеннике купцов Вавиловых...

Город был объят страхом и ужасом. Началась паника. Протоирей кафедрального Успенского собора Василий Горский так описал состояние костромичей в эти трагические дни:

«Кто устроит нас по месяцам прежних дней, в которых Бог, милуя, хранил нас?!» — восклицали мы, биюще в перси свои, когда огненная стихия, разлившись быстрою рекою по стогнам града нашего, превращала мирные кровы наши в персть и в пепел; когда рассвирепевшее пламя, смешавшись с бурным вихрем, поглощало все, к чему прикасалось: когда дым жупельный и зной тлетворный запирали самое дыхание наше; когда сон и сладкая дремота, последняя отрада злополучных, оставили, бежали нас; когда ужас настоящего и страх будущего хладную землю общим ложем, а звездное небо общим сделали покровом для всех... «Кто устроит нас по месяцам прежних дней!» — восклицали мы с горькими слезами, с тяжкими вздохами и даже с воплями крепкими».⁵

Сам характер пожаров, методично занимавшихся изо дня в день в разных местах города, наводил на мысль о злоумышленных поджогах. Потрясенные костромичи, по словам анонимного автора, «кинулись на брошенную кем-то в народе мысль, будто пожары были следствием заговора поляков и произведены находящимися в здешнем крае их соотечественниками. Такое мнение стало общим в городе». По распоряжению губернатора взяли под стражу всех проживающих в Костроме польских уроженцев. Мужчин, женщин и детей целыми семействами заключали в городскую тюрьму. Чтобы дать выход народному гневу, их периодически водили по городу под конвоем солдат с обнаженным оружием для демонстрации жителям Костромы в качестве страшных злоумышленников.

Началось следствие. Подозрение в злоумышленных поджогах, по доносу горничной, пало на врача Костромской городской больницы М. И. Ходоровича, который одновременно был штатным доктором дворянского гимназического пансиона, где учился тогда Сергей Максимов. Ходоровича костромичи могли бы считать старожилом. Прослужив здесь 28 лет, дослужившись до чина надворного советника, он, казалось бы, совершенно обрусел и детей своих воспитывал в православии. Безукоризненной честностью Ходорович приобрел уважение горожан. А во время свирепствовавшей в 1830 году холеры своими врачебными знаниями получил от костромичей всеобщую признательность.⁶

Но... «любит человек падение праведника и позор его!» И сам Ходорович, и все его семейство подверглись тяжкому обвинению, публичному поношению и позору. По свидетельству историка Костромской гимназии Коробицына, не только гимназисты, но и все их учителя и воспитатели были единодушны в мнении, что причиною пожаров явилась месть давних врагов России Костроме, родине Ивана Сусанина,

погубившего польский отряд и спасшего в начале XVII века юного царя Михаила Романова.

Испуганные обыватели в панике вывозили оставшееся имущество, бросали даже уцелевшие дома и проводили ночи в открытом поле за городом в ожидании новых поджогов. Дворяне разъезжались спешно по своим поместьям. Занятия в гимназии и уездном училище, а также в духовной семинарии прекратились, учащиеся были распущены по домам на неопределенный срок.

О чем думал юный пансионер-гимназист Сережа Максимов, когда почтовый дилижанс, подпрыгивая на ухабах, вез его в Парфентьев? Как оценивал случившееся в Костроме событие его отец, парфентьевский почтмейстер Василий

Никитич Максимов? Об этом мы можем лишь догадываться. Но зато нам доподлинно известно, как отнесся к слухам о поджигателях «большой приятель», частый гость в их доме, Павел Александрович Катенин.

«Гордый сосед, гордый-с! — повторял Коптин (Катенин), встречая Вихрова (Писемского) в романе «Люди сороковых годов». — Ну и нельзя, впрочем, сочинитель ведь!» — прибавил он, обращаясь к Живину и дружески пожимая ему руку.

— Прошу послушать, однако, — сказал он, усадив гостей. — Ну, святой отче, рассказывайте! — прибавил он, относясь к священнику.

— Несчастье великое посетило наш губернский град, — начал тот каким-то сильно протяжным голосом, — пятого числа показалось пламя на Калужской улице и тем же самым часом на Сергиевской улице, версты полторы от Калужской отстоящей, так что пожарные недоумевали, где им действовать, пламя пожрало обе сии улицы, многие храмы и монастыри.

— Mon Dieu! Mon Dieu! — воскликнул Коптин, закатывая глаза и как бы живо себе представляя страшную картину разрушения.

— Что же это, поджог? — спросил Живин.

— Надо быть, — отвечал священник, — потому что следующее шестое число вспыхнул пожар уже в местах пяти и везде одновременно, так что жители стали все взволнованы тем: лавки закрылись, хлебники даже перестали печь хлебы, бедные погорелые жители выселялись на поле, около града, на дождь и на ветер, не имея ни пищи, ни одевания! ...

— Но кто же поджигает, если это поджоги? — спросил Вихров.

— Мнение народа сначала было такое, что аки бы гарнизонные солдаты, так как они и до того еще времени воровства много производили и убийство даже делали!.. А после слух в народе пошел, что это поляки, живущие в нашей губернии и злобствующие против России... Прямо так и говорили, что к одному из них, весьма почтенному лицу, приезжал ксендз и увещевал свою паству, чтобы она камня на камне в сем граде не оставила!

— Да зачем же именно в этом граде? — спросил Вихров.
— Так как сей град знаменит многими избиениями поляков.
— Прекрасно-с, но кто же слышал, что ксендз именно таким образом увещевал? — спросил опять Вихров.

— Сего лица захваченные мальчик и горничная, — отвечал священник. —<...> Сие почтенное лицо, также и семейство его уже посажены в острог, так как от господина губернатора стало требовать того дворянство, а также небезопасно было оставлять их в доме и от простого народу, ибо чернь была крайне раздражена и могла бы их живых растерзать на части.<...>

— Но вы сами согласитесь, что нельзя же по одному ощущению, хоть бы оно даже и массе принадлежало, кидать людей в темницу, с семейством, в числе которых, вероятно, есть и женщины.

— Дщерь его главным образом и подозревают, — объяснил священник, — и когда теперича ее на допрос поведут по улицам, то народ камнями и грязью в нее кидает и солдаты еле скрывают ее.

— Это еще большее варварство — кидать в женщину грязью... — горячился Вихров.

Александр Иваныч, с начала еще этого разговора вставший и все ходивший по комнате и несколько раз уже подходивший к закуске и выпивавший по своей четверть рюмочке, на последних словах Павла вдруг остановился перед ним и, сложив руки на груди, начал с дрожжащими от гнева губами:

— Как же вы, милостивый государь, будучи русским, будучи туземцем здешним, позволяете говорить, что это варварство, когда какого-то там негодяя и его дочеренку посадили в острог, а это не варварство, что господа поляки весь ваш родной город выжгли?

— Но это, Александр Иванович, надобно еще доказать, что они выжгли! — возразил несколько сконфуженный Вихров.

— Доказано-с это!.. Доказано! — кричал Александр Иваныч. — Горничная их, мальчишка их показывали, что ксендз их заставлял жечь! Чего ж вам еще больше, каких доказательств еще надобно русскому?

— Русский ли бы я был или не русский, по мне всегда и важнее всего правда! — возразил Вихров, весьма недовольный этим затеявшимся спором.

— А, вот он, университет! Вот он, я вижу, сидит в этих словах! — кричал Александр Иваныч. — Это гуманность наша, наш космополитизм, которому все равно, свой или чужой очаг. Поляки, сударь, вторгались всегда в нашу историю: заводилась ли крамола в царском роде — они тут; шел ли неприятель страшный, грозный, потрясавший все основы народного здания нашего, — они в передних рядах у него были.

— Ну, и от нас им, Александр Иваныч, доставалось порядком, — заметил с улыбкою Павел.

— Да вы-то не смеее этого говорить, понимаете вы. Ваш университет поэтому, внушивший вам такие понятия, предатель! И вы предатель, не правительства вашего, вы хуже того, вы предатель всего русского народа, вы изменник всем нашим инстинктам народным». ⁷

Обратим внимание: Писемский точно воспроизводит в романе не только крупные факты, но и мельчайшие подробности. Есть все основания предполагать, что столь же достоверно передает он существенные штрихи в характере и умонастроениях Павла Александровича. Катенин предстает у него славянофилом, решительным противником русского либерализма западнической ориентации. Он на дух не переносит романтическую туманность и своеобразный идеализм «людей сороковых годов».

Писемский десятью годами ранее Максимова окончил Костромскую гимназию. К 1847-му году он уже получил университетскую закалку, надежно охранявшую его от крайностей таких суждений. Иначе, по-видимому, относился к словам Катенина юный гимназист Сергей Максимов. В доме его отца, худородного парфеньевского почтмейстера, авторитет «друга Пушкина», академика и генерала, по всей вероятности, был непререкаемым. Дружбой с Катениным Василий Никитич, конечно же, дорожил и гордился перед сослуживцами. В губернской и уездной среде к Павлу Александровичу относились с особым почтением, несмотря на свойственные ему чудачества. Это

отметил в своем романе и Алексей Феофилактович Писемский: «Вскоре, в один из своих приездов, Живин вошел к Вихрову с некоторым одушевлением.

— Сейчас, братец ты мой, — начал он каким-то веселым голосом, — я встретил здешнего генерала и писателя Александра Ивановича Коптина.

— А!.. — произнес Вихров. — А ты разве знаком с ним?

— Приятели даже! — отвечал не без гордости Живин. — ...Какой учености, братец, он громадной! Раз как-то разговорились мы с ним о Ватикане. Он вдруг и говорит, что там в такой-то комнате такой-то образ висит; я сейчас после того, проехавши в город, в училище уездное, там отличное есть описание Рима, достал, смотрю: действительно такая картина висит... Математике он, говорят, у самого Лагранжа учился!.. Какой случай раз вышел!.. Он церковь у себя в приходе сам строил; только архитектор приезжает в это село и говорит: «Нельзя этого свода строить, не выдержит!» Александр Иванович и поддел его на этом. «Почему, говорит, докажете мне это по вычислениям!» — а чтобы вычислить это, надо знать дифференциалы и интегралы; архитектор этого, разумеется, не сумел сделать, а Александр Иванович взял лист бумаги и вычислил ему; оказалось, что свод выдержит, и действительно до сих пор стоит, как литой». ⁸

Нет сомнений, что истоки максимовского народолюбия и патриотизма коренятся не только в московской почве. Они гораздо глубже. И первые уроки Максимов получал в семейном кругу под воздействием сильной личности «шаевского изгнанника». Следы ее влияния ощутимы, например, в юношеской речи о Ломоносове, которую Максимов произнес на торжественном акте Костромской гимназии в 1849 году.

В катенинских воспоминаниях о Пушкине, датированных 9-м апреля 1852 года, встречается следующая оценка исторических заслуг Ломоносова: «Ломоносов оказал языку русскому заслуги бесценные; он его вновь создал, с него началась новая эра, и по его следам пошли все, кого можно читать... Но он был более ученый, профессор, ритор, филолог, нежели истинный поэт...».⁹ Максимов называет свою речь «Ломоносов, как первый русский ученый» и подобно Катенину говорит: «Современники оценили в Ломоносове только поэта, ... а он был гений, объяввший все».¹⁰

Вернемся в заключение к судьбе пострадавших поляков. Уже 22 ноября 1847 года «Костромские губернские ведомости» сообщали:

«Всеавгустейший монарх наш, в высокой мудрости одинаково справедливый ко всем верным своим подданным, при первом же известии о происшествиях в Костроме всемилостивейше повелеть изволил: лиц из польских уроженцев, взятых под стражу, немедленно освободить; а по получении достоверного сведения об истязаниях, деланных при производстве бывшим начальником губернии допросов, его императорское величество, отозвав гражданского губернатора, действительного статского советника Григорьева, как единственного в том виновника, в Петербург, высочайше повелеть изволил: предать его военному суду при Санкт-Петербургском Ордонанс-Гаузе».¹¹

Порядок в выгоревшей дотла Костроме наводил назначенный самим Николаем 1 новый управляющий Костромской губернией. Это был все-таки внук Суворова, генерал-адъютант, князь италийский, граф Суворов-Рымникский, с разрешения которого и была опубликована в «Костромских губернских ведомостях» упомянутая в моем очерке статья.

1 Стл.: Максимов С. В. Поли. собр. соч.: В 20 т. - 116., 1913. - Т.1. - С. IV.

2 См.: Список о чиновниках Костромской губернии. - Кострома, 1848. - С. 120.

3 Русская старина. - М., 1911. - №7. - С. 182.

4 См.: ГАКО, ф. 121, оп. 1, д. 4719, л. 2 (об.).

5 Костромские губернские ведомости. - Кострома, 1847. - № 43 от 15 ноября. - Часть неофициальная.

6 См.: Костромские губернские ведомости. - Кострома, 1847. - № 44. - Часть неофициальная.

7 Писемский А. Ф. Собр. соч.: В 9 т. - М., 1959. -Т.5. - С. 119-121.

8 Там же.-С. 117.

9 Катенин П. А. Размышления и разборы. - М., 1981. - С. 217.

10 См.: Отдел Рукописей ИРЛИ, ф. 565, оп. 1, д. 1, л. 4.

11 События, связанные с внезапным арестом костромского губернатора Григорьева, много лет спустя были упомянуты М. Е. Салтыковым-Щедриным в одном из его очерков. Однако царская цензура заставила перепечатать соответствующую страницу в «Отечественных записках», чтобы исключить любое упоминание о бывшем некогда скандальном происшествии в Костроме. — См. об этом: Теплинский М. В. Эпизод из некрасовского журнала «Отечественные записки» // Рус. лит. - Л., 1984. - № 3. - С. 189-192.

Читатель-писателю

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

ТРИ ПИСЬМА ИЗ КОЛОГРИВА

Такова ситуация: второе письмо ведет к первому. Между ними — пять лет.

Из второго письма.

«27 декабря 2004 года. Уважаемый Михаил Федорович, здравствуйте!

Вот и состоялась наша встреча. Не зря говорят, что все совершается по кругу и что ничего случайного нет. Письмо-то я Вам написала 12 августа 1999 года, а собиралась написать еще раньше. Но пролежало оно в Вашей книге «Вольному воля» неотправленным пять с лишним лет. Спрашиваю себя: «А почему не отправила сразу это письмо? Наверное, не знала Вашего адреса. А потом захлестнула работа над Ефимом Васильевичем Честняковым...

И опять беда! Опять, даже при встрече с Вами в Костроме на конференции, не спросила адреса. Придется звонить Сухаревой Татьяне Павловне и просить ее... Страшно жалею, что не было диктофона, чтобы записать умные речи. Я слушала, разинув рот. И блокнота не было, чтобы хотя бы кратко записать. Растерялась,,наверно, не спохватилась. Меня обогатила эта конференция, мысли, высказанные Вами, Бузиным, Румянцевым, Маковеем, и другими

участниками чтений.

Очень жалею, что я не продумала свое выступление. Ведь я не собиралась выступать и заранее отказалась. И в программе поэтому не указана моя фамилия... Остается все меньше людей, лично знавших Ефима Васильевича...

С искренним уважением — З.И.Осипова

P.S. А книгу «Вольному воля начала перечитывать. Всегда интересней читать, когда хотя бы немножко знаешь автора.

Письмо первое. «12 августа 1999 года. г. Кологрив.

Прочитала Вашу книгу «Вольному воля». Не могу промолчать, не могу не сказать Вам огромное спасибо за Ваш труд! Все так узнаваемо! Так достоверно! Так не может написать человек, не переживший всего того, о чем Вы написали! В каком году Вы родились? (я, например, в 1927-ом, и мне все, почти все знакомо, т.к. я тогда не знала о репрессиях, только слышала об этом, но полунамеками, обрывками и как о чем-то запретном, тем более, что в 1937-ом году был репрессирован мамин брат. Он был эсером, как я позднее узнала, был арестован в 1917 году, освобожден, работал в Министерстве тяжелой промышленности, жил в Москве, но в 1937-ом году ему это припомнили и осудили на 10 лет. Простите, отвлеклась...

Узнаваем в книге Нежевской — Межевской район. А это все равно что Кологривский. Да, это не картинки с выставки! Сколько вытерпел русский народ! Как ни тиранили нашего крестьянина, а он изо всех сил тянулся, жилился, не ломался, потому что в душе стержень имел, вера жить помогала. Верю, что все это прошло через Ваше сердце, потому и задевает, будоражит, рвет сердце читателя. Сбор налогов я помню, (Во время войны — отец был на фронте — пришли к нам описывать «имущество» за недоимку.

Записали зеркало, кровать, швейную машинку — мать молчала, а когда записали корову, она взвыла так, что у меня до сих пор слезы навертываются и мороз по коже...) Мама схватила веревку, выбежала и хотела повеситься. Тут уж мы с братом взвыли...

Помню, в квитанции было написано: сдать молока, масла... и брынзы стлько-то. Что такое брынза, я не знала и спросила маму. «Сама не знаю, — ответила она, — но это значит, что вместо брынзы мы должны сдать дополнительно масла или молока». А сверхплановая сдача зерна? В нашем колхозе «посадили» председателя за то, что он раздал часть этого зерна на трудодни колхозникам. Все помнится. Вечное недоедание, хорошо, что у нас была корова, кое-что и нам оставалось. А бабий труд... Плохая одежонка. Но крестьяне кормили армию, Россию... Да что я Вам это все рассказываю! Обо всем пережитом — в книге.

...Судьба Василия, попавшего из немецкого плена в советские лагеря на родине — это подлинный пласт нашей истории. Мало об этом было написано раньше, запретной была эта тема. А моему поколению это, ох, как известно!

Эпиграфы-то какие Вы взяли!

«О память сердца, ты сильнее
Рассудка памяти печальной».

Или из древней восточной поэзии:

«То, что не высказал я,
Сильнее того, что сказал.»

Уважаемый Михаил Федорович! Хочу Вас спросить, кто подразумевается под семьей Барцевых? Кто является прототипом Настасьи Барцевой? Не сестра ли это Екатерины Степановны Павловой, матери Героя Советского Союза Дмитрия Григорьевича Павлова? Ведь она жила в Межевском районе? И к ней заезжали старики Павловы, когда их арестовали и везли после суда в Сибирь. Я их землячка, но о тетке Дмитрия Григорьевича ничего не знаю... Прошу прощения — сумбурно написала. Здоровья Вам и успехов.

Третье письмо.

27 февраля 2005 года. Кологрив.

Признательна Вам за письмо. Я и не надеялась на скорый ответ, зная Вашу занятость. Была рада! Роман «Вольному воля» перечитала, вернулась в то время еще раз, всплакнула, многое вспоминая. Отдала читать своему племяннику, который пытается разобраться в событиях военного и послевоенного времени. У него было трудное детство, без отца, отец — репатриированный татарин, который уехал на родину в 1952 году...

Подняла некоторые экземпляры «Литературной Костромы» за 1989-91 годы (гл. редактор М.Ф.Базанков). Просмотрела прозу и поэзию четырех Борисов: Бочкарева, Юдина, Негорюхина, Гусева, публикации В.Пашина, И.Дедкова, В.Бочкова, О.Гуссаковской, Вяч.Шапошникова, Б.Шпанченко... Боже мой! Сколько интересных, нужных, полезных для ума и сердца материалов! Здесь и А.Белых, и А.Солженицын, и Н.Гумилев — да разве всех перечислишь! Доброе слово долго живет.

Перечитала «Идеалиста» В.Корнилова. Тоже отдала читать одному местному нашему «философу». Владимир Григорьевич подарил мне три свои книги. Я бережно храню его письмецо. Рада, что теперь будет дом-музей его имени (квартира?).

В моем домашнем архиве есть и Ваши статьи о Леониде Воробьеве, об авторе книги «Чудесное-яблоко» Льве Кузьмине... Вот так опять всколыхнули мою память Ваше письмо и встреча с Вами. Пошли другие добрые воспоминания.

С благодарностью вспоминаю Бориса Семеновича Архипова, он вытаскивал нас от «навоза, силоса, торфа» — из повседневных забот о выполнении планов по закупу молока, мяса, шерсти, зерна и организовывал встречи с художниками, поэтами, писателями костромской земли, тащил нас в мастерскую художника, в драмтеатр на премьеру, заставлял читать и выписывать не только «Правду», но и «Журналиста», «Советскую культуру», толстые журналы, а потом с присущим ему юмором вызывал на диалог. Много давало мне общение с Виктором Игнатьевым, Вячеславом Шапошниковым, с журналистами. Знала я Виктора Куликова, Аркадия Пржиалковского, художника Вадима Карпова. Да мало ли хороших людей встречалось на жизненном пути! Все это мой всеобуч. Теперь только вспоминаю... При случае передавайте привет Сергею Сергеевичу Румянцеву. Мне очень близки по духу его мысли, изложенные в статье «Безобразное порождает зло» («Северная правда», 22 июля 2004 года).

*С пожеланиями Вам здоровья, успехов на творческом пути и
всего доброго — З.И.Осипова.*

Константин Абатуров
(1911-2000)

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Правду сказать, в деревнях не все верили в приход войны. Накануне был на собрании в одном пригородном селе. Мужики, смоля самокрутки, судили-рядили, как загодя, пока держится устоявшееся ведро, поскорее управиться с сенокосом, потому что на подходе и хлебоуборочная страда. Кто-то в задних рядах зашевелился:

— Не помешали бы? Но тут же:

— Кто еще под руку? Ты, Семен?

— Да. Сынок с границы пишет: с чужой стороны по ночам железный топоток слышен.

— Но в газетах-то что? Бояться нечего. И впрямь — ну кому мы мешаем? Скажи, районный представитель? — обратились ко мне.

Много говорить не пришлось. К дежурке, где шло собрание, подошел молодой парень, веселый, улыбающийся, и мужики к нему:

— На свадьбу, что ли, пришел позвать?

— Как раз! Приходите. Хочу и районного представителя пригласить. Места за нашим столом всем хватит! Завтра, завтра всех прошу!

Таким счастливым выглядел жених, высокий, статный.

Не далее, чем неделю назад, доброе письмо прислала мать. Писала, что Витя, наш средний братик, в скором времени получит отпуск и навестит родителей из своей дали-дальней. (После окончания Костромского индустриального техникума он был направлен на работу на гомельщину).

Радовалась мама и за Володю, предпоследнего сынка своего. Год назад уходил он на новобранческий призыв хрупеньким. А недавно прислал карточку. Ну, совсем другой. Стоит в чистенькой гимнастерке, крепенький, стройный, брови, как касаткины крылья. Будто бы и там к машинам доступен. Авось, вернется в деревню настоящим механизатором.

Житейские заботы — вот чем жили сельчане. Работали, молодые учились, женились, справляли свадьбы, растили детей. Зачем им война?

Но пришла. Страшная, беспощадная, кровавая. Захваченные врасплох, наши войска в первые дни войны понесли большие потери, врагу удалось прорваться в глубь страны. Вскоре уже появились первые поезда с ранеными, первые похоронки.

И мобилизация за мобилизацией.

Сначала фронт забирал из селений первоочередников запаса. По дорогам и лесным тропам шли на сборные пункты земледельцы — будущие солдаты. Из Глазовки получаю весть: в левом пришагинском краю остались одни старики да быбы, в правом — лишь бабы да девчонки.

Напрасно мать ждала среднего сына. Ехать-то ему пришлось не на побывку, а на фронт. С первых до последних дней был он в строю, в боях, если не считать дней, проведенных в госпитале после тяжелого ранения. Володю же захватила война на втором году новобранческой службы на границе, где в числе первых принял вражеские удары.

В газетах писали, с каким мужеством и отвагой сражались советские воины с жестоким врагом, защищая границу, каждая пядь земли была обильно полита их праведной кровью. Гитлеровцы шли напролом со своими танками и самолетами, дым сражений завлакивал землю и небо.

В этих боях многие наши воины погибли и пропали без вести. В числе погибших был и наш смиренный Володя, как любовно называли его мы, братья. Это была первая тяжелейшая весть, которая пришла с фронта в родную Глазовку, в нашу семью.

Она открыла счет скорбным потерям.

Старший брат Александр ушел в ополчение на защиту Ленинграда, где он работал в институте. А из ополчения вскоре перешел в действующую армию. Большой ратный путь прошел он от стен великого города до фашистского логова, до победы над врагом.

Последним уходил на войну младшенький Коля, который в юношеских мечтах видел счастливый момент, когда МТС доверит ему трактор и он поведет его по-настоящему, самостоятельно по полям Пришачья... Но ему, как и Володе, тоже не довелось осуществить мечту: сложил свою голову в жесточайших, сражениях с фашистскими бронированными ордами под Курском.

Меня, по состоянию здоровья, не призывали на фронт, работал в тылу. Но когда стала формироваться в области коммунистическая дивизия, я все же получил назначение. Однако уже в пути меня ссадили с поезда.

— Погляди на себя, — заставил меня строгий комиссар взглянуть в зеркало.

Я был весь желт, как лимон. Все нутро разрывали едва сдерживаемые боли очередного приступа то ли желчного пузыря, то ли неотступной язвы желудка, а может, все вместе.

— Короче, пришлось поворачивать в ближайшую больницу и ложиться на операционный стол.

А тем временем уходили на фронт даже девушки-доброволки. Война была всенародная. Одни надевали на плечи санитарные сумки, другие получали снайперские винтовки. Из Швейна первой ушла на передний край сражений Клава Коновалова. Тихая с виду, она стала бесстрашной, боевой на фронте. Сколько вынесла эта сестрица раненых из самого пекла. Домой писала: «Обо мне не беспокойтесь, жива и здорова, скучать некогда...»

Где-то в огне боев кружилась с санитарной сумкой другая Клава — Главдюшка, приезжавшая к своей тетке, прозванная за свою чернявость «черкешной».

Не склонило голову наше поколение перед жестоким врагом. На фронтах шла упорная борьба за победу. Тыл напрягал усилия в помощь фронту. На карте Родины не такое уж заметное место занимает шачинско-сусанинская сторона, но в деревнях ее виделся обший настрой народа.

Все, конечно, не перечислишь. Но хотя бы немного, хотя бы несколько хроник.

...Затягивалась уборка урожая. Иные руководители, как считом, загораживались общеизвестным фактом: не хватает рабочих рук. Кажется, не возразишь. Но как раз в это время появился призыв: «Работай за себя и за того, кто на войне!» В каком селе зародился этот призыв — неважно, важно то, что он дошел до людских душ. Трактористы зачастую сутками не слезали с трактора, выполняя по

полторы-две нормы. Женщины не только днем, но вечером, при свете луны, выходили на жнитво зерновых, на копку картофеля.

Только они? Нет, бери косу или серп и ты, бригадир, привыкший ходить с меркой — раскорючкой, и ты, не страдающий худобой завмаг, да и ты, почтарь, отсидевший свои телеса.

Людей не прибавилось, все те же, а дело пошло куда спорее.

...Зима. Тяжелейшие бои шли уже на ближних подступах к Москве. А кругом глубокие снега, крепчают рано наступившие морозы. Солдаты, чем вам сию пору помочь? Хлеб отправлен. Не хватает теплой одежды, валенок, шапок? Родные, и в этом поможем, только потерпите, не опускайте руки.

Никто не давал приказа о сборе теплых вещей, но сбор начался, пошел. Везде — и в городе, и в деревне. Сусанинские шапошники объявили ударную трудовую вахту, в тесных цехах, не всегда наопленных, работали без выходных, дни и ночи. Все ушанки, теплые, легкие, отправлялись на фронт.

А на очереди уже был сбор средств на строительство танковой колонны имени Ивана Сусанина. Каждый что только мог нес на сборные пункты: деньги, сохранившиеся драгоценности, золотые и серебряные кольца, цепочки. Некоторые несли ценные оклады икон: для доброго дела ничего не жаль. Все — на алтарь Отечества! Как в незабываемые времена Минина и Пожарского.

Народ понес неисчислимые жертвы во имя победы. Она, желанная, пришла весной 1945 года, накануне посевных работ. В деревнях ждали фронтовиков. Уж с ними-то теперь любое дело по плечу. Но в некоторых деревнях некого было встречать, война вырубилась здоровое мужское население.

Праздновали, как поется в песне, со слезами на глазах.

Наверное, пройдут века, но поколения будут «помнить о беспримерном подвиге народа в Отечественную войну. И думалось, что в каждом селении воздвигнутся памятники труженикам войны и тыла.

Думалось... Думалось тогда, что поколение, испытанное войной, без новых тревог проживет До конца своих дней...

Виктор Куликов
(1919-1996)

Творцы истории

В. А. Старостину

Наши предки славы не искали.
В давние глухие времена,
Не особо мудрствуя, давали
Деревням и селам имена.

Сладил, скажем, Фрол себе домишко
На земле свободной, на нови,
И его безвестный хуторишко
Земляки Фроловом нарекли.

Два дружка иль два родные брата,
Глеб — теперь как видно — да Пилат,
Полюбовно, вблизиости, когда-то
Каждый свой поставили посад.

Рядом с ними стали помаленьку
Строиться другие мужики —
Так и появились деревеньки
На лугах извилистой реки.

И стоят торжественно и свято
В утренней росе, как в серебре:
Под бугром — Пилатово, Пилата,
Глебовское, Глеба — на бугре.

И не мнят себя, что знамениты,
За кушак засунув топоры,
Федоры, Макары да Никиты,
Власы, Никоноры да Петры.

В «Древо Жизни» строго и любовно
Их имен никто не заносил;
Это знать пеклась о родословной,
А мужик —
Историю творил!

Памяти Виктора Волкова —

поэта, потерявшего на фронте зрение

Я соглашусь с любым, не споря, —
Ну, кто бы, кажется, не рад
Прожить, не ведая
Ни горя,
Ни заблуждений,
Ни утрат!

Но Жизнь замешивает круто
Желанья наши и судьбу:
Она покой дает кому-то,
Кому-то тяжкую борьбу.

То высоко порой возносит,
Храня от трудностей и бед,
То так искомкает и бросит,
Что и подняться силы нет...

Мы среди тех,
Кто знает беды,
Но, коль удел нам был такой, —
Крупницу каждую победы
Мы ценим с гордостью мужской!

И, горечь бед познав до донца,
Утратам верить не хотим:
Он и слепой —
Все видел солнце!
А я себя —
В лугах...
Босым...

Урок истории

Урок истории...
Ребята
Внимают в строгой тишине
Про подвиг русского солдата,
О героизме на войне.

Не задают они вопросов —
О многом знают наперед:
Они читали, что Матросов
Закрыв собою пулемет.

Что комсомольцы Краснодона
Стояли насмерть, как один,
И что на красные знамена
Смотрел поверженный Берлин!

Но и учительница ярко
Нарисовала для ребят,
Как в битве яростной и жарко
Ковалось мужество солдат.

И в каждом слове грохотала
Суровой правдою война,
Но вдруг учительница встала
И замолчала у окна.

Сидят притихшие ребята,
И кто-то стал уже шептать:
— Поподзабыла...
Старовата...
Пора на пенсию, видать...

А у нее перед глазами
День пережитого вставал:
Земля, покрытая телами,
Горящий камень и металл.

Она по полю торопливо
Ползет ложбинкою на стон,
Снарядов страшные разрывы
И впереди, и со сторон.

Полуоглохнув в кононаде,
Искала раненых солдат,
И что ей выдумки об аде —
Она страшней видала ад!..

Хоть не искала славы громкой,
Но перед строем генерал
Порозовевшую девочку
Вручив медаль, расцеловал.

Забылось многое с годами,
Но этот день оставил след —
Лучи морщинок под глазами
И седину
В семнадцать лет...

Повремените вы, ребята!
Она доскажет про бои
И все про подвиги солдата,
Но, как всегда,
Не про свои.

Память сердца

До сих пор братишка снится,
Хоть прошло немало лет;
Три квадратика в петлице...
Португеза...
Пистолет...

Заключение санбата:
Все! —
Не годен к строевой;
Грудь прошита автоматом —
Будь доволен, что живой...

Удержать бы силой надо,
Но уехал ночью он
В свой родной, под Ленинградом,
Пулеметный батальон.

Написал четыре слова:
— Успокой отца и мать...
Жив...
Доехал...
Буду снова
Славный город защищать.

Сводка:
— Прорвана блокада!
Торжествует Ленинград!
...На высотках,
Без ограды
Обелиски встали в ряд...

ВЕЛИКАЯ ИСТИНА

рассказ

Нет, на фронте я не был. А руки действительно во время войны лишился... Застала она меня в Минске пятнадцатилетним мальчишкой, как раз первый курс музыкального училища закончил, домой на каникулы собирался, билет уже взял. А в ночь на двадцать второе налетели фашисты на город. По соседству с домом, где я стоял на квартире у дальней родственницы-старушки, целый квартал начисто снесли. Занемогла бабка — пришлось мне при ней временной нянькой остаться.

Помню, народ поговаривал украдкой, что дела на фронте плохи, только не верил я. Не верил до тех пор, пока немцы собственной персоной не пожаловали в город.

С полгода прожил я в оккупированном Минске, потом угодил в облаву и загремел вместе со свежей партией рабочих рук «нах Дойчланд», в Германию.

Километрах в сорока западнее Берлина есть такое местечко Ораниенбург. Поселили нас подростков в бараке при фабрике, обучили работать на станках — штамповать жестяные коробки для противогазов. И потянулись беспросветные жуткие дни, когда человек и жить не живет, и умирать не умирает. Если кто — заболел, его куда-то увозили в закрытой машине. В лагерь такие уже не возвращались.

Я хорошим здоровьем никогда не отличался, бывало в детстве каждый месяц то грипп, то ангина. Ну, думаю, не нынче — завтра свалит меня болезнь. Со страхом ждал я этого рокового дня и дождался. Помню, проснулся ночью в ознобе, дрожу весь, зубы чечетку выбивают, в голове будто музыкальный волчок — крутится и гудит. Толкаю в бок соседа Юрку из Жмеринки.

— Слушай, — говорю, — заболел я вроде... Возьмут меня завтра.

А он закрыл мне рот рукой и шепчет в ухо:

— Молчи, не вздумай сказать кому-нибудь... Согреться тебе надо, авось к утру полегчает.

Накрыл меня своим пиджачком, обхватил руками, прижался грудью к моей спине и пролежал так до подъема.

Повели нас на фабричный двор. Меня качает из стороны в сторону, в глазах зеленые круги, а Юрка мне шепчет:

— Крепись, крепись изо всех сил... Придем во двор — схожу к рыжему Билу, есть у меня планчик один, может выгорит.

Билем мы звали между собой солдата, который был приставлен к нашей смене для порядка. Он делал нам «аппель» — переключку то есть, раздавал по цехам на попечение мастеров, а сам уходил в свою караулку, доставал из футляра аккордионированный баян и целыми днями пиликал — разучивал по самоучителю несложные немецкие мелодии.

— Ты ведь играешь на баяне — говорил мне Юрка. — Вот я и распишу ему: артист, дескать, из джаза, может научить тебя, рыжего дурака играть по-настоящему, а не тянуть жилы из инструмента... Вот увидишь, соблазнится он, позовет. А тебе того и надо, отдохнешь день-другой, поправишься.

План Юрки удался. Отправив людей по цехам, Биль приказал мне следовать за ним в караулку.

— Ты играешь на гармонике? — спросил он, когда мы очутились в комнатухе с деревянной солдатской койкой, табуретом и столом.

— Играю, — кивнул головой я.

Ни слова не говоря, Биль подал мне баян с красной перламутровой отделкой корпуса и открыл самоучитель на последней странице.

— Играй.

Это было упрощенное до предела «Вечное движение» Вебера.

Я его когда-то разучивал в подлинном варианте и теперь играл, глядя в ноты только для видимости. Моя игра явно удивила рыжего Били. Тупой солдатский разум никак не мог постигнуть, что какой-то русский мальчишка так умеет играть на немецкой гармонике.

И вдруг в самый разгар игры дверь в караулку распахнулась и вошел незнакомый офицер. Биль вскочил, вытянулся в струнку. Офицер метнул на меня взгляд: повернулся к солдату:

— Он пойдет со мной.

Через минуту мы уже неслись в зеленом «Опеле» по улицам Ораниенбурга. Вдруг машина резко затормозила и нырнула в ворота просторного двора. Офицер приказал мне оставаться в машине с шофером, а сам исчез в двери двухэтажного каменного дома. Ждать пришлось недолго. Вышла молоденькая служанка и повела меня по узкой винтовой лестнице на второй этаж.

В просторной круглой комнате, кроме офицера, сидел какой-то обрюзгший старик и курил трубку. Рядом на столике стоял наш тульский баян! У меня так и екнуло сердце — ведь точно такой инструмент остался у меня в Минске. А может это он и есть, ставший военным трофеем?

Офицер обратился ко мне:

— Мой отец — хозяин казино. Он хочет послушать твою игру. Если ему понравится, будешь работать здесь.

Я начал было играть «Голубой Дунай» Штрауса, но не дошел и до конца первой части, как старик жестом остановил меня и начал

что-то говорить сыну. Минут пять вели они между собой оживленный разговор, и потому, как часто в нем употреблялось слово «гут», я понял, что мне, кажется, крупно повезло. И в самом деле: офицер повернул ко мне довольное лицо и сказал:

— Будешь работать здесь.

С этого момента жизнь моя сделала крутой поворот и потекла по иному руслу. Хозяин казино оказался довольно-таки порядочным человеком. Для жилья мне была отведена малюсенькая комнатка под лестницей — стол, стул, кровать с пуховой периной. Прямо, как в сказке «Принцесса на горошине». С семи утра и до до двух часов пополудни я обязан был делать уборку зала и при необходимости быть на подхвате у двух дочерей хозяина, ведавших кухней и баром. Ровно пол-третьего служанка приносил мне в комнатку обед. По сравнению с лагерной баландой это была пища богов. По средам и субботам даже перепадал кусок жирной свинины. А кофе каждый день утром и вечером. С сахарином.

Отобедав, я брал в руки баян и принимался разучивать несложные немецкие мелодии, рассчитанные на непритворный вкус бургера. Сам хозяин, как я понял, в нотах ничего не смыслил и отбирал их по пестрым картинкам на титульных листах. К моей великой радости попадались среди них и знакомые мелодии — «Розе Мунда», «Рио Рита»... До войны я играл их на танцах в фабричном общежитии, подрабатывая себе на кино и мороженое.

Но основная моя работа в казино начиналась в шесть вечера и продолжалась до десяти. А в пятницу и субботу — до полуночи. Я выходил на крошечную эстраду во фраке, оставшемся от призванного в армию моего предшественника, в лаковых штиблетах тоже с чужой ноги, с бантиком на манишке, гладко причесанный на косой пробор, и принимался играть, чередуя танцевальную музыку с популярными в Рейхе песнями, мелодиями из немецких фильмов и оперетт, вальсами Штрауса.

Новая работа, не смотря на ее кажущуюся легкость, изматывала меня довольно основательно. Но я все равно был бесконечно благодарен судьбе за прямо-таки невероятное вызволение из рабства. Как-то там сейчас поживает мой спаситель Юрка из Жмеринки. Век за него буду Бога молить... Он там, бедняга, мучается, а я тут, как у Христа за пазухой. У меня даже появились карманные деньги: посетители, заказывая ту или иную вещицу, совали мне в руку монеты. Хозяин это видел, но никогда не отбирал их у меня.

Как-то мне пришла в голову мысль сыграть с эстрады фантазию на тему русской народной песни «Утушка луговая», которую я готовил со своим преподавателем на республиканский смотр юных баянистов. И вот, выбрав время, когда в казино было мало посетителей, я набрался храбрости и заиграл...

Никто из зала не заметил моего «преступления», что придало мне смелости и, я бы сказал, некоторого нахальства. С каждым последующим днем я стал все увереннее наигрывать наши песни, по возможности придавая им танцевальные ритмы: «Катюшу», «Андрюшу», «Спят курганы темны», «Три танкиста, три веселых друга». Приятно мне было хоть этим дурачить немцев.

Дошел до того, что выдал им под видом фокстрота «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе». Честное слово! Немцы танцуют — ничего. Кто за столиком — такт кружками пивными отбивают. А меня смех разбирает.

И надо же случиться, понравился этот самый мотив одному нашему постоянному посетителю — кривому молодчику в железно-дорожной форме. Бывало, бросает мне десятипфенинговую монету и кричит: «Майн либе, мою любимую, значит.

...Не знаю, сколько бы времени продолжалась моя таперская жизнь, если бы не случилась беда. Уж вот так, видно, устроен неразумный человек. Выпало ему маленькое счастье — будь им доволен, а не испытывай судьбу ради какого-то сиюминутного удовольствия. Не рискуй тем, что имеешь.

Накануне «вайнахта», рождества по-нашему, хозяин велел составить репертуар для праздника из мелодий, пользующихся особой популярностью у посетителей.

Вечером украшенное елкой и хвойными гирляндами казино заполнил народ, в основном это были женщины и старики. Пришел сын хозяина с каким-то офицером в гестаповской форме. Они уселись далеко в углу и молча тянули коньяк.

Вдруг в дверь с шумом вошла компания подвыпивших солдат. Они заняли ближайший ко мне столик и потребовали водки. По обрывкам долетавшего до меня их разговора, я понял, что не нынче — завтра загремят они на восточный фронт.

Шнапс заметно подогрел их. Громче стали их голоса, чаще взрывы пьяного хохота. Сидящий ко мне спиной толстозадый солдат повернулся на стуле, бросил в меня монетой и крикнул:

— Мою любимую! Живо!

Я тотчас узнал его — это был бывший железнодорожник, которому полюбилась мелодия нашей революционной песни. «Ага, значит и тебя, кривого упекли, — с радостью подумал я, — значит, плохи дела у фюрера, если и таких стали в армию брать».

— Ну что ты там медлишь? Играй!

Я покосился на офицеров, занятых своим делом, и начал потихоньку наигрывать.

— Громче! — рявкнул солдат. — Последний раз слушаю!

Я стал играть громче, изредка поглядывая на офицерский столик. Там было все спокойно. Бывший железнодорожник повернулся к своей компании и стал дирижировать одной рукой, а другой

ударять дном пустого бокала по столу в такт музыки. И другие солдаты последовали его примеру. А потом и весь зал! И вдруг кинжальный взгляд гестаповца, вплотную подошедшего к эстраде, пригвоздил меня к спинке стула.

— Ты что играешь? — зловеще спросил офицер.

— Я разучил этот фокстрот...

— Фокстрот? С-скотина! — заревел гестаповец и вспрыгнул на эстраду. За ним с искаженным злобой лицом последовал сын хозяйина казино.

— Господин гауляйтер, — говорил он, захлебываясь, — Позвольте, позвольте мне самому.

Гестаповец молча пропустил вперед хозяйского сына. Тот рывком сорвал с меня ремень баяна, аккуратно поставил на пол инструмент. Потом выхватил из кобуры парабеллум, схватил за запястье мою правую руку, приложил ее к стене и начал с ожесточением бить по пальцам тяжелой рукоятью пистолета. Кровь обрызгала стену, мое и его лицо, манишку, офицерский мундир, а он все бил и бил, вдавливая в штукатурку фаланги моих пальцев...

Очнулся я в каком-то полутемном помещении. Надо мной склонилось несколько мужских лиц. Когда я спросил по-русски, где я, они заговорили между собой на непонятном языке. Я попытался свой вопрос повторить с помощью жеста, но острая боль прорезала мою правую руку: кисть была ампутирована и завязана пропитавшимся кровью бинтом.

Только сейчас я заметил, что меня окружали голые люди. Все они были худы, и казалось вот-вот ребра прорвут их тонкую матовую кожу. Вопросов можно было не задавать: я понял, что попал в ораниенбургский лагерь смерти Заксенхаузен, о котором среди местных жителей ходили страшные легенды.

Не буду рассказывать об ужасах, которые нам пришлось испытать там. Год и четыре месяца прошли для меня сплошным кошмаром. Как дожил я до освобождения и сам толком не представляю.

А все-таки не погиб во мне музыкант. Не выбили из меня фашистские парабеллумы любовь к музыке. Конечно, сам я не игрок теперь, но учить-то других могу! Преподаю в музыкальной школе нотную грамоту, музыку сочиняю, руковожу оркестром баянистов, наконец, внука готовлю в консерваторию по классу баяна. Помните рассказ Куприна «Гамбринус»? Там есть удивительно верные строки: «Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит, все победит».

БАЙКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

* Командир роты объявляет на построении:

— В связи с нехваткой шерсти в стране нашему подразделению выделено ограниченное количество валенок. На всех не хватит. Будем выдавать по—справедливости, прежде всего тем, кому они нужны. Поэтому приказываю всем разуться и заголить ноги до колен.

После выполнения солдатами команды ротный пошел вдоль строя, указывая старшине, кому дать зимнюю обувь, кому нет.

Валенки не получили те, у кого ноги волосатые.

* На призывном пункте получившие повестки мужики проходили медкомиссию. Упитанного розовощекого Абрама признали негодным к военной службе, а тщедушного Ваньку определили в маршевую роту.

— Как же так? — возмутился Иван. — Ты вон какой здоровяк остаешься в тылу, а меня доходягу отправляют на фронт. Что у тебя за болезнь такая?

— Вон видишь гвоздь в стене торчит.

— Ну вижу.

— А я не вижу.

* Командир запасного полка читает своим офицерам нотацию:

— ...Участились случаи пьянства. И что особенно прискорбно: их от меня скрывают. Я, конечно, понимаю, что зимой после занятий в поле человеку надо согреться, расслабиться. Ну прими вечером стакан, второй, если мало, и ложись спать. А утром до построения приди ко мне и честно признайся, что вчера был пьян, извините и тому подобное... Повинившемуся головы не рубят. Ясно?

Со стула с трудом поднимается лейтенант:

— То-товарищ полковник, я вче-чера был пьян.

— Да ты же, подлец, и сегодня нетрезвый! — негодует командир.

— А об этом я вам доложу завтра.

* Жена пишет мужу на фронт: «...весна пришла — огород надо вскопать, а сил совсем нет.» Муж, зная, что его письмо будет прочитано военной цензурой, отвечает: «Не копай — взорвешься. Там у меня еще с гражданской войны два пулемета закопаны и ящик с гранатами.»

Через неделю фронтовик получает от жены письмо: «...Вчера к нам на огород пришло много солдат, все перекопали и денег не взяли. Я сердечно поблагодарила ихнего начальника, а он меня матом».

* Наши войска освободили город N. Жители собрались на митинг, ликуют. И только одна бабенка с остервенением бьет себя кулаками по располневшему животу.

— Ты что делаешь, с ума сошла? — останавливает ее народ.

— Уничтожаю врага в его собственном логове.

— Дура, что же ты раньше-то делала?

— Изматывала силы противника.

Из фронтового блокнота Вит. Пашина

Борис Бочкарев

ЛЕНЯ МАЛЕНЬКИЙ

рассказ

Бомбить Саратовский завод крекинга нефти и стратегически важный завод шарикоподшипников немцы в прозрачную лунную пору августа летали с абсолютной методичной точностью в двенадцать часов ночи. С приближением этого часа в небе нарастал прерывисто занудный, душу терзающий гул, и над селом ряд за рядом, ясно зримые в лунную ночь появлялись немецкие бомбардировщики. Наше село явно служило немцам ориентиром, и шли они низко, ничего не опасаясь, так как в этом пролете в сотню километров никаких противовоздушных средств не располагалось. В ночи мы смотрели в сторону Саратова, нам с тридцатикилометровой дали виделось напрямую поднебесное пламя горящих нефтехранилищ, разрывы зенитных снарядов, вокруг захваченного в вилку прожекторов бомбардировщика. Мы, пацанье, от семи до тринадцати лет, орава непослушников, освоивших все сельские дела — полевые, дровяные, пастушеские, рыбацьи, и охотничьи, смотрели в небо с тоскливым бессилием: вот он летит, гад, невысоко и весь в лунном свете виден, тупорылый «Юнкерс» с широко расставленными лапами под крыльями. Летит тяжело нагруженный с натужно гудящим мотором. А в обратный ход — легко. Может сыпануть из крупнокалиберного пулемета по малейшему проблеску при плохой светомаскировке или просто так для острастки населения — словно мстит за пережитый страх, под огнем зениток. Иногда самолет сбивали к великому нашему ликованию, но праздник тот выпадал не часто: крутым виражем уходил опытный немецкий летчик от вспышек зенитных снарядов, а мы посылали ему вслед совсем не мальчишечьи слова проклятий.

Днем над селом и в стороне шныряли скользкие «Мессершмидты». Летит этакий гад «Юнкерса» хуже, стройный, а крылья по концам будто обрубленные. Короткой очередью трассирующими пулями стог сена обязательно подожжет, а впереди зима — чем скотину кормить будешь. Знали мы эти заботы.

Помимо всех дел — уборки хлеба, покоса, заготовки дров, пастьбы скотины мы были заядлыми охотниками, что в наше время очень даже поощрялось: умение стрелять было весьма почетным. Организация ОСОВИАХИМ, школьная военная подготовка мальчишек к будущей обороне страны. Значок ГТО — Готов к труду и обороне был весьма почетным, как и звание «Ворошиловский стрелок». И стреляли тогда мальчишки не из «духариков», а из настоящих мелкокалиберных винтовок настоящими пулями. Помимо того, еще в довоенную пору, каждый отец учил сынов стрельбе. И ружья в каждом доме имелись: над диваном или кроватью красовались, — никаких нынешних постоянных грабежей и убийств, врывательств бандитских в дом. Попробуй ворвись и харю картечи получишь. Это нынче закон — «Не повреди бандита».

Отцы ушли на фронт, и мальчишки забрали ружья в полное свое распоряжение. И матери смотрели на такую самостоятельность с похвалой: в доме есть мужик. Мы азартно добывали на озерах уток, по лесным опушкам куропаток, а на сухих высоких деревьях увесистых голубей «вятюгов». А ружья у мальчишечьей орды были самые разнообразные: «Тулки» еще Императорского завода, одностволки — «Ижевки», берданки, бог весть кем сделанные, шомполки, а у Лени Маленького имелся «Дамасский букет» с раздутыми по оконечью и потому поспиленными на треть стволами, с двумя большими курками по форме заячьих ушей. Так ружье прозвали по рисунчатому оформлению стволов старинной латунной наплавкой.

В то время проблемы с порохом были. К примеру сказать, за шкурку лисы заготовитель отсыпал малюсенькую рюмочку пороху и давал десять капсулей. Но мальчишечья сметливость и сноровка всегда были при нас, и мы начали делать свой порох: молотая селитра, молотый в пыль древесный уголь и немного молотой серы. Получалась взрывчатая смесь дымного пороха, которая взрывалась в страшном шипении и оставляла в стволе жесткий нагар.

Дробь катали из свинца сами, а еще стреляли болтами. Набирали старых болтов у мастерской, спиливали шляпки и получались пули. Такой болт прошибал и толстые доски, а пущенный из ствола летел и выл — что особенно нравилось.

Но бомбардировщики, гулом своим мутившие родное небо, рвали нам души, пробуждая совсем не детскую ненависть и злость. В ясную лунную ночь летящий в полукилометре «Юнкерс» был виден вчистую: вот он двухмоторный, тупорылый с широко расставленными под крыльями колесами, и болтом из ружья ты его не

возьмешь. А пальнешь себе и всему селу на беду: чесанет такой стерва в ответ из крупнокалиберного. И чесанул однажды по плохой светомаскировке в ремонтный цех МТС. Сыпануло столбом лучевое пламя, — и послышался бубнящий рокот крупнокалиберного пулемета. Смотрели потом на выбоины в кирпичной кладке мастерской, на жутейное крошево кирпичей. Жуть.

И волновала нас мальчишечья идея соорудить «Мортиру» да и шарахнуть по «Юнкерсу» в лунную ночь. За дело взялись яро. Отыскали на свалке двухметровую трубу, толщиной в мужскую руку, раскалили эту трубу с одного конца, тот конец сплющили и загнули, пропилили запальное отверстие, как у старинных пушек, выдолбили желоб в чурбаке, прикрутили это дуло к чурбаку — и «Мортира» готова...

Сталинградский фронт приближался. Наше село стояло всего в семи километрах от границы со Сталинградской областью, и днем и ночью на горизонте, нагнетая тревогу, грозowymi облаками полыхали далекие разрывы. Все мы — заправские охотники — от семилетнего Лени Маленького до старших двенадцатилетних, собирались уходить в партизаны. Но свалить «Юнкерса» было для нас делом неотступным и самозабвенным. Мы рассчитывали задрать трубу в небо и выждать до ночи, но ребячье нетерпение погнало испытать «Мортиру».

Испытать «Мортиру» решили на песчаном побережье у реки. «Мортиру» забили взрывчаткой: до половины смесью пороха дымного, самодельного с добавлением пороха винтовочного из старых патронов. Поверх заряда чего только не напичкали: болтов, битого чугуна, обрубков проволоки, какие-то гайки. Построили в песке небольшой городок из ящиков и фанеры. На фанере нарисовали фашистский знак и свиное рыло, обозначающее Гитлера. Шагов с двадцати нацелили «Мортиру», но кто-то из старших сказал, что при всяком испытании оружия полагается иметь окоп.

В песке вырыть окопчики руками было легко. Углубились четверти на две — каждый для себя окоп вырыл. К запальному отверстию подвели длинную киноленту. В то время киноленты были очень горючими. Подожгли конец, залегли в окопчики, замерли: вот-вот рванет. И рвануло. А труба вылетела из станины, взвыла в воздухе и закрутилась над нами пропеллером, готовая кому-нибудь ляпнуться на спину. Обошлось. Трубу разорвало, и она упала в речку. Не пострадала паучья свастика и свиное рыло ничуть не тронутые. Велика была наша досада. Яростными пинками раскрошили фанеру и ящики. Потом подожгли, сгребли в кучу нагоревшие уголья. Дружно растоптали остатки кострища и, перепачканные в саже, отправились на омут отмываться.

Но в ту же ночь нам досталось настоящее испытание.

Сбросив смертный груз, бомбардировщики, потрепанные зенитками, обратно летели вразброд и уходили на Запад по одиночке.

Один из отбившихся шел тише других на высоте метров триста, хрипя и булькая одним мотором, как видно, поврежденным... Наше село стояло возле реки. За рекой — лес километра на два, за лесом небольшой луг, а за лугом вздымалось широкое плоскогорье — Шмаковская гора, куда мы зимой гоняли кататься на лыжах известному нам лесному прогону. В лунную ночь было хорошо видно, как самолет усиленно держался в воздухе и шел, снижаясь, к Шмаковской горе, пока не скрылся там за невысокими кустами. Мы взвыли от радости — «Сбит!». Тут взвилось общее неудержимое желание бежать туда, к подбитому самолету.

Меж тем, пацанье военных лет, четко понимали, что такое крупнокалиберный пулемет бомбардировщика, пулемет помельче и автоматы фашистских летчиков. Снарядившись своими разномастными ружьями, мы перешли речку вброд с расчетом миновать лес, выйти на луг и незаметно прокрасться на Шмаковскую гору, куда сел вражеский самолет. Нас было восемь человек, но обратили внимание на Леню Маленького, что пристроился позади всех:

— А ты куда?

— А не возьмете — сам туда пойду...

Леня Маленький тащил свой двуствольный «Дамасский букет», сопел и отдувался. Лунная ночь мягко высветила лес. Разлилось осеннее ночное тепло, и все мы настороженно старались не говорить и не шуметь. Чем ближе враг, тем сильнее сжимается душа, но достоинство превыше — никто себя не выдает ни малейшей слабостью.

Настойчиво взбираемся по крутому склону чрез тальник и кустарник, а через кустарник видно — вот он, темный самолет, распластаный в крыльях, на широко поставленных шасси, всего шагов за сто от нас. Хорошо виден из реденького тальники. Послышалась немецкая речь. Мы затаились. Двое пилотов только что слезли с левого мотора и принялись высвобождать колеса самолета, завязшие в песке, а третий с автоматом наперевес дежурил рядом. Автоматчик был всего опаснее. Он мог со ста метров одной короткой очередью посечь нас как прошлогодний бурьян, а мы со своими дробовиками с пыжами и самопальным порохом вряд ли достали бы немца. Отойти незаметно уже нельзя. Замерли, ждем. Немцы вели себя обстоятельно и неторопливо. Они понимали: аварийная посадка угодила в пустующие обширные российские просторы. Нам не пошевелиться, не отойти, а тут еще Леня Маленький, белесенький, курнапистый, настырный, собрался воевать — посунул из тальника свой широкодулый «Дамасский букет».

Но вот пилоты быстро исчезли в утробе самолета, трехлопастные пропеллеры обоих моторов медленно завращались, и, набирая обороты, закрутились под всепоглощающий моторный рев. С минуты-две моторы работали на больших оборотах, и вдруг взревели мощным гулом.

Самолет сначала медленно, а затем все сильнее брал разгон. И вдруг Леня Маленький пальнул ему вслед из своего широкодулого «Букета». Самолет будто подхлестнутый этим выстрелом, взмыл над плоскогорьем и вскоре скрылся за горизонтом.

— С тракторным болтом в хвосте удрал, — сказал Леня Маленький.

Леонид Воробьев
(1932-1980)

ДЕРЕВЯННЫЕ ВИНТОВКИ

рассказ

Сначала мы невзлюбили его.

Первые уроки военного дела за неимением преподавателя вела у нас пионервожатая. Очевидно, и программ-то еще не было, а поэтому мы занимались играми да физкультурой. Играли в «красные и белые», отнимали «вражеское» знамя. Но все это было веселым развлечением. А пришел он и все поставил на взрослую, деловую основу.

Со стыдом должен признаться, что так и не запомнил полного его имени отчества. А вот прозвище запомнил. Звали его у нас Вася Гнутый. Говорили, что сам он когда-то, под хмельком, заявил о себе, что он «гнутый и ломаный». Вот к нему и прицепилось прозвище.

А держался он, наоборот, прямо. По народному выражению, как стопочка. Гимнастерка, галифе, сапоги — все было на нем аккуратно подогнано, все всегда начищенное,

наглаженное. Был он не стар, но лицо уже покрылось морщинами. Всегда сурово, даже чуть жестоко смотрели серые глаза. На правой руке у него не хватало двух пальцев, на левой трех.

Ребята обычно больше знают об учителях, чем те предполагают. Мы, например, знали о нем многое. Знали, что у него тринадцать ранений. Знали, что плохо спится ему по ночам, что донимают его боли. Что он часто ходит в баню и крепко там парится. И тогда боли отпускают.

Я и сам видел однажды, как его вела из бани жена. С мокрыми спутанными волосами, в расстегнутом кителе, из-под которого выглядывала белая нижняя рубашка, а в треугольнике ворота кирпичной красноты тело, он шел, опираясь, чуть не навалился на жену. А она осторожно вела его к дому, счастливым кивком отвечая на приветствие встречающих «с легким паром». Счастливая была она: у ней вернулся, а у других все еще были «там», на войне,

Он с самого начала потребовал жесточайшей дисциплины, и это, разумеется, не понравилось нам. Мы невзлюбили его, но боялись. Однако постепенно мы стали проникаться к нему уважением. А потом взяли да и полюбили.

Дело в том, что он относился к нам, как к совершенно взрослым людям. А как это нравится мальчишкам! И не было тут никакой педагогической хитрости. К педагогике Вася Гнутый вообще никакого отношения не имел. Он был фронтовик. И шла война. И раз ему доверили это дело — он готовил бойцов. Как мог и как разумел. Поэтому он преподавал одно и то же и малышам и семиклассникам: школа была семилеткой.



Мы занимались разборкой и сборкой винтовки, чисткой и смазкой ее. Изучали ручную гранату. Изучали уставы. А на улице ходили строем с деревянными макетами винтовок. Было и наказание за нарушение дисциплины: ползание по-пластунски.

Но если семиклассники с макетами, а среди учеников были и переростки и второгодники, выглядели более-менее солидно, то мы, вероятно, выглядели уморительно.

Вася Гнутый четко шагал сбоку от нашей колонны, то забегал вперед, то шел рядом и не спускал с нас глаз. И в тихом парке, где мы маршировали, звонок разносилась его команда:

— А раз! А раз! А раз, два, три!

Ходили мы и по селу. И тут Вася Гнутый заставлял нас ходить с песней.

Недавно я отыскал фотографию тех лет. Боже мой, до чего мы были смешны. Какие-то лопоухие, стриженные под ноль, в самой разнообразной в, прямо скажем, плохонькой одежонке. Некоторые в лаптишках. Сейчас вот идет так называемая акселерация. И когда я гляжу на своих детей или вообще на школьников младших классов, чистеньких, крепеньких, в форме, и вспоминаю ту фотографию — не знаю, смеяться или плакать. И в голову лезет совершенно дурацкий вопрос: неужели нас, таких замызганных, тощих, и прямо-таки некрасивых от частого недоедания и плохой одежонки, кто-нибудь мог любить — наши матери, наши учителя?

До чего же, наверное, смешны были мы, когда вышагивали по селу, отбивая «левой, левой», поднимая пыль, неся на плечах макеты вдвое больше нас самих. А рядом печатал шаг стройный, небольшого роста человек в военном, упрямо и зло скрывающий свое недомогание, и оглушительно выкрикивал:

— А раз... А раз...

Видимо, мы были дьявольски потешны. Но никто из встреченных нами женщин не улыбался. Не улыбались и старухи, сидевшие на завалинках. Никто не улыбался. Неулыбчивое было время.

А я у Васи Гнутого оказался в чести. Он просто полюбил меня, поставил в голову колонны и не раз говорил мне на полном серьезе:

— Расти быстрее. В армии такие ох как нужны.

Дело в том, что я пел. Точнее будет сказать, не пел, а орал. Голос у меня такой, что и доньне могу перекричать целую компанию. Моя мать — учительница музыки и пения, когда пробовала заниматься со мной, — вскоре зажимала уши и страдальчески говорила:

— Боже мой! Хоть бы дочку бог послал вместо тебя — было бы утешение. Слуху совсем немного, а орешь... Ну пой ты потише, поточней. Вкладывай ты души побольше, а не ори так, что уши ломит.

Но то, что не нравилось матери, пришлось Васе Гнутому по душе. Когда мы вымаршировывали на середину села, Вася Гнутый забегал вперед колонны, пятился задом, проверяя, в ногу ли идем, и, глядя своими стальными глазами на меня, победно выкрикивал:

— За-певай!

Тут-то я и старался. Около школы, и в парке, и в других местах мы пели разные песни. А в селе всегда одну. Любимую Васину.

Во все горло, наполненный силой и гордостью от ходьбы в ногу, от того что запеваю, что на нас смотрят односельчане, я начинал:

Мать умрет, жена изменит,
А винто-овка никогда...

И разноголосый ребячий хор, похожий, право же, на ораву безпризорников из старых немых фильмов, все эти мальчишки, да и девочки в заплатанной одежонке, мелконькие, щуплые, радостно подхватывали:

Эй, комроты,
даешь пулеметы,
Даешь батарей,
Чтобы было веселей!

— А раз! А раз, два, три! — даже багровел Вася Гнутый, перебивая нас.

А старушки и женщины провожали нас печальными взглядами. И некоторые, совсем невпопад нашему настроению, почему-то утирали привычным жестом слезы и даже крестились.

Школа помчалась в бывшей барской усадьбе помещиков Шишковых и отстояла от села метров на пятьсот. От усадьбы к реке вел прекрасный дубовый парк, спускавшийся не простым уклоном, а специально сооруженными когда-то террасами. Теперь дубам исполнилось очень много лет, и некоторые из них стали сохнуть, а некоторые даже и упали. На дубах было полно грачиных гнезд.

Здесь, на одной из террас, размещался наш «полигон». Тут соорудили и стенку для перелезания, и что-то вроде полосы препятствий. А рядом с поваленным дубом возвышалось чучело, на котором мы отрабатывали приемы штыкового боя.

Октябрь в тот год стоял чудесный. Вся площадка была покрыта сухим палым листом. Голубели дали, летела паутина, нередко еще пригревало солнце. Но нам было не до всего этого: мы овладевали наукой воевать.

Вася Гнутый выстраивал нас, раздавались слова команды. И на добрые четверть часа начиналось:

— На пле-чу!

— К но-ги!

Затем маршировали, преодолевали полосу препятствий, бросали гранаты, лазали через стенку, а под конец по одному выходили сражаться против чучела.

Многое за годы позабылось. Даже то, что учил в университете, наполовину позабыл. Но появившись сейчас Вася Гнутый, а в руках у меня макет, а передо мной чучело, кажется, точно бы проделал все, что полагалось:

- Длинным коли!
- Коротким коли!
- Прикладом бей!
- От кавалерии закройсь!

Ох и старались же мы, когда прешла у нас первоначальная любовь к Васе. Но не всегда у всех все получалось. Иной и прозевает — «длинным коли», смахнет с носа не вовремя набежавшую капельку, а Вася Гнутый тут как тут. И ползешь по-пластунски.

Собственно говоря, ничего страшного в этом ползании не было. Несколько метров по сухой шумящей листве. Но каково было переносить хохоток товарищей и Васиного презрительное:

— Да-а, из тебя боец...

Чаше других приходилось ползать Спартику Караваеву. Имя у него было громкое — Спартак, но до того он был мал, хил, тщедушен, что подходило к нему только — Спартик. Брел он всегда позади колонны, отставал. Не получалось у него и с гранатой, и с полосой препятствий, а особенно с чучелом. Казалось, не он орудует макетом винтовки, а длинный макет тянет его за собой. Вася Гнутый даже свирепел, глядя на Спартака. И тот покорно, почти каждое занятие, ползал по-пластунски. А Вася твердил, как гвозди вбивал:

— Будешь у меня бойцом. Будешь!

Говорили, что отец Спартака, который сейчас воевал, был первым Васиным другом до армии. И, спустя годы, я понимаю, что Вася не мучил Спартака, не издевался над ним, а словно выполнял некий долг перед его отцом, суровый, тяжелый, но необходимый долг.

А мы безжалостно хохотали над ползавшими, чаще всего над Спартиком. А потом шагали в школу, и опять я радостно драл горло:

Мать умрет, жена изменит...

Тот, очень памятный мне, день был особенно хорош. Листва уже почти вся опала, вдалеке виднелась чешуйчатая от легкого ветра лента реки. Золотилось жнивье на заречных полях. Бывший барский дом из красного кирпича красиво выделялся на фоне голубого неба, черных стволов деревьев и ворохов желтой листвы. Было чуть ли не по-летнему тепло, и мы занимались на своем полигоне.

Когда подошла очередь Спартика колоть чучело, он направился к нему вялой, расхлябанной походкой. Он вообще был в этот день сам не свой, с красными глазами, опухшим личиком, видимо, болел. Макет так и ходил в его слабеньких ручонках. Мы стояли по стойке «смирно» и уже предвкушали удовольствие, ожидая ядовитых замечаний Васи Гнутого и обязательного ползания по-пластунски.

Спартик подошел к чучелу, услышал: «Длинным коли», постоял секунду-другую и вдруг зарыдал. Его шатало от слез, всю его

тощенькую фигурку. Он как-то по-щенячьи скулил и взвизгивал и что-то приговаривал, приговаривал. И наконец сквозь его завывания и всхлипывания тонко и пронзительно прорвалось:

— Па-а-у-у-у-убили-и-и...

Вася Гнутый, стоявший поблизости от чучела, словно окаменел. Потом вдруг сорвался с места, выхватил из рук Спартика макет, отшвырнул его, подхватил мальчишку на руки, прижал к себе, сделал несколько шагов и сел на ствол поваленного дуба.

От неожиданной ласки, неожиданного сочувствия этого героя, фронтовика, сурового человека Спартик так и захлебнулся в плаче. Его била дрожь, и он прижимался всем тельцем к Васе Гнутому.

Мы смотрели на них, затаив дыхание. Слышно было, как слетают на землю последние листья, как шуршат они, ложась на упавшие ранее. И вдруг мы увидели, что Вася Гнутый... плачет. Мелкие слезинки катились по его морщинам, теряясь в них. Словно бы остекленевшие глаза смотрели поверх наших голов. Левой рукой он прижимал к себе Спартика, а правой грозил кому-то и с бульканьем, со свистом хриловато выдавливал сквозь стиснутые зубы:

— У-у! Гады!

Постепенно Спартик устал, обмяк, затих. Вася Гнутый поднялся, отнес его в строй, поставил на левый фланг и, полуотвернувшись, четко, звенящим, надрывным голосом, выговорил:

— Урок окончен. В класс.

И пошел, уходя от нас по аллее. Мы все стояли «смирно» и смотрели ему вслед. Он шел, держась прямо и подтянуто, как обычно. Только левая рука у него болталась не в такт шагам, а правой он изредка смахивал словно бы паутину с лица и грозил кому-то в пространство, все грозил огрызком кулака.

Мы дождались, когда он скрылся за деревьями, и побрели в класс, каждый по себе, неся макеты, как простые палки. Я шел, загребая ногами громко шуршащую листву, и ничуть не удивлялся, что никто не сказал Спартику ни слова утешения. У многих уже в семью приходили похоронки, а у других могли прийти каждый день.

Баллада о Чокнутой

Всегда а платке, с немытой челкою,
Всегда с улыбкой до ушей...
Ее у нас считали чокнутой
Все, исключая малышей.

А мы, мальцы полуголодные
/Еще войне не вышел срок/,
Украдкой — дело уголовное! —
Несли ей кто что стибрить смог:

Сухарь, дуранду иль картошину,
Щепотку соли со стола.
Несли из жалости, непростенно,
Чтоб вдруг она не умерла.

При нас на раз съедала все она
От благодарности в слезах,
И сразу делалась веселою,
Преображалась на глазах.

И начинала «отрабатывать»
Свою нежданную еду:
«Ну, а тепериче, ребята, вам
Я «Светит месяц» заведу!»

И заводила — вот потеха-то! —
И нам давала завести
Дографмофонную ту технику,
Какой уж не приобрести,

Тяжелый, с дырочками, с точками,
Старинной бронзы желтый диск
Рождал, встречаясь с молоточками,
И звон, и треск, и скрип, и свист.

Быстрее, громче, тише, медленней,
Стройней, звучней за разом раз
Носилось в комнате без мебели
И завораживало нас.

«Ну, а тепериче, ребята, вам
И нарисую про войну...»
И продолжала «отрабатывать»
Свою еду, сглотну в слюну.

Воображению художницы
И вправду не было границ.
Вот распростертый, будто ножницы,
Лежит огромный мертвый фриц.

А вот повешенные фрицами
Старик и женщина. А тут —
С сумой, с зареванными лицами
Детишки по миру идут.

Там — в красноезвездных шлемах конники
Несутся, пашки — наголо.
И вновь — покойники, покойники,
Все — фрицы, наших — никого!

Не сохранились те «баталии»
Ни у меня, ни у друзей,
А то бы мы, конечно, сдали их,
И их бы приняли в музей.

«Ну, а тепериче, ребята, вам,
Хотите — песенку спою?...»
Ей было в радость «отрабатывать»
Еду случайную свою.

Мы были с нею, как с девчонкою,
Почти на равных по уму,
Но мы — хитрей:
О дружбе с Чокнутой
Не говорили никому.

Все было тайной: ум расстроенный,
Быт неустроенный ее,
Сам дом, без окон, недостроенный,
Так непохожий на жилье.

Из зим голодных самой лютою
Послевоенная была,
И в мае мы простились с Людкою,
Что вдруг на печке умерла.

Не вдруг... Не вдруг!
Уж мы-то поняли:
Не вдруг случилось это здесь,
А из-за нас: мы вдруг не вспомнили,
Что Людка... Людка хочет есть...

Не надрывались трубы медные,
Не проливала слез родня,
Взгрустнули только зэки бледные,
В овраге Людку хороня.

Да два работника милиции,
Что не спускали с зэков глаз.
Да мы, с зареванными лицами,
Что твердо знали: из-за нас...

1985 г.

ХЕНДЕ ХОХ!

рассказ

Иван да Прасковья на самом краю деревни жили и на отшибе даже. До соседнего дома палкой не добросить — метров сто с гаком будет.

Обоим уже за семьдесят, но на здоровье особо не жаловались и хозяйство свое вели справно. Иван — бывший фронтовик разведчик, сила в руках еще сохранилась, а потому дрова колоть и грядки копать для него — дела приятные. В гости к ним редко кто навывался, разве что соседка иной раз забегала поведать да новостями деревенскими поделиться. А тут заходят два ухаля молодых. Одеты с иголочки такие вежливые да приветливые, будто дети родные. Стариков по имени-отчеству величают. Мы, рассказывают, из благотворительной кампании, ветеранам — прочим помощь всяческую оказываем, чтобы жили они без нужды. Хозяева от внимания такого диву даются: и нас не забыли стороной не обошли. А гости предложили микстуру от всех недугов старческих. Однако, поясняют, больших денег стоит, но на то и благотворители, в три раза дешевле можно продать — всего-то за полторы тысячи рублей. Вежливо так говорят да с поклоном еще.

Иван да Прасковья — люди доверчивые. Обрадовались они, что такое чуть ли не волшебное лекарство им даже на дом принесли. Но хозяин все-таки документы у гостей проверил. Все оказалось в полном порядке. И удостоверения с печатями, и на лекарство бумага имеется, которую читать да читать — от многих болезней хоть бы хны излечивает. И как принимать указано: по чайной ложечке кажинный день перед сном.

Купили хозяева лекарство. Гости-благотворителей чаем напоили. Те на прощание раскланялись да расшаркались — еще, мол, будучи в ваших краях, обязательно побываем и мимо никак не пройдем. Пообещали, важной походкой.

А через полчаса хозяева опомнились: кошелек с деньгами пропал. Денег там было тысяч под десять. Хозяин на улицу — туда да сюда, а гостей и след простыл. Их будто ветром невесть куда унесло. А вечером выяснилось еще, что и купили они не лекарство, а сок какой-то — не то яблочный, не то морковный. Ма рынке в райцентре его полным-полно продают и вообще за копейки.

Ивана досада неимоверная взяла: надо же его, бывшего разведчика, какие-то прощелыги вокруг пальца обвели, будто воробья на мякине. И надумал он: ежели появятся вновь эти добры молодцы,

проучить их, как следует. Достал из ларя старый-престарый дробовик без курка, хранившийся, наверное, со времен царя Гороха, еще от прадеда в наследство.

Ждет Иван гостей-обидчиков, ружье наготове держит. А тут слесарь из райгаза — молодой и неженатый — по домам ходил я исправность плит проверял. Стучится он в двери и очень настойчиво даже. Глянул Иван в окно — обомлел: на одного из прохиндеев, ей-Богу, похож! Иди, говорит он Прасковье, побалабол с ним, но дверь ни за какие коврижки не открывай. Я, поясняет, с тылу зайду и в плен его заберу для полного выяснения личности.

Прасковья перекрестилась и в коридор — мышкой. Запор с дверей она не снимает. Не знаю, говорит, ничего и знать не хочу с плитой у нас все чередом, — не копит и запаха никакого дурного не испускает Слесарь за дверями так и этак с ней объясняется да без толку все — хозяйка не пускает.

А Иван лисом хитрым пробрался вокруг избы и из-за угла. «Хен-де хох!» — кричит, как на фронте не раз бывало.

Слесарь опешил, конечно, и так и присел от испуга. Иван за шкуру его сгреб, в сарай затолкнул и на амбарный замок запер. Жену свою Прасковью тут же к телефону турнул, чтобы участковому позвонила: мол, преступник и особо опасливый ему в лапы попался.

Супруга мигом приказ исполнила. Участковый ждать себя долго не заставил — на мотоциклете — птицей прилетел. И все у него, как положено: пистолет, наручники, фуражка с кокардой.

Подводит его Иван к сараю. Извольте, говорит, врага в кутузку отвести и при оформлении протокола обязательно укажите, что я, Иван Соколов его собственноручно в плен взял. Участковый на всякий случай пожарный пистолет с предохранителя снял и в карман положил: вдруг преступник сопротивление окажет. Открывают сарай милиционер от неожиданности и наручники приготовленные для жулика обронил.

Да это же, говорит, племянник мой. Он в райгазе второй месяца слесарит.

И еще, добавляет: вполне возможно, что этот Венька скоро даже родственником вам приходится будет.

Иван да Прасковья сконфузились, извинения приносят пленнику своему, раскланиваются перед ним.

А участковый прав оказался. Тем же летом все у этого райгазовского слесаря на свадьбе гуляли

Он, Ивана и Прасковью порадовал: на внучке женился. И подарок свадебный был от них дорогим самым... Весело было, лекарство не потребовалось.

ИСКРЕННОСТЬ ДАРОВАНИЯ

На заседания литературного объединения волгореченцев Олег Калачев обычно приходит с гитарой: свои новые стихи не читает, а «пропевает». Звучат они красиво, убедительно, и раскрывается в них его «неумная душа».

Долго поэт готовил свою первую книгу. Сначала считал, что «не имеет права замахнуться на печатное издание, не готов это сделать, стихи еще требуют доработки», а потом... потом у каждого творческого человека одна беда — нехватка средств, чтобы напечатать свое, заветное.

Но вот книга готова. У каждого из нас есть свои любимые поэты. У них учимся, стараемся до них «дорости». Для О.Калачева это Сергей Есенин и Николай Рубцов.

... Я в шубейке отца на крылечко присяду.
Дымкой тянет от сада в преддверье грозы.
И в кармане найду еще горсть самосада,
Закручу в «козью ногу», затанусь до слезы.
До души достает самоделье отцово,
Затанусь, помолчу... Кто-то в дверь позвонил.
Отложу старый том Николая Рубцова
И пойду открывать. Жаль, что не докурил.

Однажды он позвонил мне поздно вечером, чтобы прочитать две строчки из стихотворения С.Есенина: «Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума», — и удивляться, и восхищаться, и расстраиваться, потому что ему до такого точного поэтического образа никогда «не дошагать».

Есенинские настроения бунтаря, гуляки, грубияна, возмущающего покой окружающих, присутствуют в творчестве О.Калачева.

Неумная душа!
Мне бы воли, мне бы света —
Так, чтоб с осени да в лето.
Неумная душа.
Неумная душа!
Мне бы строить что-то где-то,
Но сначала все круша...

Особенно это чувствуется в стихотворении «Не упал еще низко, но падаю».

... Хотя и ночь, поорать нестерпиво:
— Колька, друг, выходя, ты же умница.
Стих прочти! Душу мне растревожь.
Расскажи про Серегу Есенина,
Про кабацкие песни до слез,
Про заблудшую душу, пусть временно,
В окружении белых берез.
Выходи, паразит, не отстану я,
Мне сегодня стихи позарез!
За ограду держусь. Ну и пьяный я!
Был бы трезвый, давно перелез.

Душа Калачева открыта добру и состраданию («Благое дело — нищему подать», «Сколько стоит найденный пятак»); он понимает чувства ребенка, которого «любящая» мамаша наставляет в тире, как вернее «убить» птичку или слоненка («Ребенок в тире целился в зверушку»); тепло и чуть иронично он может сказать о человеке и о животном («Идет лошадка мастью... просто никакая, и мужичок лежит в телеге — «никакой»); он умеет любить и ценить любовь («Ты, наверное, мой оберег»); умеет честно сказать о своих недостатках («В доме покой, хотя не уют»).

Калачев предъявляет к поэзии, своей и чужой, высокие требования («А у разных стихов, как у разных собак, есть и злой, есть и добрый, но все же хозяин. Слава Богу, коль умный, а если дурак?»).

Я не безгрешен, и хотя не верую
И на миру твержу лишь о реальности,
Коль жизнь сера, я говорю, что серая.
Без красноречия и сентиментальности.

Люди умные и добрые всегда не очень притязательны к условиям бытия.

Мне надо было немного,
Когда отправлялся в путь.
Пусть трудною будет дорога,
Но было бы где отдохнуть,
Да высушил ветер одежду,
Коль будет вдруг ливень круг.
И вселит рассвет надежду
На мой, еще длинный, маршрут.

Чутким сердцем он понимает хрупкость жизни человеческой и то, что жаль растрчивать ее по пустякам.

Не знаю, встречу ли весну,
А так хотелось бы
Увидеть вновь голубизну
Весенней спелости.

Олега Калачева волнуют многие нравственные вопросы, особенно сейчас, «когда в стране, как никогда, все зыбко, когда в сердцах и душах все не так», «когда традиции, обычаи, устои для многих ничего уже не стоят».

И чем измерить трусость, подлость, лесть
Иль проданную честь?
Измену Родине? Или своей любимой?
И где та грань, что допустимой
считается? И как ее учесть?

На эти вечные философские вопросы обращает поэт внимание живущих рядом, пытается и сам найти ответ.

Конечно, есть в стихах Калачева стилистические погрешности, неточность в выборе слов, но это чистый, искренний поэт, вышедший на первый убедительный сборник, издание его вывело бы автора к новой серьезной работе.

Татьяна Дмитриева

* * *

Как трудно говорить с подросшими детьми,
Когда они хотят самих себя лишь слышать,
И, как Наполеон, вступают в этот мир,
И надо все успеть, и тесно им под крышей.

Как хочется помочь ошибок избежать,
Но, видимо, своя у каждого дорога.
И не всегда уму подвластен сердца жар.
Что ж — отступи, любя, и уповай на Бога.

Они поймут потом, — и сердцем, и умом, —
Родительскую боль бессонными ночами.
И, обретя себя, вернуться в старый дом,
Чтобы, — в который раз, — всю жизнь начать с начала...

* * *

Когда тебе — за пятьдесят,
Ты знаешь цену многому.
Пусть злые ветры голоса, —
Иди своей дорогою.

Живи, люби — не напоказ,
Скрывать умея горести,
А бьешь — так бей наверняка,
И не теряй достоинства.

В наветы ложные не верь,
Предавшим раз — тем более.
Закрой, забыв про эту дверь,
Где ранили так больно.

Но только превозмочь сумей
Обиды самых близких,
С кем разлучит одна лишь смерть
Непостижимой высью...

Опять рыдающий косяк
До боли душу трогает.
Когда тебе — за пятьдесят,
Ты знаешь цену многому.

* * *

Мало осталось из памяти детской,
Но, не стыдясь прежней жизни, откроюсь:
Корнем, по-прежнему, в слове Советский
Так и осталось понятие — совесть!
Не демократы и не либералы,
Не за рубли, не за страх, а за совесть
Все, что имею сегодня, мне дали:
Знания, работу, жилье и здоровье.
Время застоя? Каким, интересно,
Новое время потомки запомнят? —
Те, кто живут и работают честно,
А уж, конечно, — не воры в законе...
Сопротивляясь безрадостно — тусклому
Быту, живу интересно и дерзко!
И не желаю быть новою русской,
Живу не богатой, но — старой, советской!

* * *

Не все возвращены долги,
И суета одолевает,
И путь намерений благих
Тернист, и вереи ли — кто знает...

Век для Земли — всего лишь миг,
Как он велик и как ничтожен.
Мы оторвались от Земли
И вновь свои ошибки множим.

В пучине низменных страстей
Высокомерны перед слабым,
В безумьи дом свой — Землю — грабим,
И шлем на смерть своих детей.

Все чаще под ноги глядим,
А в детстве так любили — в небо.
А внуки — как грибы в дожди...
А жизнь уходит — брошен жребий.

Где потеряешь? Где найдешь?
Нам Божий промысел неясен.
Как трудно жить с собой в согласьи,
Где сумасшедший только счастлив...
И все ж — живи, пока живешь!

Юрий Разгуляев

* * *

Глаза, что нежность излучали,
Пусты, как зимние сады.
И не утешиться в печали,
Не дотянуться до звезды.

Когда укрыты снегом травы,
Они лишь спят, а не мертвы.
Для непонятной нам забавы
Их ждут весенние ковры.

И будет дождь с листвою майской
Играть, секретничая с ней,
По капле падая сквозь пальцы
Блестящих влагою ветвей.

И вот тогда оно забьется,
И уж тогда они узрят
В немом, едва живом колодце
Звезду, спустившуюся в сад.

Леонид Воробьев

ПОСЛЕ ЗАКАТА

Уходило в сорок первом сорок,
А вернулось в сорок пятом пять.

В. Кулагин

Закат был какой-то необычный. Такому жаркому июльскому дню суждено было кончиться почти осенней печалью. Вдруг похолодало, хотя без малейшего ветерка, и солнце ушло багрово-красным и словно запыленным, на глазах терявшим яркость. А за ним спускались к горизонту облака, будто занавешивая зарю, и она чуть рдела из-за них. И было пустынно и грустно в лугах.

— Дождь будет, — зло бросил бригадир Деряба, мужик здоровенный, грубоватый, но всеми уважаемый. Его любили за прямоту и за то, что не жалел себя на работе. Бывал он и в колхозных председателях, да сняли его в свое время, записав: «за организацию коллективной пьянки». А сейчас он работал уже не в колхозе, а бригадиром в подсобном хозяйстве техникума. — Дождь будет, — повторил он. — Едрена мышь. Ладно, что на заливных кончили. Отметались. А завтра, чую, польет. И нога мозжит. Хотел ведь было завтра на Баронских загребать начинать.

Он сел на ступеньку крыльца, закурил и поглядывал на закат, на небо. И отдыхал.

А я взял и ушел в луга. Ходил между ладными, неогороженными пока стогами, стоял на берегу реки и тоже понимал, что может установиться ненастье. Потому что словно напряглось все, затаилось и приготовилось. И потому что волнами шли запахи, речные и луговые. Словно и не текла, не двигалась река, а так, лежала себе блестящей серебряной с чернью лентой. И небо из-за туч приблизилось к земле. Менялась погода. Стало мне зябко в лугах, и я пошел к бывшей школе деревни Песочки, что стояла когда-то на возвышенном месте.

Школы на горке давно не было, сруб перевезли, а место все называли «школой». Сохранились только березы да площадка между ними, когда-то утоптанная нами до бетонной плотности. Здесь у нас был «топчак», тут по вечерам и плясали, и танцевали, и влюблялись тут же. А теперь, наверное, никто сюда не ходил: молодежи мало стало в селе, да и та собиралась на танцы в техникуме. Плясать же в эти годы уже не стали. Мода отошла.

Здесь, пока поднимался, показалось теплее. Но еще издалека, пока я еще не добрался до школы, услышал я звуки гармошки. И не поверил себе: решил, что вспомнилось былое и зазвучало в душе. А

подходя ближе, различил, что действительно играет грамошка. И, к моему удивлению, играли нашу плясовую. Потом перешли на «Семеновну». Тихонько подошел я к площадке и остановился в отдалении.

Березы развесили свои пряди почти до земли и не шумели, ни один листочек не шевелился. Тихо было в полях и на лугах. Но грамошка звучала не так уж звонко, — видно, вечер был такой, когда звук почему-то теряется, тускнеет, что ли. Играла тетя Маня Михеева, сидя на довольно высоком пне. Плясали Сонька-телятница и Вера Ивановна, комендантша. Еще пятеро женщин стояли полукругом и смотрели. Все женщины были мне знакомы; всем теперь было под пятьдесят и больше. Но никогда я не видел их пляшущими. И тем более на нашем «пятачке-топчаке». Правда, и не был я в родных местах много лет, однако ведь рос и все знал здесь.

Меня никто не заметил, и я прислонился к березе да смотрел. А известно, какие у нас в начале июля на севере ночи. Все было видно, и видел я, что возбуждены женщины, пляшут, дробят от души. И тетя Маня Михеева разошлась — играла и притопывала ногой, словно сама собиралась пуститься в пляс.

Вера Ивановна, высокая, худущая, обычно мрачноватая и не улыбочивая, вдруг выкрикнула частушку:

Самолет летит, крылья колых-колых...
Ребята хитрые, а мы хитрее их!

А Сонька-телятница, круглая, маленькая, обычно бойкая на язык, не задержалась с ответом:

Самолет летит, все знаки стерлись...
Мы не ждали вас, а вы приперлись.

«Эге! — сообразил я, различая по чуть хрипловатым голосам. — Старушки-то наши подвыпили, разгулялись».

Голос у Веры Ивановны был низкий, какой-то повелительный, а Сонька отвечала по-девчоночьи, даже с подвизгиванием. Сколько раз слыхивал я этих женщин в нашем поселке, но чтобы пели они — никогда. Сонька выдала новую припевку:

Юбка узкая да переузкая,
Полюбила мордвина, сама русская.

Вера Ивановна тут же ответила:

Семеновна, тебя поют везде,
Молодой Семен утонул в пруде.

Товарки, стоявшие полукругом, засмеялись. А до этого смотрели они молча, тихо, как будто и не было их. Точно и пляшущие, и тетя Маня, и подруги какой-то ритуал исполняли, а не веселились. Но что особенно меня поразило — что стояли они под ручку, тесно прижавшись друг к другу. Может, холодно им было... Но только стояли они точно так, как когда-то наши девчонки, когда плясали, выхаживаясь друг перед другом и перед ними, мы.

Посмотрел я, посмотрел и решил уйти незамеченным, так как подумал, что если увидят они меня, не будет им так привольно и, наверное, хорошо. Отделился от березы и, стараясь ступать потише, спустился со школьной горки, направился обратно в поселок.

А Михеева неожиданно резко сменила мотив, и вслед мне донеслось:

Пришел милый на гулянье,
Шею вытянул, как гусь.
Насмотрелся на дьявола —
Домой идти боюсь...

Когда я вернулся, Деряба все сидел на крыльце — накурился и блаженствовал, отдыхая. Раненую ногу вытянул далеко вперед, а локтями оперся на ступеньку позади себя. И кисти рук свободно висели. Правая рука была у него изувечена, кисть не работала. Но, к счастью, он был левшой. А стога приспособился метать так: брал вилы в левую руку, а клал черенок, опирая его о предплечье правой. И метал дай бог всякому, за раз поднимал чуть не по целой копне, укладывая пласт настолько ловко, что стояльщики только подхваливали его.

— У школы был, — сказал я, подсаживаясь к нему. — Чего это бригада-то твоя развеселилась?

Он снова закурил, предложил мне, а потом заговорил:

— А ну их к лешему! Одни неприятности из-за них. Выговор мне сегодня объявили, завтра напечатают и на стенку вывешат... А гуляют-то чего, спрашиваешь? Так ты в городе, что ли, рос? Всегда, когда на заливных кончали, вроде дожинок устраивали.

— Выговор-то за что? — спросил я.

— Да они взяли да по поселку прошли, как бывало. Ну, Манька Михеева и завернула две частушки с картинками. Да еще около самой учебной части. Директор вызвал на ковер и полчаса мораль читал. «Ты, говорит, за них отвечаешь. У меня, говорит, здесь учащиеся, учебное заведение». А ты попробуй поговори с ними, с пьяными-то... И выпили-то — тьфу... — Он сердито сплюнул. — Да много ли им нынче надо с устатку-то. В гробу я видел его выговор. В белых тапочках.

— А я что-то раньше не видывал, чтоб они плясали, — заметил я. — Я и не знал, что тетя Маня играет.

Деряба долго молчал, бросил папиросу и нехотя сказал:

— Не знал... А чего вы вообще знали? Себя вы знали. Играет... Разве муж ее, Ванька, так играл? Пять деревень сходились его игру послушать. Он, когда пошел, сказал: «Трудно будет — все продай, гармонь сбереги». Она не только сберегла, она пилила-пилила, да выучилась. И сармака, и елецкого, и «Семеновну». Хоть худо, да выучилась. Когда я из госпиталя пришел, они уже собирались. Без нее вечерами да поодиночке по домам с ума бы сошли. А может, кто и повесился бы. Ей до смерти наше спасибо. Сама ведь в петлю лезла, как Ваньку убили. Следили. Вытащили. А потом вот собираться стали. Все легче.

Помолчал и добавил:

— У всех ведь у этих... женихи были, а у ней да у Верки мужья. А на всех-то я один вернулся. Да и то ни богу свечка, ни черту кочерга. Ладно, моя Симка подобрала.

И еще помолчал.

— Мне бы, конечно, как мужику, надо играть, — как бы разъясняя, продолжил он. — Да у меня медведь ухо отдал. Да и Манька все равно бы гармонь не продала. Это у нее все, что от Ивана осталось.

— Так вы... разве... тоже собирались? — растерянно спросил я.

И, как наяву, просто вспыхнули передо мной белые ночи. И площадка наша. И хохот, и смех. И песни, и танцы. И все знакомые, такие молодые, такие здоровые парни. Такие красивые и бойкие на язык наши девушки. Так нас много! И безудержное веселье у нас. Милые, милые, незабываемые, незабываемые деньки и вечера! Золотое-золотое время...

Деряба поглядел на меня и как-то криво усмехнулся.

— А ты что же думал? Мы вам мешать не хотели. У нас ведь как: кто поет, а кто слезы на кулак мотает. А вам вперед жить. Чего вам на нас глядеть? Ты прикинь: я семнадцати ушел — девятнадцати вернулся. Донял? А им что, больше было? Что же мы, не люди, что ли? Вот соберемся за старой мельницей, — знаешь, пригорок там? Местечко хорошее, все почти годки друг другу. Одни бабенки да я. Вы, когда подросли, ваше место у школы. А мы там. Неловко как-то, чтоб вы видели. Вот Манька и старается, веселит.

Наступал единственный в это время темный час ночи. Пора было спать. Деряба поднялся. Поднялся и я.

— Теперь там, конечно, все лесом заросло, — зевнув, сказал он. — Я в сорок третьем ушел, в сорок пятом возвратился. Большой уже лес на нашем местечке вырос.

По главной улице поселка прошла группа — кончили свою вечеринку у школы. У дома Михеевой все разделились и пошли в разные стороны, по своим квартирам.

— Видал? — удовлетворенно мотнул головой в ту сторону Деряба. — Как мышата... Мне выговор всадили, ну, а я их к школе шуганул. Меня, брат, слушают.

Широко зевнул и стал подниматься к дверям. Не заходя в дом, обернулся и проговорил:

— Вот и разругались. И с ими не пошел. А с другой стороны, посуды, радости-то у них... Каждая, гляди, сейчас пошла к себе. Одна, так и есть одна. Ну, спокойной ночи.

Он ушел в дом, а я стоял и смотрел в сумеречные луга и туда, где когда-то стояла школа. Все темнело да темнело. И ничего уже там видно не было. И ничего не было слышно.

Михаил Дудин

* * *

Я не могу смотреться в зеркала —
Мне стыдно своего изображенья.
В моей душе гудят колокола
Разбитые предчувствием крушенья.

В моей душе свила гнездо беда
И вывела птенцов большой тревоги,
Которой захлебнулись города,
Мошенники, правители и боги.

И нет мне избавленья от беды,
И праздники веселием не красны,
И к радости потеряны следы
И поиски прекрасного напрасны.

Там, где шумит базарная толпа,
Где на базаре немцу жулик ловкий
За доллары сбывает черепа
Моих друзей, погибших под Дубровкой.

Куда мне деться? Времени река
Едва течет. И не глядится в реку
Звезда полей. Россия велика.
И нет в России места человеку.

Благая весть

Давным-давно Благая Весть
Была земле дарована,
И быть должна людская честь
Всегда на ней основана.

Но мир осатанел в огне
И к благу не торопится,
В житейском море лишь на дне
Заветный жемчуг копится.

Сон

Приснился мне город громадный,
Там жизнь разудалая шла.
Люд суетный, алчный и жадный
Ее прожигал дотла.

Огни безмятежно сияли,
Как звездное небо в ночи,
Витрины победно пылали,
И жрали бензин лихачи.

Хозяевами чужеземцы
Взирали на люд свысока,
Восторженно пялили зенки
Юнцы на них... Боже, тоска!

Блуждали панельные павы,
Губами, как ведьмы, кровавы,
Ватагой, оравой, гурьбой —
И нагло гордились собой.

Невольно я вдруг содрогнулся,
И всхлипнул, и тотчас проснулся
Под зычный будильника звон.
...А что если это не сон?

ГВАРДЕЙСКОЙ ПОХОДКОЙ...

Когда началась война, Евгению Николаевичу Симонову не исполнилось и шестнадцати. Был он обыкновенным деревенским пареньком из села Чернопенье Костромского района. Правда, рослым и сильным не по годам. Может, потому дорога на передовую оказалась такой скорой: когда в июле 1941 года уходил из родного дома на трудовой фронт, даже не предполагал, что солдатом станет через считанные месяцы.

Работать пришлось под Ленинградом: рыл окопы в районе станции «Волховстрой № 2». Дневная норма на человека — восемь кубометров. Земля тяжелая, глинистая. Бригадир попался строгий: не выберешь за полдня четыре кубометра — нет обеда. Ну а если нет обеда, то какая же работа?

Сегодня «с высоты» возраста и приобретенного боевого опыта, Евгений Николаевич весело подтрунивает над собой:

— Промучившись месяца полтора, мы втроем (все с одной деревни) твердо решили бежать. Домой. А поскольку были, хоть и сильные, но не очень умные, то побежали не в ту сторону и оказались недалеко от линии фронта. Незадачливых беглецов быстро отследили «особисты» и недели две продержали под арестом, выясняя, кто они и откуда. Выяснили и отправили опять на окопы, выделив сопровождающего. Когда беглецов «водворили» на место, оказалось, что здесь уже формируется ополчение.

— Бригадир Сашка Зверев, которого мы всю дорогу поминали недобрым словом и, наконец, решили убить, — улыбается Евгений Николаевич, — по возвращении сам вручил мне винтовку — длинную, как труба Костромской ГРЭС, — с клеймом «Его Императорского Величества Тульский оружейный завод» и пять патронов к ней.

С этой винтовкой молодой ополченец должен был держать оборону, сидя в собственноручно вырытых окопах, а, когда станет «скучно», менять «большое ружье» на лопату, чтобы расширять боевые укрепления.

Ленинград был окружен. Во время одной из бесчисленных бомбежек чернопенскому пареньку перебило ноги. Четыре с половиной месяца отлежал в госпиталях: сначала в Вологде, потом в Ярославле. К моменту выписки мать привезла свидетельство о рождении, где черным по белому было прописано, что пареньку всего 16 лет. Он очень хотел домой. Но к тому времени уже был солдатом и имел заполненный на все виды аттестат. Стало быть, выбор невелик: фронт или трибунал.

Осваивать премудрости солдатской науки отправили в запасной полк под Муром в с. Карачаево (родина Ильи Муромца). Учили полгода всем специальностям пехоты.

— Я вот сейчас смотрю фильмы, — сравнивает свои боевые

навыки с навыками нынешних суперменов Евгений Николаевич, — их герои вытаскивают оружие из кармана, а потом стреляют. Нас учили прямо из кармана стрелять. Приемам рукопашного боя обучали.

Ну а потом чернопенский Илья Муромец стал гвардии рядовым 10-й мотомеханизированной бригады 14-й Краснознаменной Гвардейской дивизии, которая относилась к Степному фронту (позднее 2-й Украинский). Участвовал в освобождении Харькова, Полтавы, Кременчуга. Форсировал Днепр.

Стал разведчиком. «Хорошая работа, — говорит, — была под Кировоградом, в ночь с 6 на 7 января 1944 года. Вызывают нас и дают задание — достать «языка». За офицера пообещали орден Ленина. Отправились. Далеко за линию фронта ушли — километров на пятнадцать. В одной деревушке определили избу, где должен быть офицер. Часового снять для нас пара пустяков. Немца скрутили, документы прихватили и обратно. Фронт перешли, «языка» группе обеспечения передали. Успели даже порадоваться, что так удачно все провернули. И вдруг — автоматная очередь. Досталось двоим, в том числе и мне: ранение получил в спину, руку и ногу. Ребятам за ту вылазку по ордену Красной Звезды дали, а нам — двоим раненым — позже по Славе 3-й степени».

Таких вылазок на счету сержанта Симонова несколько. Но эта особенно запомнилась, потому что стала для молодого разведчика последней. По причине ранения в легкое у него появилась одышка, так что довоевывать пришлось в пехоте. Когда вернулся в часть, завершилось форсирование Прута (граница с Румынией). Попал солдат, что называется, «с корабля на бал». Из окруженной Яско-Кишиневской группировки вырвались 5 немецких дивизий как раз в тылы нашей армии.

— Помню, — рассказывает Евгений Николаевич, — идут в полный рост по бровке оврага. Я как раз из госпиталя вернулся, оружия нет. За бровку забежал, к пулеметчикам пристроился, подрасталкал их: дайте мне гашетку. У командира хватило выдержки подпустить немца метров на сто. Начали косить из пулеметов. Много положили. Потом всю Яско-Кишиневскую группировку доделали.

Чуть позже часть была передислоцирована в Польшу. Предполагалось, что дальше она пойдет на Прагу, но началось наступление на Берлин, и основные силы бросили туда.

— Мы освобождали всю округу, — вспоминает Евгений Николаевич, — города Котбус (штаб Вермахта), Цоссен, Бухенвальд. За взятие этих городов получил личную благодарность Сталина. Не так давно я ее передал в Ипатьевский музей Костромы. Жив буду, съезжу посмотреть».

Во взятии Берлина боец Симонов не участвовал: его часть была перебросена на Прагу. Задачу поставили такую: не пропустить немцев к союзникам. Здесь наш герой и встретил День Победы.

К тому времени он мало походил уже на себя, 16-летнего подростка, рвавшего от трудностей домой. Он научился пригибать эти трудности к своим ногам, шаг за шагом меряя версты, ведущие к Победе. К концу войны на груди гвардии сержанта Симонова красовались орден Славы, орден Красной Звезды, три медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией». Награжден он и еще одной медалью «За освобождение Праги» (есть о том соответствующая справка), но по сию пору медаль эта герою не вручена, а справку он подарил Музею Боевой и Трудовой Славы волгореченского лица.

Получилось так, что боец Симонов по всем параметрам подошел для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве: рост — 178 см, наград — не менее пяти. Готовили долго. Начали в Праге, продолжили в Польше, закончили в Москве.

— Прошли мы здорово, — вспоминает Евгений Николаевич, — за что получили по десять суток отпуска. Помню, что подпись под приказом поставил комендант г.Москвы Синельников.

Удостоверение участника Парада Победы Евгений Николаевич тоже передал в Ипатьевский музей.

После войны служба для сержанта Симонова продолжилась на Дальнем Востоке и растянулась аж до 1950 года. Домой вернулся 25-летним. Кроме матери, его ждала девушка, с которой, благодаря однополчанину-земляку, он познакомился по переписке. Женился. Работать устроился связистом. Получил специальное образование техника-слаботочника в Рыбинском речном училище. Семья росла: одна за другой появились две дочери.

Когда началось строительство Костромской ГРЭС, Евгений Николаевич решил устроиться туда. Пока ждал вызова, оказался назначенным на должность председателя сельского Совета. Потом был выбран председателем на второй срок. Как ни пытался, вырваться на новостройку не мог: самовольный отъезд был чреват потерей партбилета. Мечта осуществилась лишь в 1971 году. В этом году он был назначен на должность начальника ЖКО Костромской ГРЭС. Перебрался с семьей в новый город Волгореченск. Начальником ЖКО работал до пенсии (1985 года). Потом, став пенсионером, еще 5 лет в лагере «Электроник» (в котельной).

Сейчас Евгений Николаевич ждет не дожидается весеннего тепла, чтобы рвануть в родное Чернопенье на дачу. Канавки прокопать, чтобы грядки обсыхали. Теплицу подготовить.

— Любим мы с супругой огурчики насолить, помидорки в собственном соку, перцы в томатном соке.

До Дня Победы осталось совсем немного времени. И, наверное, в колонне ветеранов в числе других, надев ордена, пройдет к Обелиску фронтовик, гвардии сержант Симонов. Эта дорога почета легче тех, что он отшагал в Великую Отечественную. Пожелаем ему много весен и легких дорог.

Татьяна ЖУР

Содержание

Соборное слово	3
Михаил Шолохов. Сорок пятый	7
Владимир Тупиченков. До Берлина остается 70 км.....	8
Анатолий Котлов «Здравствуй, мама»	12

КОНКУРС «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

От составителя. Народная правда о войне	20
Алексей Базанков. «Поднялась и моя Кострома...».....	22
Надежда Власова. Последняя встреча	30
Ирина Семенова. «Прощание славянки»	31
Галина Трефилова. Охраняла небо над Москвой	40
Нина Орлова. «Много писать мне мешают бои...».....	44
Генрих Гарнов. Вторая атака	50
Марина Шатрова. «Скажи еще спасибо, что живой»	53
Татьяна Жадова. Был месяц медовый войной разделен ..	58
Виктор Морозов. Вернулись немногие... ..	61
Александр Созинов. Солдатка	70

НЕ РАДИ СЛАВЫ

Николай Звонов. Тисса	74
Татьяна Вилкова. Вспоминать страшно	79
Виктор Воронов. Солдат и маршал	84
Павел Разуваев. Северные увалы	89
Наталья Завьялова. Монолог ушедшего солдата	96
Виктор Веселов. Светлая волна	97
Павел Мельников. Годовщина победы	100
Ольга Повалихина. Незаживающая память	103
Александр Хлябинов. Сердечная недостаточность	106
Вячеслав Арсентьев. Эхо прошедшей войны.....	109

Александр Лобанов. Год рождения — 1945	113
Светлана Виноградова. Вдовье	116
Ольга Гуссаковская. СКАМЬЯ, повесть	117

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Федор Тютчев. К России	174
Юрий Лебедев. С.В.Максимов - П.А.Катенин - А.Ф.Писемский	175
Зинаида Осипова. Возвращение после войны	182
Константин Абатуров. Во имя жизни	185
Виктор Куликов. Творцы истории	189
Виктор Куликов. Памяти Виктора Волкова	190
Виктор Куликов. Урок истории	191
Виктор Куликов. Память сердца	193
Виталий Пашин. Великая истина	194
Виталий Пашин. Байки военной поры	199
Борис Бочкарев. Леня Маленький	200
Леонид Воробьев. Деревянные винтовки	204
Анатолий Беляев. Баллада о Чокнутой	210
Алексей Акишин. Хенде хох!	213
Зинаида Чалунина. Искренность дарования	215
Татьяна Дмитриева. Стихи	218
Юрий Разгуляев. Стихи	220
Леонид Воробьев. После заката	221
Виктор Лапшин. Благая весть	226
Виктор Лапшин. Сон	226
Татьяна Жур. Гвардейской походкой	227

КОСТРОМА

Литературно-художественный сборник

За справками обращаться по адресу:
156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.
Костромская областная писательская
организация. Телефоны: 31-21-09, 31-35-02.
Web page: <http://www.kosnet.ru/~bam>

**Общее и художественное
редактирование — М.Ф.Базанков**
**Дизайн, компьютерный набор и
оригинал-макет — А.М.Базанков**
Коллажи — М.Ф.Базанков

**Издание осуществлено при участии
администрации Костромской области**

**Сдано в набор 15.03.2005. Подписано в печать
30.03.2005.**

Формат 84х108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Уч.-изд.л. 16. Усл. п. листов 14,5. Заказ .
Тираж 600 экз.

**Отпечатано в областной типографии им. М.Горького
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.**